А. Н. ТОЛСТОЙ

Детство Никиты

А.Н.ТОЛСТОЙ

Детство Никиты

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 Р 7
Т 52

Иллюстрации и оформление
В. В. Кортовича

Т $\frac{4702010200-1458}{080(02)-87}$ 1458—87

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Краткая автобиография)

Я вырос на степном хуторе верстах в девяноста от Самары. Мой отец Николай Александровнч Толстой — самарскнй помещнк. Мать моя Александра Леоитьевиа, урождеииая Тургеиева, двоюродная внучка Николая Иваиовича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск).

Мать моя, уходя, оставила троих маленьких детей,— Алексаидра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь,— приходилось порывать все связи ие только в том дворяиском обществе, которое ее окружало, но и семейиые. Уход от мужа был преступлеиием, падением, она из порядочной женщины становнлась в глазах общества — жеищииой неприличиого поведения. Так иа это смотрелн все, включая ее отца Леоития Борисовича Тургеиева и мать Екатерииу Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставнло ее решиться на такой трудный шаг в жизии,— моя мать была образованным для того времеин человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, нз которых наиболее популярная «Подружка».) Самарское общество восьмидесятых годов — до того времеии, когда в Самаре появились сосланиые марксисты,— представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свиинства. Богатые купцы-мукомолы; купцы — скупщики дворяиских имений; изиывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-

«степняки» — и — общий фон,— мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами»,— перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск. Там моей мамой были написаны две повести «Захолустье».

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи—деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность...

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потревожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть, у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. По-

том — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю.)

Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Бокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной.

Позднее, когда в Самару были сосланы марксисты, вотчим перезнакомился с ними и вел горячие дебаты, но «Капитала» не осилил и остался, в общем, при Конте и английских экономистах.

Матушка была тоже атеисткой, но, мне кажется, больше из принципиальности, чем по существу. Матушка боялась смерти, любила помечтать и много писала. Но вотчим слишком жестоко гнул ее в сторону «идейности», и в ее пьесах, которые никогда не увидели сцены, учителя, деревенские акушерки и земские деятели произносили уж слишком «программные» монологи.

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью.

До поступления в Сызранское реальное училище я учился дома: вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотова сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мною алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...

В одну из зим,— мне было лет десять,— матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел

над приключениями мальчика Степки... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным,— матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотьбе, на реке с деревенскими мальчиками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носы, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывался подпругами к перекладинам (к поветам)... В эти годы именье вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать. Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось.

В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку, купленную «почтарем» — кулаком, знаменитым тем, что он начал свое кулацкое благосостояние, ловко ограбив почту и спрятав на десять лет (до срока давности) ограбленные деньги. Мы переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям.

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экза-

мен в Технологический институт и поступил на механическое отделение.

Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту,— это были стихи,— беспомощное подражание Некрасову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию — должно быть, беспредметная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними.

Но все же меня снова и снова тянуло к какому-то не оформленному еще процессу сознания. Я любил тетради, чернила, перья... Уже будучи студентом, неоднократно возвращался к опытам писания, но это были начала чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться...

Я рано женился,— девятнадцати лет,— на студентке-медичке, и мы прожили вместе обычной студенческой рабочей жизнью до конца 1906 года. Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником,— меня спасла книга, засунутая на груди за шинель.

Когда были закрыты высшие учебные заведения, в 1905 году, я уехал в Дрезден, где в Политехникуме пробыл один год. Там снова начал писать стихи,— это были и революционные (какие писал тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические опыты. Летом 1906 года, вернувшись в Самару, я показал их моей матери. Она с грустью сказала, что все это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать ее я еще не умел.

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать, Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать ученье в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен — Константин

Петрович Фан дер Флит,— чудак и фантазер. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же,— весною 1907 года,— я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством.

Тогда же я начал свои первые опыты прозы: «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы. Летом 1909 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники.

Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Туреневе» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство,— перешедшее к интенсивным формам хозяйства,— в моей книжке не затронуто: я не знал его.

Затем следуют два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, не типич-

ны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и перечувствовал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрав с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я, наконец, понял тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест и, наконец,— глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту.

К первым дням войны я отношу начало моей театральной работы как драматурга. До этого — в 1913 го-

ду — я написал и поставил в московском Малом театре комедию «Насильники»... Она вызвала страстную реакцию части зрителей и вскоре была запрещена директором императорских театров.

С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил пять комедий: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете Октябрьского зарева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимую в Одессе, где пишу комедию «Любовь книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мною до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Риво» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1923 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов).

«Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа.

С 1924 года я возвращаюсь к театру: комедия «Изгнание блудного беса», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедия «Чудеса в решете», «Возвращенная молодость» и театральные переработки: «Бунт машин», «Анна Кристи» и «Делец» (по Газенклеверу).

Рапповское давление на меня усиливалось с каждым годом и наконец приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина» и через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год».

В то же время я не прекращал переделку и переработку всего ранее написанного мною.

В 1929 году я вернулся к теме Петра в пьесе «На дыбе», где не совсем освободился от некоторых «традиционных» тенденций в обрисовке эпохи. В 1934 году пьеса была мною коренным образом переработана (постановка Александринского театра) и в 1937 году — в третий раз, уже окончательно (новая постановка Александринского театра).

Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпопее «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918—1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

Две или три попытки вернуться в тридцатых годах к театру были встречены решительным отпором троцкиствующей части печати и РАППа. Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкиствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей,— я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окружение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР.

В 1935 году я начал повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романами «18-й год» и задуманным в то время романом «Хмурое утро». «Хлеб» был закончен осенью 1937 года.

Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был

попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением,— без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе» и осенью того же года — политический антифашистский памфлет «Чертов мост».

Параллельно с этими литературными работами я готовлю для Детиздата пять томов русского фольклора. Я отказываюсь от переделки или переработки сказок. Сохраняя девственность изустного рассказа, я свожу варианты сказочного сюжета к одному сюжету — с сохранением всех особенностей народной речи, с очищением сюжета от тех деталей и наносов, которые произошли либо от механического добавления рассказчиком деталей из других сказок, либо от несовершенства рассказчика, либо от местных и нехарактерных особенностей речи.

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываюсь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям, ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги)

начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Работая над пьесой, я продолжал публиковать статьи; из них наибольший резонанс получили: «Что мы защищаем», «Родина», «Кровь народа». Статьи, опубликованные в газетах за время войны, собраны в два сборника. Первую часть «Грозного», «Орел и Орлица», я закончил в феврале сорок второго года, вторую, «Трудные годы»,— в апреле сорок третьего года. Помимо этого, были написаны «Рассказы Ивана Сударева» и другие...

Моему сыну
Никите Алексеевичу Толстому
с глубоким уважением посвящаю

Автор

Детство Никиты

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

— Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь — садись и поезжай.

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

В каретнике, на верстаке среди кольцом закрученных, пахучих стружек, Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края — с носа — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точеные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе,— после этого она делалась как зеркало, к верхней доске привязывалась веревочка — возить скамейку и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, говорит, что я сказал — закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор. А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы,— садись и лети.

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

— Встаешь, разбойник?

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное,— поправил очки и поглядел на двор.

— У крыльца стоит,— сказал он,— замечательная скамейка.

Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо,— ответил он, улыбаясь непонятно чему в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахару, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо»,— значит, это нужно понимать: «А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий; а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома».

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в кадке, и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.

— Мама, честное слово, страшная жара,— сказал Никита.

— Прошу тебя надеть башлык.

— Щеки колет и душит, я, мама, хуже простужусь в башлыке.

Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос у нее дрогнул:

— Я не знаю, в кого ты стал неслухом.

— Идем заниматься,— сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с,— сказал он бодро,— на чем остановились.— И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...»— прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куска сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.

— Ну, что же ты думаешь, Никита? — спросил Аркадий Иванович.— Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?

Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью...

Аркадий Иванович сказал: «Ай-ай!» — и начал объсиять, быстро писал караидашом цифры, помиожал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножеиия — «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очеиь иеприятно. А солнце искрилось в двух морозиых окошках классиой, выманивало: «Пойдем иа речку».

Накоиец с арифметикой было покончеио, иачался диктаит. Аркадий Иваиович заходил вдоль стеиы и особым, соииым голосом, каким иикогда ие говорят люди, иачал диктовать:

— «...Все животные, какие есть на земле, постояиио трудятся, работают. Учеиик был послушеи и прилежен...»

Высуиув коичик языка, Никита писал, перо скрипело и брызгало.

Вдруг в доме хлопиула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валеиках. Аркадий Иваиович опустил книжку, прислушиваясь. Радостиый голос матушки воскликиул неподалеку:

— Что, почту привезли?

Никита совсем опустил голову в тетрадку,— так и подмывало засмеяться.

— Послушеи и прилежеи,— повторил он иараспев,— «прилежен» я написал.

Аркадий Иванович поправил очки.

— Итак, все животные, какие есть иа земле, послушны и прилежны... Чего ты смеешься?.. Кляксу посадил?.. Впрочем, мы сейчас сделаем иебольшой перерыв.

Аркадий Иваиович, поджав губы, погрозил длиниым, как караидаш, пальцем и быстро вышел из классиой. В коридоре ои спросил у матушки:

— Алексаидра Леонтьевна, что — письмеца мие иет?

Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времеии было иельзя. Никита иадел короткий полушубок, валеики, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо.

СУГРОБЫ

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел — сделано прочно, попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем,— каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам, в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый,— Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс — и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг, там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по

воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая,— снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет,— было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезывать на верхней доске имя — «Вевит».

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал, Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары... Впрочем, прощай, я ухожу...

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты все-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчет приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты, Аркадий Иванович весело засмеялся.

ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За обедом матушка прочла иаконец это письмо. Оно было от отца.

— «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарнть одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили.— Прн этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать.— Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. А вот и еще новость — на праздники к нам собирается Анна Аполлосовна Бабкина с детьми...»

— Дальше не ннтересно,— сказала матушка и иа все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой:

— Ничего не знаю.

Аркадий Иванович тоже молчал, разводнл руками: «Ничего не знаю». Да н вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал иевпопад и нет-нет да и вытаскивал из кармаиа какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайиа.

В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужииали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главиый прнятель, Мншка Коряшонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про пнсьмо н спрашнвал, какую такую вещь должиы привезти из города.

Мишка Коряшоиок, постукивая зубами от холода, сказал:

— Непременно что-иибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодио. Слушай-ка,— завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?

— Ладно.

Никита вериулся домой и сел читать «Всадника без головы».

За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иваиович. За большою печью — тр-тр, тр-тр — пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темиой комиате половица.

Всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, всходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся — за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги:

— Ветер поднялся к ночи, будет буран.

СОН

Никита увидел сон,— он снился ему уже несколько раз, все один и тот же.

Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна — большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит:

Вот напротив, у белой, как мел, стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов, качается, отсвечивает лунным светом. Над часами, на стене, в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него — старушка, в чепце и шали, и смотрит, поджав губы. От часов до угла, вдоль стены, вытянули руки, присели, на четырех ногах каждое, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся.

Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой.

Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть,— не шевелится,— и страшно, страшно,— вот-вот будет беда...

Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках.

А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает,— если тронет он лапой — маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света.

От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол! И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате — два морозных окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги.

«Господи, слава тебе, господи!» — Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами.

Но не успел он зажмурить глаза, видит — опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрят старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом — старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами.

Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. На верху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке, на дне, лежало что-то — не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит».

Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.

Сквозь морозные узоры сняло, нскрилось солице. Около кроватн стоял Аркадий Иванович, тряс Ннкиту за плечо н говорил:

— Вставай, вставай, девять часов.

Когда Ннкнта, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз н шибко потер руки.

— Сегодня, братец ты мой, заннматься не будем.

— Почему?

— Потому, что потому оканчивается на у. Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай.

Ннкнта вскочил из постели и заплясал на теплом полу:

— Рождественские каникулы! — Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Аркаднем Ивановичем, Никита забыл н другое: именно — свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».

СТАРЫЙ ДОМ

На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней,— делай, что хочешь. Стало даже скучно немного.

За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар, уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку — что-нибудь ковырять.

Матушка наконец сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле».

Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат, с залом посредине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю,

хрустальные люстры висели, окутанные марлей, на полу в зале лежала куча яблок,— гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину.

Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никита постучал пальцем в стекло, ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей.

Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст.

Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами.

Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее — он не раз слышал это от матери — с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкафом,— тощий востроносый старичок с запавшими глазами: рукою в перстнях он придерживал на груди халат; сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок.

Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал,— гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны.

Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду,— искали целую неделю, так он и пропал.

А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо: «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы».

Причиною всех этих странных явлений была дама в амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением.

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.

У КОЛОДЦА

Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку Коряшонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы — кожаной рукавицы, надетой на руку.

Никита спросил, зачем он это делает. Мишка Коряшонок ответил:

— Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет — страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?

— А когда?

— Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори.

— Мама отпустила, только не велела драться.

— Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит,— Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты — брык.

— Ну, со Степкой-то я справлюсь,— сказал Никита,— я его на один мизинец пущу.— И он показал Мишке палец.

Коряшонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом:

— У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой, там ему кулак заговаривали, лопни глаза — не вру.

Никита задумался,— конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет — трус.

— А как же ему кулак заговаривали? — спросил он.

Мишка опять сплюиул:

— Пустое дело. Перво-иаперво возьми сажи и рукн вымажи и три раза скажи: «Таии-бани, что под намн под железиымн столбамн?» Вот тебе и все...

Ннкита с большим уважеинем смотрел на Коряшонка. На дворе в это время со скрипом отворнлнсь ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы,— стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роиялн орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочкамн тоикий ледок, пили и кашлялн. Баран, грязиый и длиииошерстый, уставился на Мишку белыми, пегими глазамн, топиул иожкой. Мишка сказал ему: «Бездельиик»,— и бараи бросился на иего, но Мншка успел перескочить через колоду.

Ннкита и Мншка побежалн по двору, смеясь н дразнясь. Баран погиался за инмн, ио подумал н заблеял:

— Сааaами безде-е-е-ельинки.

Когда Никнту с чериого крыльца сталн кричать — идтн обедать, Мишка Коряшоиок сказал:

— Смотри не обмани, пойдем иа деревню-то.

БИТВА

Ннкита и Мишка Коряшонок пошлн иа деревию через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло сиег со льда, Мишка иа минутку задержался, вынул перочнинный иожик и коробку спичек, прнсел и, шмыгая иосом, стал долбнть синнй лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука иазывалась «кошкой»,— со диа пруда подиимались болотные газы и вмерзалн в лед пузырями. Продолбив лед, Мншка зажег спичку и подиес к скважнне, «кошка» вспыхиула, и иадо льдом поднялся желтоватый бесшумиый язык пламеии.

— Смотри, инкому про это ие говори,— сказал Мншка,— мы иа той неделе на иижиий пруд пойдем кошкн поджигать, я там одиу знаю,— огромадиеющая, целый день будет гореть.

Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню.

В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.

Избенку бобыля, дурачка Савоськи, завалило совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски — за глупость.

На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне,— до того был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона,— он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья: Семка, Ленька и Артамошка-меньшой.

Мишка, подойдя к избе, свистнул, Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки.

— Эх, вы,— сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо,— эх вы, девчонки... Дома сидите — забоялись.

— Ничего мы не боимся,— ответил один из конопатых, Семка.

— Тятька не велит валенки трепать,— сказал Ленька.

— Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются,— сказал Артамошка-меньшой.

Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно:

— Идем дражнить. Мы им покажем.

Конопатые ответили: «ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы,— отсю-

да за Артамоновой избой начинался другой конец деревни.

Никита думал, что на кончанской стороне кишмя кишит мальчишками, но там было пусто и тихо, только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатились через улицу мимо амбарушки и — дальше по крутому берегу на речной лед.

Мишка, а за ним конопатые мальчишки и Никита начали кричать с сугроба:

— Эй, кончанские!

— Вот мы вас!

— Попрятались, боятся!

— Выходите, мы вас побьем!

— Выходите на одну руку, эй, кончанские! — кричал Мишка, хлопая рукавицами.

На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать:

— Очень вас боимся!

— Сейчас испугались!

— Лягушки, лягушата, ква-ква!

С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алешка, Нил, Ванька Черные Уши, Петрушка — бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков пять-шесть. Они кричали:

— Эй, вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!

— Кузнецы косоглазые, мышь подковали! — кричал с этой стороны Мишка Коряшонок.

— Лягушки, лягушата!

Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек. Но начинать — не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали: «Лягушки, лягушата!», с этой: «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста, широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развальцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул:

— Лягушата, выходи, один на один!

Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком.

Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли насупясь. Алеша и Ванька Черные Уши подались назад, маленький мальчик в мамином платке таращил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву, Мишка Коряшонок ворчал, оттягивая кушак под живот:

— Не таких укладывал, тоже — невидаль. Начинать неохота, а то — рассержусь, я ему так дам — шапка на две сажени взовьется.

Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим:

— Вали, ребята!

И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба.

Конопатые дрогнули, за ними побежали Мишка, Ванька Черные Уши и наконец все мальчики, побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел.

Наши пробежали Артамонов двор и двор Чернохова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших,— кто упал, кто лег сам со страха,— лежачего бить было нельзя.

Никите стало,— хоть плачь,— обидно и стыдно: струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки.

Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег.

— Эх, ты,— сказал он,— будя...

Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту, с криком: «Наша берет!» — всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов пять, покуда все они не полегли.

Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Кар-

иаушкии. Никита подошел, Степка глядел иа иего исподлобья.

— Ты здорово мне дал,— сказал он,— хочешь дружиться?

— Коиечно, хочу,— поспешно ответил Никита.

Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал:

— Давай поменяемся.

— Давай.

Никита подумал, что бы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочиииый иожик с четырьмя лезвиями. Степка суиул его в кармаи и вытащил оттуда свинчатку — бабку, иалитую свинцом.

— На. Не потеряй, дорого стоит.

ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером Никита рассматривал картинки в «Ниве» и читал объяснеиия к картинкам. Интересного было мало.

Вот нарисовано: стоит женщина иа крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у иее—цветы, иа плече и у ног — голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами.

Самое скучное в этой картинке то, что иикак нельзя понять — для чего оиа иарисоваиа. В объяснении сказано:

«Кто из вас ие видал домашних голубей, этих истииных друзей человека? (Далее про голубей Никита пропустил.) Кто поутру ие любил бросать зернышки этим птицам? Талаитливый немецкий художник, Гаис Вурст, изобразил одии из таких момеитов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла иа крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее иогам. Посмотрите— один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любуется украдкой иа эту картину».

Никите представилось, что эта Эльза покормит, покормит голубей, и делать ей больше нечего — скука. Отец ее, пастор, тоже где-иибудь в комиатке — сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точио у иего живот болит, да так и пойдет, оскалясь,

по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое и свет солнца — серый.

Никита помусолил карандаш и нарисовал дочери пастора усы.

Следующая картинка изображала вид города Бузулука: верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке — дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи.

Никита зевнул, закрыл «Ниву» и, подпершись, стал слушать.

Наверху, на чердаке, посвистывало, подвывало протяжно. Вот затянуло басом — «уууууууууууу»,— тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы.

Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору,— должно быть истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики.

Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пепельные, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка — в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное: читать такую книжку — точно кирпич тереть.

На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж — Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы.

Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-ю».

— Мама, кто это свистит? — спросил Никита.

Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немед-

леиио, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой:

— Когда мы говорим про неодушевлеиное, то иужно употреблять местоимеиие что.

«Буууууууууу»,— гудело иа чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потяиула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито.

Тогда Нките представилось, как иа холодиом темном чердаке нанесло сиегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продраниые, с оголеиными пружииами стулья, кресла и обломки диваиов. На одиом таком креслнце, у печиой трубы, сидит «Ветер»: мохиатый, весь в пыли, в паутиие. Сидит смирио н, подперев щекн, воет: «Скууууучио». Ночь долгая, на чердаке холодно, а ои сидит однн-одниешеиек и воет.

Никита слез со стула и сел около матушки. Оиа, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову:

— Не пора ли тебе спать, мальчнк?

— Нет, еще полчасика, пожалуйста.

Никита прнслонился головой к матушкииому плечу. В глубине комнаты, скрипиув дверью, появнлся кот Васька,— хвост кверху, весь вид — кроткий, добродетельиый. Разниув розовый рот, он чуть слышно мяукиул. Аркадий Иваиович спросил, ие подиимая головы от тетрадки:

— По какому делу явился, Василнй Васильевич?

Васька, подойдя к матушке, глядел на иее зелеными, с узкой щелью, притвориыми глазами и мяукиул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то зиает, о чем-то пришел сказать.

Ветер иа чердаке завыл отчаяиио. И в это время за окнами раздался иегромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Ахилка, хрюкиув, покатился с колеи.

Аркадий Иваиович подбежал к окиу и, вглядываясь, воскликиул:

— Прнехали!

— Боже мой! — проговорнла матушка взволиоваиио.— Неужели это Аина Аполлосовиа?.. В такой бураи...

Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.

Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом:

— Александра Леонтьевна, принимай гостей,— и, подняв руки, начала раскутывать платок.— Не подходи, не подходи, застужу. Ну и дороги у вас, должна я сказать — прескверные... У самого дома в какие-то кусты заехали.

Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор,— из-под него сейчас же рассыпались светлые, золотистые волосы,— и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь.

ВИКТОР И ЛИЛЯ

Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь глядели друг на друга.

— Я тебя помню,— сказал Никита.

— И я тебя отлично помню,— сейчас же ответил Виктор,— ты у нас в Самаре был один раз, ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали.

— Ну, этого что-то не помню.

— А я помню.

Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно:

— У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил ученьем. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.

Виктор усмехнулся.

— Я учусь в гимназии, во втором классе. Вот у нас так строго: меня постоянно без обеда оставляют.

— Ну, это что,— сказал Никита.

— Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячу дней ничего не есть.

— Эх,— сказал Никита.— Ты пробовал?

— Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет.

Никита зевнул, потянулся:

— А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил.

— Это кто Степка Карнаушкин?

— Первый силач. Я ему как дал, он — брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне — свинчатку,— я тебе потом покажу.

Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться.

— А я одной рукой Макарова словарь поднимаю,— дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол.

— Если быстро, быстро перебирать ногами — можно летать,— сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору.

— Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают.

Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка, лет девяти, сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполлосовна гудела басом: «Дайте мне полотенце».

Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась.

Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и ярче ленты, а длинные ресницы — как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай как маленький, согнувшись над чашкой,— тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо, тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом:

— Тебе нравится моя сестра?

Никита не ответил и залился румянцем.

— Ты с ней осторожнее,— прошептал Виктор,— девчонка постоянно матери жалуется.

Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно:

— Благодарю вас, тетя Саша.

Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящих локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка,— им Лиля помогает себе шить.

У Никиты были растеряны все мысли. Он начал быстро показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а матушка сказала:

— Дети, идите шуметь на двор.

Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем

же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскалясь и захлебываясь, очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицей, тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником.

— Что же мы будем делать? — спросил Виктор.

Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал:

— Эх ты, я вижу, тебе с девчонками только играть.

— Почему? — спросил Никита краснея.

— Да уж потому, сам знаешь, почему.

— Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.

Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка Коряшонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал:

— Баян, Баян, берегись, Никита!

Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами.

«Му-у»,— отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.

— Виктор, беги! — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому.

Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-ууу!»

Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык стал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и

обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольио поглядел на окно — третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела иа Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!

Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и «бесясь», Никита краешком мыслей думал:

«Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна,— огляиуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, ие оглянусь».

ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА

За обедом Никита старался ие глядеть на Лилю, хотя, если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между иим и девочкой сидела Аииа Аполлосовиа в красной бархатиой душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой.

— Нет и нет, Алексаидра Леонтьевна,— гудела она,— учи сына дома. В гимназии такие безобразиые беспорядки, что взяла бы директора своими руками да и выгнала за дверь... Виктор,— вдруг воскликнула она,— иечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должеи уважать начальство. А возьми-ка ты, Алексаидра Леоитьевна, наших учителей,— олухи царя иебесного. Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?

— Синичкин.

— А я тебе говорю, что ие Синичкин, а Сииявкии. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на суидуке, и надел ее на голову... Виктор, как ты держишь вилку и нож?.. Не чавкай... Придвинься ближе к столу... Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе? Да: привезла я целый чемодан разной дребедени для елки... Завтра иадо заставить детей клеить.

— А по-моему,— сказала матушка,— иадо иачать клеить сегодия, ииаче всего не успеем.

— Ну, делайте как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед.

Аииа Аполлосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвииула стул н пошла в спальню с иамерением писать пнсьма, ио через минуту в спальие так страшно затрещалн пружины кровати, точно на иее повалился слон.

С большого стола в столовой убралн скатерть. Матушка прииесла четыре пары иожниц и стала заварнвать крахмал. Делалось это так: из углового шкафчнка, где помещалась домашияя аптечка, матушка достала баику с крахмалом, иасыпала его ие больше чайиой ложки в стакаи, иалила туда же ложки две холодной воды и иачала размешивать, покуда из крахмала ие получилась кашица. Тогда матушка иалила в кашицу нз самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, крахмал стал прозрачный, как желе,— получился отличиый клей.

Мальчики прниеслн кожаный чемодаи Аииы Аполлосовиы н поставилн на стол. Матушка раскрыла его и иачала выиимать: листы золотой бумаги, гладкой н с тнсиением, листы серебряной, сииеи, зелеиой и ораижевой бумаги, бристольский картои, коробочки со свечками, с елочиыми подсвечинками, с золотыми рыбками н петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые иаиизывались на нитку, и коробку с шарнками, у которых сверху была серебряиая петелька,— с четырех сторон онн былн вдавлеиы н другого цвета, затем коробку с хлопушкамн, пучкн золотой и серебряной каннтели, фонарнкн с цветнымн слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стоналн от восторга.

— Там еще есть хорошие вещн,— сказала матушка, опуская рукн в чемодан,— ио их мы пока не будем разворачнвать. А сейчас давайте клеить.

Виктор взялся клеить цепн, Никита — фуитнки для коифет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спроснла вежливым голосом:

— Тетя Саша, вы позволнте мие кленть коробочку?

— Клей, милая, что хочешь.

Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили,— она сама это видела,— настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.

Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях.

— Что вы клеите? — спросил Никита.

Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — вполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных перчаток,— ответила Лиля серьезно,— вы мальчик, вы этого не поймете.— Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и наконец побагровел.

— Какой вы красный,— сказала Лиля,— как свекла.

И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна и они об ней говорили:

— Вам нравится эта коробочка?

Никита ответил:

— Да. Нравится.

— Мне она тоже очень нравится,— проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это

время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой:

— Какая коробочка, где коробочка?.. Ну, ерунда, обыкиовеиная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю.

— Виктор, я, честиое слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить,— проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клей и бумагу и перенесла иа другой коиец стола.

Виктор подмигиул Никите.

— Я тебе говорил, с ней иадо поосторожиее: ябеда.

Поздио вечером Никита, лежа в темной комиате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:

— Виктор, ты спишь?

— Нет еще... Не знаю... А что?

— Слушай, Виктор... Я должеи тебе сказать страшиую тайиу... Виктор... Да ты не спи... Виктор, слушай...

— Угум — фюю,— ответил Виктор.

ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ

Еще иа рассвете, сквозь сои, Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в коице дверь,— это истопиик виосил вязанки дров и кизяку.

Никита просиулся от счастья. Утро было ясиое и морозиое.

Окиа замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал — куда? — и побежал к Аркадию Иваиовичу.

Аркадий Иванович только еще просиулся и, лежа, читал все то же самое, тридцать раз им читаииое, письмо. Увидев Никиту, ои подиял иоги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал:

— Необыкиовеииый случай! Встал раньше всех!

— Аркадий Иваиович, какой деиь сегодия хороший.

— Деиь, братец ты мой, замечательиый.

— Аркадий Иваиович, я вот что хотел спросить,— Никита поковырял пальцем притолоку,— вам очеиь нравятся Бабкииы?

— Кто именно из Бабкиных?

— Дети.

— Так, так... А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?

Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор.

Над людской, над баней в овраге и дальше, за белым полем, надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на сине-мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались ресницы.

У крыльца на слегка дымившейся куче золы Шарок и Каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, прямиком через двор к Никите шел Мишка Коряшонок с дубинкой — собирался гонять котяши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились воза. Один за другим они выползли из овражка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине.

Мишка Коряшонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал:

— Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли.

Воза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей.

Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инее. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным, крепким голосом крикнул задним возам:

— Эй, заворачивай к амбарам. Слухай! Последний воз к дому.

Всего в обозе было шестиадцать саией. Лошади шли бодро, сильно пахло конским пóтом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял иад обозом.

Когда последний воз покииул плотиину и приблизился, Никита ие сразу разобрал, что иа нем лежит. Это было большое, страиной формы, зелеиое, с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях, с припряженными сзади вторыми салазками, лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саией торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой иа конце.

Так вот что был за подарок, обещаиный в таииственном письме.

ЕЛКА

В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживал крест. Дерево накоиец подияли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветиые защипочки. Когда все было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную ие заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех,— дети ели только сладкое — шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слоиялись по дому и ко всем приставали — скоро ли иастанет вечер? Даже Аркадий Иванович, иадевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую накрахмалеиную рубашку, не знал, что ему делать,— ходил от окиа к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застнлалось млгнстымн облачкамн, длнннее стаиовнлась лнловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела ндтн одеваться. Ннкнта иашел у себя на постелн сннюю шелковую рубашку, вышнтую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кнстями и бархатные шаровары. Ннкнта оделся и побежал к матушке. Она прнгладнла ему гребнем волосы иа пробор, взяла за плечи, вннмательио поглядела в лнцо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Ннкнта увндел нарядного н благонравного мальчнка. Неужелн это был он?

— Ах, Никнта, Ннкнта,— проговорила матушка, целуя его в голову,— если бы ты всегда был такнм мальчиком.

Ннкита на цыпочках вышел в корндор н увндел важно ндущую ему иавстречу девочку в белом. На ией было пышное платье с кнсейнымн юбочкамн, большой белый бант в волосах, н шесть пышных локонов с боков ее лнца, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькне плечи. Подойдя, Лнля с грнмаской оглядела Никнту.

— Ты что думал — это привндение,— сказала она,— чего нспугался? — н прошла в кабинет н села там с ногамн на днван.

Никнта тоже вошел за ней н сел иа днван, иа другой его конец. В комнате горела печь, потрескнвалн дрова, рассыпались угольками. Красноватым мгиающнм светом былн освещены спннкн кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафамн.

Лиля сндела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печн освещалнсь ее щека н прнподнятый носнк. Появнлся Виктор в синем мундире со светлымн пуговнцамн н с галунным воротннком, такнм тесиым, что трудно было разговарнвать.

Внктор сел в кресло н тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачнвалн какне-то сверткн, что-то ставнлн на пол и переговарнвалнсь вполголоса. Внктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:

— Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути-дороги...

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и наконец все дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро хороню, хороню...—

запели деревенские.

Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смея-

лась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился — устроил цепь, и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила:

— Ты чего смеешься?

— Это ты смеешься,— ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет.— Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радуж-

ном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине н в саду стоялн огромные и белые и, казалось, вырослн, вытянулнсь под лунным светом. Направо уходнла в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Нките казалось, что он ндет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно н так счастлнво на душе.

НЕУДАЧА ВИКТОРА

Внктор подружился в эти дни с Мншкой Коряшонком н ходил с ним на ннжннй пруд зажигать «кошки». Одну «кошку» онн запалнли такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве, за прудом, онн постронлн крепость — башню из снега и кругом нее стену с амбразурами н воротамн. После этого Внктор написал кончанскнм письмо.

«Вы, кончанскне, кузнецы косоглазые, мышь подковалн, мы вас так отколотнм, что будете помннть. Прнходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гнмназнст второго класса Внктор Бабкнн».

Письмо это прнбилн к палке, Мншка Коряшонок понес его на деревню н воткнул в сугроб у Артамоновой нзбы. Семка, Ленька и Артамошка-меньшой, Алешка, Ванька Черные Ушн и Петрушка, бобылев племянннк, влезлн на сугроб около палкн и долго грознлнсь кончанскнм, кндалн на нх сторону котяши и потом пошли с Мишкой Коряшонком и сели с ннм в крепость.

Внктор велел катать комья и шары. Все это разложнлн внутрн крепостн вдоль стен, воткнулн на башне палку с пучком камыша н сталн ждать.

Прншел Ннкнта, осмотрел укрепленне, заложнл руки в карманы:

— Ннкто к вам не прндет, крепость ваша никуда не годнтся, я с вами играть не буду, пойду домой.

— С девчонкой связался,— крикнул ему Внктор со стены,— кавалер!

Артамоновы сыновья громко засмеялнсь, Ванька Черные Уши засвнстал в согнутый палец.

Никита сказал:

— Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью, рук не стоит марать,— показал Виктору язык и пошел через пруд к дому.

Вслед ему полетели комья снегу,— он даже не обернулся.

В крепости ждали недолго: из-за занесенных օметов со стороны деревни показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать.

Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Приплелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Карнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал:

— Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем...

Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Карнаушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька Черные Уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завыли, завизжали, засвистали, пошли на приступ...

Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.

ЧТО БЫЛО В ВАЗОЧКЕ НА СТЕННЫХ ЧАСАХ

Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила:

— Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую

тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье.

Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек.

Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства,— оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке.

Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение:

Уж ты лес, ты мой лес,
Ты волшебный мой лес,
Полный птиц и зверей,
И веселых дикарей...
Я люблю тебя, лес...
Так люблю тебя, лес...

Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю.

Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок.

В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполлосовна всплеснула руками:

— Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту.

— Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух,— мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать.

К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголочкой, несколько звезд. Никита сказал:

— Хочешь, я тебе один стишок прочту, про лес?

Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати:

— Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи,— пусть он мне лучше не попадается.

— Знаешь,— сказал Никита,— в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, но все про него знают... Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее,— проснешься и никак не можешь вспомнить... Понимаешь?

— Нет, не понимаю,— ответил Виктор,— и стихов твоих не хочу слушать.

Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь.

Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода.

— Давайте с вами разговаривать,— задумчиво проговорила Лиля,— расскажите мне что-нибудь интересное.

— Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?

— Да, про сон расскажите, пожалуйста.

Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты, и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс.

Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом:

— Что же было в вазочке?

— Не знаю.

— Наверное, там было что-нибудь интересное.

— Но ведь это я во сне видел.

— Ах, все равно,— надо было посмотреть. Вы — мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?

— Часы у иас есть на самом деле, а вазочку я ие помию. Часы в кабииете у дедушки стоят, сломанные.

— Пойдемте посмотрим.

— Там темио.

— Мы фонарик с елки возьмем. Прииесите фоиарик, иу, пожалуйста.

Никита побежал в гостииую, сиял с елки фоиарик со слюдяиыми цветиыми окошечками, зажег его и вериулся в прихожую.

Лиля иакииула иа себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летиюю половину. В темном высоком зале густым иием были запушены окиа, на иих от луиного света лежали теии ветвей. Было холодновато, пахло гиилыми яблоками. Дубовые половиики дверей в соседиюю темиую комиату были приотворены.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Никита, вы иичего не боитесь?

Никита потяиул дверь, оиа жалобио заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фоиарик задрожал, и красиые и сииие лучи его полетели по стенам.

На цыпочках дети вошли в соседиюю комнату. Здесь луиный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами иа паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу — диван раскорякой. У Никиты закружилась голова,— точио такою он уже видел однажды эту комиату.

— Они смотрят,— прошептала Лиля, показывая на два темных портрета на стене — на старичка и старушку.

Дети перебежали комиату и открыли вторую дверь. Кабииет был залит ярким луниым светом. Поблескивали стекляииые дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела иа вошедших дама в амазоике, улыбаясь таииствеиио.

— Кто это? — спросила Лиля, придвигаясь к Никите.

Ои ответил шепотом:

— Это она.

Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула:

— Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!

Действительно — в глубине кабинета, на верху старинных, красного дерева, часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка со львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал: это была вазочка из его сна.

Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.

— Нашел! — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол.

В это время из-за шкафа фыркнуло на него,— блеснули лиловые глаза, выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке.

Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита,— точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала:

— Ну?

Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.

— Колечко!

— Это волшебное,— сказал Никита.

— Слушайте, что мы с ним будем делать?

Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала:

— Нет, почему же мне,— посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.

Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил:

— Это тоже вам,— вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле.

Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво:

— Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполлосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так, будто режьте его,— он все равно не скажет ни слова. Анна Аполлосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку, ладонью вниз, и сказала густым голосом:

— Нет, и нет, и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала,— значит, ножом отрезано; хорошенького понемножку. Вот что, дети,— она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился,— завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем.

Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.

Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда,— «завтра,— думал он,— у вас, у людей,— будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался,— мне и завтра будет хорошо».

Виктор и Лиля кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполлосовна крикнула вдогонку:

— Виктор!

— Что, мама?
— Как ты идешь!
— А что?
— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот она. Выпрямись... На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!

Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:

— Вы летом к нам приедете?
— Это зависит от моей мамы,— тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.
— Будете мне писать?
— Да, я вам буду писать письма, Никита.
— Ну, прощайте.
— Прощайте, Никита.

Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь: пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер»,— как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, откленвал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик,—Никита не сказал ни слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «А, ты все еще спишь»,— крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.

«...Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша,—выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами...»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу говорила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука,—проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке,—его рука потянулась в карман за письмом.

Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки,—сегодня с матушкой было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером вместо глупых картинок,—сказала она,—будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал,—неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, громкий

похохатывающий голос. Можио было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частеиько упрекала его в беспечиости и легкомыслии, ио это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, иапример, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полиы все три усадебиые пруда, пропадают даром, и ои целыми вечерами говорит о том, как их иужио откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься,—говорил ои матушке, смеявшейся до слез иад этими рассказами,—а вот увидишь, что я разбогатею иа лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка ие заявила, что либо оиа, либо лягушки, которых оиа боится до смерти, и что ей противио жить, когда этой гадости полои дом. Одиажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и окоииые рамы и письмо: «Милая Саша, случайио мие удалось очеиь выгодио купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помиишь, ты мечтала построить павильои иа тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, ои советует павильои строить зимний, чтобы жить в ием и зимой. Я зараиее в восторге, ведь иаш дом стоит в такой колдобиие, что из окон—иикакого виду». Матушка только расплакалась; за эти три месяца ие заплачеио до сих пор жаловаиья Аркадию Ивановичу, и вдруг иовые расходы... От постройки павильоиа оиа отказалась иаотрез, и рамы и двери так и остались гиить в сарае. Или вдруг иа отца иападет горячка—улучшать сельское хозяйство,—тоже беда: выписываются из Америки машииы, ои сам привозит их со стаиции, сердится, учит рабочих, как иужио управлять, иа всех кричит: «Черти окаяииые, осторожиее!»

По прошествии небольшого времеии матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя иеобыкновеииая сиоповязалка?

— А что? — Отец барабаиит в окио пальцами.— Великолепиая машина.

— Я видела — оиа стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороиы. Матушка спрашивает кротко:

— Оиа уже сломаиа?

— Этн болваны американцы,— фыркнув, говорнт отец,— выдумывают машииы, которые ежеминутно ломаются. Я тут нн прн чем.

Рнсуя реку Амазоику с притокамн, Никита с любовью н нежиым весельем думал об отце. Совесть его была спокойиа,— матушка напрасно сказала, что он его забыл.

Вдруг в стене треснуло, как нз пнстолета. Матушка громко ахиула, уроннла на пол вязанье. Под комодом хрюкнул н задышал со злостн еж Ахнлка. Никнта посмотрел на Аркадня Ивановнча, который притворялся, что читает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя ои не спал. Ннкнте стало жалко Аркадня Иваиовича: бедияк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительннце. Вот она, разлука-то!

Ннкита подпер щеку кулаком н стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сндела Лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть,— была, н нет. А вот — пятно иа столе, где она пролнла гуммнарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетелн счастлнвые дии». У Никнты защнпало в горле от этнх необыкновенно грустных, сейчас им выдумаииых слов. Чтобы не забыть нх, он запнсал вннзу под Америкой: «Пролетелн счастлнвые дни» — и, продолжая рнсовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону,— через Парагвай н Уругвай к Огиеиной Земле.

— Александра Леоитьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на стаицню Безенчук,— спокойным голосом, от которого полезли мурашкн, проговорил Аркаднй Ивановнч, уже давно смотревшнй, что выделывает с картой Никита.

БУДНИ

Морозы стаиовилнсь все крепче. Ледяиыми ветрами осыпало иией с деревьев. Сиега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одииочку и по двое, подходилн по ночам к самой усадьбе.

Чуя волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими, тошными голосами — у-у-у-у-у...

Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу,— выше, выше, пронзительнее...

От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал спросонок:

— О, господи, господи, грехи наши тяжкие.

В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху.

В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки,— кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом,— ее нашли, почистили немного и посадили шить.

Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал,— как он любил выражаться,— скачок: начал проходить алгебру — предмет в высшей степени сухой.

Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, с дохлыми мышами, бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечном «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников

меди, нли все о том же несчастном купце с двумя кускамн сукна. Но в алгебре ие за что было зацепиться, в ией ничего ие было живого, только переплет ее пахиул столярным клеем, да, когда Аркадий Ивановнч объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чериильнице отражалось его лицо, круглое как кувшин.

Рассказывая по нстории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки былн чудо как хороши. Рассказывая, как Пипии Короткий в Суассоие разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.

— Ты должен себе усвоить,— говорил он Никнте,— что такие люди, как Пипии Короткий, отлнчалнсь непоколебимой волей н мужественным характером. Они ие отлыиивали, как иекоторые, от работы, не таращнлн помииутно глаз иа чериильницу, иа которой ничего не написаио, оии даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» нли «я устал». Оии никогда не крутнлн себе иа лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот,— он поднимал книгу с засунутым в середниу ее пальцем,— до сих пор онн служат нам примером...

После обеда обычио матушка говорила Аркадню Иваиовичу:

— Еслн сегодия опять двадцать градусов — Ннкита гулять не пойдет.

Аркадий Иваиович подходил к окиу и дышал на стекло в том месте, где сиаружи был привинчен градусник.

— Двадцать один с половнной, Александра Леонтьевна.

— Ну, вот, я так н знала,— говорнла матушка,— поди, Никита, займись чем-нибудь.

Никнта шел к отцу в кабинет, залезал на кожаиый диван, поближе к печке, н раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.

В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начииался едва слышный звон. Какие иеобыкновениые историн можно было выдумывать в одииочестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупив-

шись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и над ним — предводителя гуронов — индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам — Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь — в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.

Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты — в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.

Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегом дохлую галку — это была та самая галка: присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите — мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу и закопал в сугробе.

Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать,— какое было счастье. А сейчас колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках,— Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом.

Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле,— пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.

Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович, касторки.

Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей, рваными облаками.

ГРАЧИ

В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Коряшонок, Лекся-подпасок и Артем — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то казалось,— на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был,— вез ли с гумна мякину, или чистил овцам ясли,— завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй.— Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот.

— Все насчет молока бегаешь, Дуня?

Тогда Дуняша приседала,— сил не было, смешно,— подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключнице Василисе: «Верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти, вот, матушки мои, умру!» — и так звонко смеялась — по всему двору было слышно.

Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов, хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снегу. У печи на лавке сидел Пахом, черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище: осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал, и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей — очень был сердит: сегодня поругался со стряпухой,— она повесила сушить и прожгла его портянки.

У стола сидели игроки в чистых, по воскресному делу, рубашках, с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесаный: некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая:

— Замирил, да под тебя — десять.

— Замирил, да под тебя еще полсотни.

— А вот это видел?

— А ты это видел?

— Хлюст.

— Эх!

— Ну, Артем, держись!

— Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты.— Неправильно, ошибка.

— Подставляй нос.

Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза.

Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артеминому длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался.

Никита сел играть и сейчас же проиграл,— ему всыпали пятнадцать носов. В это время Пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово:

— Иные бы уж от обедни вернулись, а эти — лба не перекрестили — в карты. Только и глядят скоромное жрать... Степанида,— закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику,— собирай обедать!

На кухне Степанида, стряпуха, с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол, к бумажной, в тараканьих следах, иконке, стал креститься.

Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами; от них, застилая отвороченное лицо стряпухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов.

Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи, на лавку. Стряпуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное.

— Портянки,— сказал ей Пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль,— портянки сожгла, опять-таки ты баба, опять-таки — дура. Вот что...

Никита вышел на двор. День был мглистый. Дул мокрый, тяжелый ветер. На сером, крупитчатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная, в лужах, заворачивающая к плотине, санная дорога была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашеный дом — все это было серое, черное, четкое.

Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.

Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их

нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном,— у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.

Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.

ДОМИК НА КОЛЕСАХ

Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона,— лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клети, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.

У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими,— стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться,— непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.

Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внима-

тельно, неласково, осуждающе. Он не поннмал, за что сердится она, н это еще более подбавляло мутн, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти днн, а все-такн было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того нн с сего начавшемся во всей земле преступлении.

Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачнвали последнне скирды пшеницы. В норы н пещеры в глубине омета людн залезали спать на ночь. Ннкита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.

Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка нз-под постного масла н черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никнта стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его ннкто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы — один на всем свете, в пустой будке...

— Господи,— проговорил Никита вполголоса, н сразу по спине побежалн холодные мурашки,— дай, господн, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадня Ивановнча... Чтобы вышло солнце, выросла трава... Чтобы не кричали грачи так страшно... Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян... Господи, дай, чтобы мне было опять легко...

Никита говорил это, кланяясь н торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа,— ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.

Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни,— внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:

— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА

Ночью наконец хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.

Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи»,— торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.

Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо»,— думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.

К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых серых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.

За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.

— Пятый день нет почты,— сказала она Аркадию Ивановичу,— я ничего не понимаю... Вот — дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели... Такое легкомыслие, ужасно!

Никита понял, что матушка говорила про отца,— его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком,— нельзя ли послать за почтой верхового? — но почти тотчас же вер-

нулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:

— Господа, что делается!.. Идите слушать — воды шумят.

Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.

Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях и текущие овраги снопами света отразили солнце.

— Боже, какой воздух,— проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете.

Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупитчатые сугробы,— они ухали и садились под ногамн. Куда ни сунься — всюду вода: усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провядшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился.

Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега: это называлось «наслус»,— не дай бог попасть с лошадью в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды: вот хорошо бы поплыть по этим вешннм водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра.

На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Перед-

ний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно,— скачущие без дороги по полой воде мужики.

Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь.

На плотине, между корявыми стволами, появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин,— он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам; комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт.

Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошаденка,—она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза — побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее,— крикнула она, распахивая дверь на кухню,— Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Никитьевич около Хомяковки тонет...

Самое страшное было то, что «около Хомяковки». Свет потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату.

— Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый,— повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя.—Ну что, ну что, ну что?.. Василий Никитьевич сейчас приедет... Очевидно — просто попал в ка-

наву, вымок... А маму твою балбес Степка напугал... Честное даю слово, я ему уши надеру...

Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки.

В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого, сильного жеребца Негра в санки без подрезов; ловили на конском загоне верховых лошадей; кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок; Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке.

— Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой. Как привезем, ему сейчас — водки...

— Пахом, я сама с вами поеду.

— Никак нет, домой идите, застудитесь.

Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под уздцы жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу.

Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом — ветлы Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку...

— Бог даст, Никитушка, нас минует беда,— проговорила матушка тихо и раздельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты.

Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть: не едут ли? — и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту.

Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими елочками: к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились: Негр с мыльной мордой, Пахом — бочком на облучке санок, и в санках, под ворохом тулупа, дохи и кошмы,— багро-

вое, среди бараньего меха, улыбающееся лицо Василия Никитьевича, с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь,— лицо ее задрожало.

— Жив! — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз.

КАК Я ТОНУЛ

В столовой, в придвинутом к округлому столу огромном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесаные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки.

Василий Никитьевич щурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа,— никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки «скороспелки», и они шипели маслом, стоя на столе,— объеденье! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком — урлы-мурлы,—неестественно громко мурлыкая. Еж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились со лба на спину: значит, тоже был доволен.

Отец с удовольствием съел горячую лепешку,— ай да Степанида! — съел, свернув трубочкой, вторую лепешку,— ай да Степанида! — отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз.

— Ну, — сказал он,— теперь слушайте, как я тонул.— И он стал рассказывать.— Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша, — он на минуточку сделался серьезным,— что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка: пристал ко мне Поздюнин — купи да купи у него каракового жеребца Лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? «Поди, говорит, посмотри только». Увидел я жеребца и влюбился. Красавец. Умница. Косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит — купи. А Поздюнин пристает — купи и купи у него также и сани и сбрую... Саша, ты не сердишься на меня за эту покупку?— Отец взял руку матушки.— Ну, прости.— Матушка даже глаза закрыла: разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы Поздюнина.— Ну, так вот,— велел я отвести к себе на двор Лорда Байрона и думаю: что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки,— отец хитро прищурил один глаз,— на рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу,— жеребец мой весь в мыле,— с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбани, у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой,— умопомраченье! Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь — непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало — ехать. Так проспорили мы с попом до полночи. Какой он угостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово, если привезти такую наливку в Париж — французы с ума сойдут... Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада: сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду... Бог с ним и с попом и с наливкой...

— Василий,— перебила матушка и строго стала глядеть на него,— я серьезно тебя прошу больше никогда так не рисковать...

— Даю тебе честное слово,— не задумываясь, ответил Василий Никитьевич.— Так вот... Утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые!.. Одна во-

да кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колено в воде, по озерам... Красота... Солнце, ветерок... Сани мои плывут. Ноги промочены. Необыкновенно хорошо! Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать — где бы легче перебраться через реку... Ах, подлец! — Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла.— Покажу я этому Поздюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты три за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец Лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы переехали, а впереди три оврага — пострашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша: вровень с берегами идет вода со снегом. Овражище,— сама знаешь,— сажени три глубины.

— Ужас,— побледнев, проговорила матушка.

— Я выпряг жеребца, снял хомут и седелку, положил их в сани, не догадался снять дохи — вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом,— господи, благослови! Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает. Попятился, да и махнул в овраг, в наслус. И ушел по самую шею, бьется и — ни с места. Я слез с него и тоже ушел,— одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно — не покидай! — и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна. Счастье, что доха была расстегнута и, когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, в овраге... Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркой, как лягушка, и слышу — что-то булькает. Оглянулся,— у жеребца полморды под водой,— пузыри пускает: он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше, должно быть, часу в этом наслусе. Чувствую — нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время — смотрю — жеребец перестал сигать,— его повернуло и понесло: значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило

к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я—за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом,— оба качаемся. А впереди — еще два оврага. Но тут я увидал — скачут мужики...

Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали.

— Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара,— сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

У него начался озноб. Его уложили в постель, и он понес чепуху...

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил,— жив ли Лорд Байрон? Красавец жеребец был в добром здоровье.

Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги: валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В дому шла большая чистка: вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую.

Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами; Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры — получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом — яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком «жук», золотили и серебрили.

В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном,— начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей.

Всю эту неделю дни стояли неровные,— то нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба, из синей бездны, лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря. По ночам подмораживало лужи.

В субботу усадьба опустела: половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцовку, в село за семь верст,— стоять великую заутреню.

Матушка в этот день чувствовала себя плохо — умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный как ворон.

Никите было предложено: если он хочет ехать к заутрене, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все четыре ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитьевича, державшего в Колокольцовке бакалейную лавку, Петра Петровича Девятова. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно»,— сказала матушка.

На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Но, милая, выручай»,— и старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита пошла рысцой.

Проехали двор, миновали кузницу, переехали овраг в черной воде по ступицу. Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю назад, на Артема.

Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос,— думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката, в зеленом небе, теплилась чистая, как льдинка, звезда.

ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька-нытик, и двое маленьких — имена их было знать неинтересно.

Старшие мальчики вполголоса рассказывали истории, Леньке-нытику попадало — то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину.

Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, — веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей:

— Анна, не лезь,— вот я встану...

Анна так же неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь.

Марья Мироновна, жена его, сказала детям:

— Пошумите, пошумите,— все затылки вам отобью...

И прилегла отдохнуть перед заутреней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал:

— В прошлую пасху в подкучки играли, так я двести яиц наиграл. Ел, ел, потом живот во — раздуло.

Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке:

— Неправдычка. Вы ему не верьте.

— Ей-богу, сейчас встану,— пригрозил Лешка.

За дверью стало тихо.

Володя, старший, смуглый курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги, на перине, сказал Никите:

— Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить,— вся колокольня трясется. Левой рукой

мелкие колокола — дирлинь, дирлинь, а этой рукой в большущий — бум. А в нем — сто тысяч пудов.

— Неправдычка,— прошептали за дверью.

Володя быстро, так, что кудри отлетели, обернулся.— Анна!.. А вот папаша наш страшно сильный,— сказал он,— папаша может лошадь за передние ноги поднимать... Я еще, конечно, не могу, но зато, лето придет, приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд — шесть верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой — в воду.

— А я могу,— сказал Лешка,— под водой вовсе не дышать и все вижу. В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись и жуки — во какие...

— Неправдычка,— едва слышно вздохнули за дверью.

— Анна, за косу!..

— Противная какая девчонка уродилась,— сказал Володя с досадой,— к нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют.

За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами.

— А вы плавать умеете?— спросил его Никита.

Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно:

— Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше: на крыше — шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. А Лешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком,— он дернул Леньку за петушиный вихор на макушке,— такой постылый мальчишка. Папаша говорит — у него глисты.

— Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные,— сказал Лешка,— потому что я лопухи ем и стручки с акации ем, я могу головастиков есть.

— Неправдычка,— опять простонали за дверью.

— Ну, Анна, теперь держись.— И Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели,— Анны, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: — К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня: я ей полну голову репьев набью.

— Оставь ее, Алеша,— проговорил Коля,— ну что к ней привязался?

Тогда Алешка, Володя и даже Ленька-нытик накинулись на него:

— Как это мы к ней привязываемся! Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, оглянись, она обязательно сзади треплется... И все ей не терпится,— что неправду говорят, делают, что не велено...

Лешка сказал:

— Я раз целый день в воде в камышах просидел: только чтобы ее не видать,— всего пиявки съели.

Володя сказал:

— Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего.

Ленька-нытик сказал:

— Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь.

Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутреней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны:

— Тыща раз мне вам повторять...

Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу.

Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шали с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери.

Ночь была звездная. Пахло землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди: бабы, мужики, дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки.

ТВЕРДОСТЬ ДУХА

После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где, в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне, в клетке, канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович, в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики,— такая у него была привычка,— налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая,— не могла даже разговляться, только и ждала, когда наконец орава — так она звала детей — угомонится.

Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клубы ладана, вверху, под церковным, в золотых звездах, синим куполом,— голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысяче глаз, отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого,— все простилось в эту ночь. С веснушчатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться.

Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару, на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчишки играли в чижика, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых, растопорщенных платьях. У каждой в руке — платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются.

С краю, на бревнах, вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит хахаль Петька — старостин, перебирает лады гармони, да вдруг как растянет ее: «Эх, что ты, что ты, что ты!»

У другой стены стоит кружок, играют в орлянку, у каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко: орел или решка?

Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки: прячут в мякинные кучки по два яйца, половина кучек пустая,— угадывай.

Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему:

— Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют.

Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха глазами и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита пошел к мальчикам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала:

— С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала.

Куда бы Никита не пошел,— Анна летела за ним, как лис, и нашептывала на ухо. Никита не понимал,— зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно, он видел, как мальчики уже начали посмеиваться, поглядывая на него, один крикнул:

— С девчонкой связался!

Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи...

— Слушайте, знаете что,— опять зашептала за спиной Анна,— я знаю, где суслик живет, хотите, пойдем его посмотрим?

Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала:

— Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?

— Не пойду.

— Ну, хотите,— куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно.

— Не хочу.

— Значит, вы играть со мной не хотите?

Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду, ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу, острый кончик веснушчатого носика ее покраснел, глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял: Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с Лилей.

Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним,— он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой — это уж было предательство и стыдно.

— Это вам на меня мальчишки наговорили,— сказала Анна,— ужо мамыньке на всех нажалуюсь... Одна буду играть... Не очень надо... Я знаю, где одна вещь лежит... И эта вещь очень интересная...

Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно.

ВЕСНА

На солнце нельзя было теперь взглянуть,— лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами.

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая с желтой, как золото, подпушкой на крыльях,— суетясь, свистела медовым голосом.

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых

они иаслушались за зиму за морем,— пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереиьким платочком сквозь прозрачиые березы пролетел дятел, садясь иа ствол, оборачивался, дыбом подиимал красиый хохолок.

И вот в воскресеиье, в солнечиое утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальиым, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начииая от червяков:

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одиа проживу ии при чем, ку-ку...

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивлеиные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкоиа,— все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.

Одиажды Никита сидел иа гребие канавы, у дороги, и, подпершись, глядел, как по берегу верхиего пруда по ровиому зеленому выгону ходит табун. Почтеиные мериины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами; кобылы оборачивали головы, посматривая — здесь ли жеребенок; жеребята на длииных, слабых, толстых в колеиках иогах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост; хорошо было напиться молока в этот весенний деиь.

Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуиа, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгоиу, брыкаясь, мотая мордой, ииая начииала валяться, иная, ощерясь, визжа, иоровила хватить зубами.

По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитьевич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало набок, глаза были весело прищурены, иа щеке — лепешка грязи. Увидав Никиту, он натяиул вожжи и сказал:

— Какая из табуна больше всего тебе по душе?

— А что?

— Безо всякого «а что»!

Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темио-рыжего меринка Клопика,— он ему уже давно пригляиулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительио доброй мордой.

— Вот этот.

— Ну и отлично, пускай нравится.

Василий Никитьевич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу: нет, этот разговор неспроста.

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА

Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича:

— Адмирал, скоро глаза продерете?

— Встаю! — крикнул Никита и с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья.

Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша — не хотелось, чтобы скоро уходило время,— оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве — выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы.

В столовой, на снежной свежей скатерти, стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал:

— Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям григорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.

После чая пошлн на пруд. Васнлнй Ннкитьевнч, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш.

Матушка ужасно этому смеялась,— подбнрала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Ивановнч с веслами и багром на плече.

На берегу огромного, с извилинамн, пруда, у купальнн, был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитателн — водяные жуки, личннки, крошечные головастикн. Бегалн по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд гляделн вниз грачихи.

Василий Никнтьевич привязал к нижнему концу бечевы личный адмиральский штандарт,— на зеленом поле красная, на задннх лапах, лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бечеву, штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялнсь грачн, тревожно крича.

Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделнлась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никнты появился столб комариков,— онн толклись н летелн за лодкой.

— Полный ход, самый полный! — кричал с берега Василий Никитьевич.

Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, н из зеленых, еще низких камышей с кряканьем, в ужасе, полулетом по воде побежалн две утки.

— На абордаж, лягушиный адмирал. Урррра! — закричал Василий Никитьевнч.

ЖЕЛТУХИН

Желтухин сндел на кустнке травы, на припеке, в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухииа была закинута на спииу, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу. Весь Желтухин иахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще сереиький скворец,— попытался, должио быть, вылететь из гнезда, ио ие сдержал неумелые крылья, и он упал и забился в угол, иа прижатые к земле листья одуваичика.

У Желтухина отчаяиио билось сердце: «Ахиуть не успеешь,— думал ои,— сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужио лопать червяков, мух и гусеииц.

Мальчик поднес его ко рту. Желтухии закрыл плеикой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему иа голову и понес в дом: значит, был сыт и решил съесть Желтухина немиого погодя.

Алексаидра Леоитьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладоии и подышала иа головку.

— Совсем еще малеиький, бедняжка,— сказала она,— какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подокоиник раскрытого в сад и затяиутого марлей окна. Со стороиы комнаты окио также до половины занавесили марлей. Желтухии сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево ие продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались иа кусту презреииые воробьи — воры, обидчики. С другой стороиы, тоже из-за марли, глядел Никита, глаза у иего были большие, двигающиеся, непоиятные, очаровывающие. «Пропал, пропал»,— думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают,— думал Желтухии и косился иа красного безглазого червяка,— он, как змей, извивался перед самым иосом.— Не стану его есть, червяк ие иастоящий, обмаи».

Солице опустилось за листья. Серый, сииий свет затягивал глаза,— все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подокоииик. Вот глаза ничего уже не

видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья. Нахохлившись сердито — на всякий случай,— Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит»,— подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щелку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил: «Ничего себе, червяк был вкусный».

Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья на Желтухина упал теплый, яркий луч солнца. «Поживем еще»,— подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушел. Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого, с драным затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: фьюють, чилик-чилик, фьюють. Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину,— ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то»,— подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха.

Так прошел день,— бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить,— набирал воду в носик, закидывал головку и глотал — по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с галкой, и она так его тюкнула — он камешком нырнул в листья, глядел оттуда ощетинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала.

Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки,— Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке, хотелось запеть,— но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи... во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя»,— думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю

когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текучий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырех людей. Они ели — брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всем лету, поворота,— упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика — темно, он прыгнул туда, поворочался и заснул.

А тою же ночью, в чулане, кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей,— сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском: «Саша»,— и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелетными птицами за море, в Африку.

КЛОПИК

Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит,—настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман и огромные одинокие осокори, казалось, росли из мглистого воздуха,— висели над землей.

При табуне конюшонком состоял Мишка Коряшонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремена босые ноги, заваливался и болтал локтями.

Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобыленкой, Мишка кричал: «Азат!» — и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая удилами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи; луковички были кисленькие и хрустящие, а корни — мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот.

Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Коряшонку и обучался у него верховой езде.

Влезать в седло было нетрудно: старый сивый, в гречку, мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводья и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов тридцать, сразу останавливался

и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно.

Мишка говорил:

— Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избави тебя бог за землю хвататься — вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды — вскочил и лети.

Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать:

— Хлеба, хлеба, хлеба...

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой — было приятно, и, чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо.

Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины,— Звезда тревожно переступила,— он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, Звезда шарахнулась вбок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна.

Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом. Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите прихрамывая, вытирая с исцарапанной щеки кровь.

— Прямо в хворост скинула, проклятая кобылешка,— сказал он,— а ты так не можешь, в тебе жиру много.

Никита промолчал. Подумал: «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки».

За обедом он рассказал про Звезду, матушка разволновалась.

— Слышишь,— сказала она,— я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям,— и она с мольбой взглянула на Василия Никитьевича.— Вася, поддержи хоть ты меня... Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги...

— Вот и отлично,— сказал на это Василий Никитьевич,— запрети ему ездить верхом, запрети хо-

дить пешком,— тоже ведь может нос разбить,— посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей...

— Я так и знала,— ответила матушка,— я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя...

— Саша, пойми, что мальчику десять лет.

— Ах, все равно...

— Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович.

— Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика.

— Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок.

— Он кованый.

— Нет, я его велел расковать.

— Ах, в таком случае делайте все, что хотите, садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы.— У матушки налились слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.

Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом:

— Да, брат, плохо твое дело.

— Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать... Честное слово, что я...

— Терпение, выдержка и твердость характера,— Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос,— эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом...

В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны...» — «Где, где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка — «В Америке они самостоятельны».— «Это неправда...» — «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например».— «Боже мой, но мы не в Америке...»

Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом, надеялась только, что сохранит он хоть голову.

Никита за эту неделю старательно учился за прудом верховой езде,— Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду.

— Она тебя сроду брыкнуть не успеет, брыкнет, а ты уже у ней на холке.

Наконец за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом:

— Ты знаешь, тебе уже десять лет и ты должен быть самостоятелен, в твои годы другие мальчики вполне, вполне...— У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца.— Словом, папа прав, что ты уже не ребенок.— Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола.— Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике... Я только прошу, прошу тебя...

— Мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится.— И Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнущие ягодами руки.

Назавтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло — английское, из серой замши, подаренное на рождество,— и говорил, шагая по траве к конюшням:

— Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды — вываживать... Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты — хороший кавалерист.

В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович, в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе,— шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы,— выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема:

— Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежа! Ведь эта упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся. Тебе кота запрягать в лукошко.

— Я безлошадный.

— То-то за тебя и девки не идут, что ты — невежа. Подай мне новые вожжи.

Коренник Лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз удила, топал по деревянному полу и небольно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите:

— Сами желаете седлать?

Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его.

Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меринок, в чулках, с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок.

— Конь добрый,— сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду — вода текла у него с серых губ.

Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздал. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее — седло и стал затягивать подпруги,— дело было нелегкое.

— Надувается,— сказал Сергей Иванович,— хитрое животное, брюхо надувает.— И он шлепнул ладонью Клопику по животу; мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги.

Подошел Василий Никитьевич и начал командовать:

— В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись. Бери ее в шенкеля. Не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки.

Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню.

Василий Никитьевич закричал:

— Стой! стой! Работай правым поводом, разиня!..

В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Ни-

кита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меринку:

— Свииья, настоящая свииья, дурак иесчастный!..

Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя:

— Саднтесь, я его проведу. Мерииишка какой хнтрящнй. Не хотится ему работать, а хотнтся в холодке стоять.

Накоиец Клопнка обуздали, и Никнта гарцевал на нем собачьнм галопом вдоль скотных дворов.

Сергей Иванович иадел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы н крнкнул сурово:

— Пускай!

Артем, державшнй под уздцы Лорда Байрона, отскочил в стороиу, и тройка, рванувшнсь и стуча по доскам, вылетела из каретинка, сверкая лаком н медью коляскн, кндая свежнми комьями с копыт прнстяжных, залнваясь подобраннымн бубенцами,— описала по зелеиому двору полукруг и стала у дома.

С крыльца спустнлась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтнк, с тревогой смотрела на гарцевавшего вдалеке Ннкнту. Отец подсаднл матушку в коляску, вскочнл сам.

— Пошел!

Сергей Иваиович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь иа тугнх удилах, легко понесли коляску, простучали по мостнку, пристяжные пошлн в галоп, завнлнсь. Лорд Байрон, зная, что все это — шуткн, прядал ушамн. Матушка поминутно оглядывалась. Ннкнта, пригнувшись, броснв поводья, во весь мах догоиял тройку.

Он хотел лнхо пролететь мнмо, ио Клопнк рассуднл, что это — лншиее, и когда поравнялся с коляской, то свернул иа дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Ннкакнмн снламн его иельзя было ии прностаиовнть, ии свернуть в сторону: все это он счнтал излишиим,— ехать, так ехать по дороге, зря не задираться.

Матушка оглядывалась. Ннкита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пылн тошнило, от Клопииой рыси перебултыхался жнвот.

— Хочешь в коляску?

Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу:

— Дай ходу!

Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами, пристяжные разостлались над травой, Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь что было силы — старался ужасно.

Отвратительное ощущение ровной рыси прошло, Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки... Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера.

Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.

— Хорошо, Никита?

— Чудесно... Клопик — удивительная лошадь...

В КУПАЛЬНЕ

Рано поутру Василий Никитьевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд — купаться.

Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками, толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь,— закрыв глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет.

Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитьевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил:

— Хорошо, отлично!

Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на те-

ле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню,— вода была ему по грудь,— и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая:

— Хорошо, отлично.

Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетело коромысло, трепеща глядело изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитьевича и уносилось боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался — не видит ли его кто-нибудь с берега,— басом говорил: «Ну-с, хорошо-с»,— и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуганные грачи, а он плыл саженками, виляя под синеватой водой худым рыжеволосым телом.

Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище: «Ух-бpppp...»

Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза — мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так и называлось: «Делать несчастного Васю».

— Ну, поплыли,— говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по-лягушиному, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде.

Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит: за это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре,— умел боком, и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом:

— Аркадия топить.

Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на саженках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высо-

вываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги,— он больше всего на свете боялся щекотки. Но поймать его было нелегко,— чаще всего он уходил, и когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом:

— Плавать, плавать надо учиться, господа.

Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила:

— Чай накрыт в саду, под липой. Садитесь, не ждите меня — булочки остынут.

СТРЕЛКА БАРОМЕТРА

Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался,— стрелка стояла: «сухо, очень сухо». За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над горизонтом, висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях, и сколько Василий Никитьевич ни стучал в стекло барометра,— стрелка упорно показывала: «сухо, очень сухо».

Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде,— лица у отца и матушки были озабоченные; Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина: Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что «прикована к постели больной матери» и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре.

Никита так и представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены, у железной кровати.

За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал:

— Если завтра не будет дождя — урожай погиб.

Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как, точно в бреду, звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.

— Неужели — опять голодный год,— проговорила матушка,— боже, как ужасно!

— Да, вот так: сиди и жди казни,— отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучовых панталон,— еще один день этого окаянного пекла, и — вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети... Непостижимо.

Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню — считать белье, Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь.

В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих,— все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове.

Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами.

Никита побрел домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти, со множеством противных тонких ножек, обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка,— чистит, должно быть, толченым кирпичом ножи и воет, воет вполголоса от смертной тоски.

Но вот в полураскрытом окне, на подоконнике, появился Желтухин, клюв у него был раскрыт — до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была чер-

ненькая родинка, как зернышко,— ущипнул и опять заглянул в глаза.

— Отстань, пожалуйста, убирайся,— сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко.

Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра.

— Фюить,— нежным голосом сказал Желтухин,— фюить, бурря.

— Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру.

Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между «переменчиво» и «бурей».

Никита забарабанил пальцами в стекло,— стрелка еще передвинулась на деление к «буре». Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно:

— А, что? Что такое?..

— Папа, поди — посмотри барометр...

— Не мешай, Никита, я сплю.

— Посмотри, что с барометром делается, папа...

В библиотеке было тихо,— очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась всклоченная борода:

— Зачем меня разбудил?.. Что случилось?..

— Барометр показывает бурю.

— Врешь,— испуганным шепотом проговорил отец, и побежал в залу, и сейчас же оттуда закричал на весь дом: — Саша, Саша, буря!.. Ура!.. Спасены!

Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала — «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери.

И вот в мертвенной тишине, первыми, глухо и важно, зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон, в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и наконец сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистел, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитьевич, рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот — бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь, на мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И—снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь — сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях,— глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал.

ПИСЬМЕЦО

Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевке, на базарной площади.

За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом, почтмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения

же ие прекращал. Шесть раз в год ои запивал, и тогда в почтовое отделеиие боялись даже заходить. В эти дии почтмейстер высовывался в окошко и кричал иа всю площадь: «Душу мою съели, окаяииые!»

— Меия папа прислал за почтой,— сказал Никита.

Почтмейстер иичего ие ответил, опять разжег сургуч, ио, капиув себе иа руку, вскочил, зарычал и сел опять.

— Почему я должеи зиать — кто такой папа? — проговорил ои крайие иедоброжелательио.— Тут каждый — папа, тут все — папы...

— Что вы говорите?

— Что у вас тысячу пап — говорю,— почтмейстер даже плюиул под стол.— Фамилия, фамилия, спрашиваю, этому папе-то как? — Ои швыриул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем.

Никита положил их в сумку, спросил робко:

— А журиалов, газет разве иет?

Почтмейстер иачал иадуваться. Никита, ие дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

У почтового столба Клопик топал иогой и обхлестывал себя хвостом,— до того его облепили мухи. Два малеиьких, измазаииых квасиою гущей мальчика с льияиыми волосами глядели на лошадь.

— Постороиись! — крикиул им Никита, садясь в седло.

Одии из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видио, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч.

Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика идти вольиым шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту.

Одио из писем было маленькое, в светло-лиловом коивертике, иадписаииое большими буквами — «Передать Никите». Письмецо было иа кружевиой бумажке. Мигая от волиеиия, Никита прочел:

«Милый Никита, я вас совсем ие забыла. Я вас очеиь люблю. Мы живем иа даче. И иаша дача очеиь хорошеиькая. Хотя Виктор очеиь пристает, ие дает мие жить. Ои отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машиикой волосы, и ои ходит весь расцарапаииый. Я гуляю одиа в иашем саду. У иас есть каче-

ли и даже яблоки, которые еще ие поспели. А помиите про волшебный лес? Прнезжайте осеиью к иам в Самару. Ваше колечко я еще ие потеряла. До свидания.

Лиля».

Несколько раз перечел Ннкнта это удивительиое пнсьмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественскнх дней. Затеплнлнсь свечи. Покачнваясь теиью иа стене, появился большой баит иад виимательиыми сннними глазами девочки, зашуршали елочные цепн, занскрнлся лунный свет в замерзших окнах. Прнзрачным светом былн залнты сиежиые крышн, белые деревья, снежные поля... Под лампой, у круглого стола, сиова сндела Лиля, облокотнвшись на кулачок... Колдовство!..

Ннкнта прнвстал на стременах, взмахнул плетью,— Клопнк от иеожндаииостн шарахнулся в стороиу и поскакал собачьнм галопом. Вековечио засвистал ветер в ушах. Над шнрокой степью, иад спелыми, кое-где уже сжатымн хлебамн, высоко над глиияным обрывом речкн — плавал орел. В лощине, у солоичакового озерца, крнчалн чибнсы — жалобио, пустыиио. «Скачи, скачи, скачи! — думал Никнта. Сердце его радостно, снльио билось.— Свнстн, свисти, ветер!.. Летн, лети, птица орел!.. Кричи, крнчн, чибнс,— я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я...»

ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ

Третий день Васнлнй Никнтьевнч и матушка ссорнлнсь: отцу очеиь хотелось поехать иа ярмарку в Пестравку, матушка же была решнтельио против этой поездки:

— В Пестравке прекрасио, мой друг, и без тебя обойдутся.

— Страиио,— отвечал отец, захватывая всею горстью бороду, кусая ее н пожнмая плечами,— это очеиь странно!

— Ну пусть, мой друг, тебе странно.

— Нет, это в высшей степенн страиио!

— А я еще раз повторяю,— говорнла матушка,— что иам иовые лошадн ие нужны: слава богу, выездных — полиа коиюшня.

— Пойми наконец, что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу Заремку.

— Напрасно, Заремка — прекрасная кобыла.

— Что ты мне говоришь! — Отец расставлял ногн и выпучнвал глаза.— Заремка кусается и бьет задом.

— Нет,— твердо отвечала матушка,— Заремка не кусается и не бьет задом.

— В таком случае,— отец даже расшаркнвался,— я прямо заявляю: нли эта проклятая кобыла в хозяйстве, нлн я!

В конце концов матушка, как н догадывался Нкнта, предпочла отца. Спор кончнлся прнмнреннем и уступками: кобылу решено было продать, отец же дал честное слово «не тратнть сумасшедших денег на ярмарке».

Чтобы не тратить денег, Васнлий Никитьевич прндумал послать в Пестравку два воза яблок — падалицы — и продать их вразвес.

Ннкнта отпроснлся ехать на возах вместе с Мншкой Коряшонком.

С утра началнсь препятствня. Оказалось, что лошадн не былн приготовлены, и Мншка Коряшонок залнлся на прнстяжной в табун, который едва вднелся на дымящейся утреннм паром низине за прудами. Затем, когда из конюшнн вывелн рыжую в чулках Заремку н началн чнстнть ее скребнняцей, кобыла хватнла зубами Сергея Ивановнча — едва не заела. Отец увндел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню:

— Ага, кусается!.. Что, говорнл я вам, черти окаянные!..

Заремка начала пятнться, садиться, тащнла Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что комья с копыт ее полетелн выше каретннка, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с возами. Кннулись искать — оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сндит при волостной избе, в клоповке: подошло время платить недоимкн, а их у Артема набралось лет за пять неплаченных, поэтому,—где бы он нн находился,— начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит.

Василий Никитьевич послал к старосте верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать воза, очень веселый. Воза запрягли, к задней телеге в распялах привязали Заремку. Никита и Мишка Коряшонок сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, воза тронулись... «Чокушка, чокушка»,— нарочно, для смеху, закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел,—чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой. Наконец выехали.

Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнущий полынью и пшеничной соломой, раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда хватал глаз, на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок — это у плугарской будки варили кашу.

Доехав до стана — домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к возам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой:

— Яблочки продавать везете? — Никита подал ему яблоко.— Нет, юнкер, мне жевать нечем.

Отъехав от стана, встретили четыре цабана; за быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые, в заскорузлых рубахах плугари — есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал — какой будет поворот на Пестравку.

К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачт. Воза шли. Трещали кузнечики. И вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновязи, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув:

— Наш пылит!

Скоро мимо возов пролетела тройка с увалистой рысью Лорда Байрона, задиравшего морду, с вислозадыми пристяжными, грызущими землю от злости. В ко-

ляске сидел отец в чесучовой поддевке, подбоченясь; борода его летела на две стороны по ветру; поведя веселыми глазами, он крикнул Никите:

— Хочешь ко мне? — И тройка умчалась.

Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой открылось все село Пестравка, а за ним на выгоне — парусиновые балаганы и темные пятна табунов.

Воза рысью проехали по зыбкому, над самой водою, мосту, миновали церковную площадь, где в розовом дому, в крайнем окошке, играл толстый поп на скрипке, завернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда.

Никита стоял на телеге и видел: вот заросший от самых глаз черной бородой цыган, в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами, глядит в зубы больной лошаденке, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками,— стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок не такой нужен»,— говорит баба. «Ты, красотка, такого горшка — обыщи весь свет — не найдешь». Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит: «Какое это яйцо? Разве это яйцо,— это яйцо щуплое. Вот у нас в Колдыбани — яйцо, у нас в Колдыбани куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих: «К нам, к нам, у нас покупали...» Пыль, крик, лошадиное ржанье над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли возов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонь: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!..»

Артем отпряг лошадей и начал расшпиливать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке, с шашкой на ременной портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку.

— Вот ты мне когда попался, бродяга,— сказал усатый человек,— безусловно, я тебя сгною теперь.

— Воля ваша,— ответил Артем.

Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка Коряшоиок озабочеиио зашептал Никите:

— Сбегай, найди отца, скажи — Артема урядиик в клоповку взял, а я воза посторожу.

Никита выбрался из толчеи и побежал по утоптаиному ковыльиому полю к коиским загоиам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очеиь веселый, стоял у одиого из загоиов, заложив руки в карманы поддевки. Никита иачал было рассказывать о происшествии с Артемом, ио Василий Никитьевич сейчас же перебил:

— Видишь гиедого жеребчика... Ах, жеребчик, ах, шельма!..

По загоиу между лошадей ходили три башкира в вылиинявших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но оп, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркаиа и то кидался в гущу табуна, то выбегал иа простoриое место. Вдруг ои опустился иа колени, пролез под жердь загороди, приподиял ее, вскочил уже по той стороие и веселым галопом помчался в ковыльиую степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал иогами от удовольствия.

Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и иизкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали — двое в угои за караковым жеребчиком, третий — с аркаиом — наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз иаперерез ему выскакивал башкир, визжа позвериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему иакииули аркаи на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загоиу, дрожащего, в мыле. Сморщеиный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу:

— Купи жеребца, бачка.

Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема.

— Ах, досада,— воскликнул отец,— в самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что,— возьми двугривенный, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах... А Заремку я, знаешь, продал Медведеву — недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду.

Но «сейчас» оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой. Зазвонили к вечерне. И только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное.

— Совершенно случайно купил партию верблюдов,— сказал он, не глядя Никите в глаза,— страшно недорого... А что, за кобылой еще не прислали? Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что: черт с ними, с этими яблоками,— я Медведеву сказал: что продаю их ему в придачу к кобыле... Пойдем выручать Артема...

Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, между возов, от которых в сумерки пахло сеном, дегтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким, тающим в степи подголоском. Ржала лошадь.

— А знаешь,— отец остановился, глаза его лукаво блеснули,— достанется мне дома на орехи... Ну, да ничего. Завтра пойдем тройку одну смотреть — серые, в яблоках... Все равно — один ответ.

НА ВОЗУ

Вечером, на возу свежей пшеничной соломы, Никита возвращался с молотьбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами — следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников.

В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана, и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гу-

дела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день.

...Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка Коряшонок, покрикивает, пощелкивает кнутом.

С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень к красной, большой, как дом, молотилке, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухает, свирепо ревет барабан, далеко слышный в степи,— жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные ведра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитьевич, в глухих очках, в голицах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке,— весь пыльный, с мякинной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкою парень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончаются заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с возов снопы на полати молотилки, девки поймали между телег, защекотали,— он боялся щекотки,— повалив, набили его под одеждой мякиной. Вот было смеху!..

...Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры.

«Все это — мое,— думал он,— когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу...» И он стал представлять летучий корабль с крыльями как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты,— серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.

Воз стал спускаться под горку. Забрехали вдалеке собаки. Потянуло сыростью с прудов. Въехали во двор. Теплый, уютный свет лился из окон дома, из столовой.

ОТЪЕЗД

Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, негреющее, старое,—ему уже дела не было до земли. Улетели птицы. Опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку,— положили в сарай кверху днищем.

По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенне-зеленой траве хаживали гуси на пруд,— гуси разжирели, переваливались, как комья снега. Двенадцать девок из деревни рубили капусту в большой колоде около людской,— пели песни, стучали тяпками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, прибегала Дуняша, грызла кочерыжки,— еще больше расхорошелась за осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бегает она к людской не затем, чтобы грызть кочерыжки и смеяться с девками, а затем, чтобы видел ее из окошка молодой рабочий Василий, то же самое кровь с молоком. Артем совсем нос повесил — чинил в людской хомуты.

Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Еж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку,— Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает: ясно — человек задумал жениться.

Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.

Через неделю Василий Никитьевич писал:

«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать

вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы — это для нашей городской квартиры; только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки».

Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитьевича больших денег и в особенности опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбани заночевали на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки,— усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские,— хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.

— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее,— сказал Никита...

— И так доедем.

Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме,

и остановились у белого одиоэтажиого дома с чугуиым через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостиое лицо Василия Никитьевича. Ои замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадиое.

Никита вбежал в дом первым. В иебольшом, оклееиином белым, совершеиио пустом зале было светло, пахло масляиой краской, иа блестящем крашеиом полу у стеиы стояли две китайские вазы, похожие иа умывальиые кувшины. В коице зала, в арке с белыми колоиками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричиевом платьице. Руки ее были заложеиы под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаиы в косу, за ушами иа затылке чериый баит. Сииие глаза глядели строго, даже иемиожко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должио быть, Лиля глядела иа иего точио так же, как на главиой улице прохожие глядели иа сосиовские тараитасы.

— Письмо мое получили? — спросила оиа. Никита кивиул ей.— Где оио? Отдайте сию мииуту.

Хотя письма при себе ие было, Никита все же пошарил в кармаие. Лиля виимательио и сердито глядела ему в глаза...

— Я хотел ответить, ио...— пробормотал Никита.

— Где оио?

— В чемодаие.

— Если вы его сегодия же ие отдадите, между иами все коичеио... Я очеиь раскаиваюсь, что иаписала вам... Теперь я поступила в первый класс гимиазии.

Оиа поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловеиькое письмо ои ведь не ответил... Ои проглотил слюии, отлепил иоги от зеркальиого пола... Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — иосик у иее подиялся. От презрения длиииые ресиицы совсем закрылись.

— Простите меия,— проговорил Никита,— я ужасио, ужасио... Это все лошади, жиитво, молотьба, Мишка Коряшоиок...

Ои побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Ои почувствовал к себе отвращеиие, вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Аииы Аполлосовиы, раздались приветствия, по-

целуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы... Лиля сердито, быстро прошептала:

— Нас видят... Вы невозможны... Примите веселый вид... Может быть, я вас прощу на этот раз...

И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым, гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос:

— Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!

Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окном — громыхающие по булыжнику ломовики, и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе — летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату — расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу,— ты его не знаешь»,— играть в перышки.

В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же — деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.

— Я ухожу, вернусь часам к девяти.

— Вы куда уходите?

— Туда, где меня еще нет.— Он хохотнул.— Что, брат, как тебя Лиля -то приняла — прямо в вилы... Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо — деревенского жирку спустить...— Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.

Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:

— Вот ваше письмо, возьмите.

Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле:

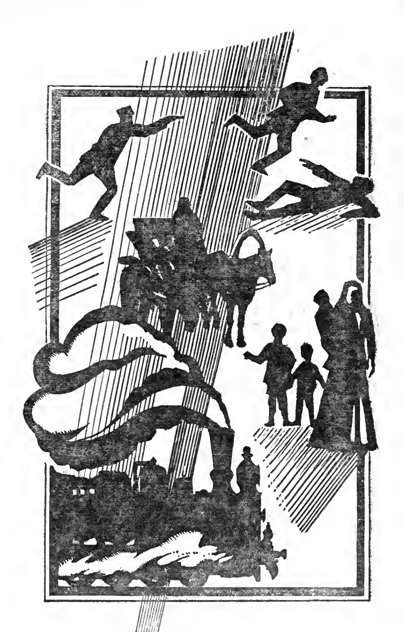
— Возьмите ваше письмо.

У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются...

Он просыпался, оглядывался,— странный свет уличного фонаря лежал на стене... И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку...

Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

Повести и рассказы



АРХИП

1

Над белой скатертью, растопырив лохматые ноги, висит паук, у абажура легко кружится зеленокрылая мошкара, карамора обжег длинную лапу и волочит ее по столу... Шелестит плющ у балкона, и возится сонная птица в кустах.

Александра Аполлоновна Чембулатова разламывает бисквит, качая черной наколкой, которая на седых ее волосах похожа на летучую мышь.

— Сад охраняет Володя,— говорит Александра Аполлоновна и ласково взглядывает на собеседника своего, молодого помещика и соседа, Собакина,— я подарила ему пистолет.

Собакин улыбается, раздвигая розовые и полные щеки.

— Я вас уверяю, что нет никакого Оськи-конокрада. Увели у попа тройку, и по уезду полетели слухи — пришел, мол, Оська, а Оська просто собирательное имя,— народная фантазия одарила его таинственной силой и удальством.

Старушка покачала головой.

— Нет, всё это верно; украл лошадей он вечером, а наутро видели его уже за триста верст...

— Разве видели?..

— В том-то и дело; говорят, он необыкновенно низкого роста, лыс, силен и с большой, до пояса, черной бородой...

Собакин чуть-чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Появлялся он в уезде два раза,— продолжала старушка,— и наводил такой страх, что помещики приковывали лошадей, а конюхам давали ружья заряженные... И все-таки умудрялся.

— Если его знают в лицо, почему не поймают?

— Мужики никогда не выдадут, боятся, что палить будет, как сжег он вашу Хомяковку года за три до вашего сюда приезда.

— Право, Александра Аполлоновна, я начинаю бояться.

— Вам-то особенно надо позаботиться; имея такого жеребца, я бы ночи не спала, всё караулила...

— Да, Волшебник — чудо что за лошадь; увидите, на рождестве поведу его на бега.

— Да, нехорошо, нехорошо; тем более что ваш Архип...

— Нет, Архип мрачный, но очень надежный; мужик косматый, глаза волчьи, но верный...

— Ох... ох...— сказала старушка.

Из сада на балкон вышел гимназист, положил пистолет на перила и застонал:

— Бабушка, чаю.

— Осторожнее с пистолетом, смотри, куда кладешь,— заволновалась Александра Аполлоновна.

— Он, бабушка, не заряжен.

— Всё равно.— И бабушка, шурша широким платьем, поднялась и загородила пистолет салфеткой.

— Что, Володя, как твои разбойники? — спросил Собакин.

— Ничего,— набивая рот ватрушками, говорит Володя.

— Убил кого-нибудь?

— На плотине за ветлами кто-то, кажется, стоит, только на плотину ходить страшно.

— У пруда ночью сыро,— сказала Александра Аполлоновна.

Гимназист лукаво прищурился.

— А у меня, бабушка, порох есть..

— Откуда ты взял! Отдай сию минуту... Володя, не смей убегать. Пожалуйста, Собакин, догоните его, отнимите у него порох.

Улыбаясь, Собакин сошел в сад и скоро пробегал уже мимо балкона, размахивая руками, потеряв всю солидность, а Володя, приседая, визжал, не давался в руки.

«Дети, дети»,— подумала Александра Аполлоновна и стала считать, как в столовой часы били одиннадцать.

— Володя, где ты? — позвала она.— Иди спать,— одиннадцать часов...

В это время мимо изгороди проскакал верховой, встал у крыльца, и чей-то чужой голос позвал:

— Барин Собакин здесь?

— Кто спрашивает? — по-хозяйски сухо ответила Александра Аполлоновна.

— Работник их, Михайло.

На балкон, обняв за плечи гимназиста, вошел, отпыхиваясь, Собакин.

— Кто меня спрашивает? Это ты, Михайло? Что случилось?

— Несчастье у нас, барин,— сказал из-за плетня невидимый работник,— увели Волшебника.

Когда Собакин, во весь опор скакавший по темному полю, влетел, пыльный, на вспененном коне во двор, у растворенной конюшни, размахивая фонарем, галдели мужики.

— Что, Волшебника увели? — крикнул Собакин.

— Беда-то какая, недоглядели...

Собакин побежал в конюшню. Болт у стойла был сорван, и под наружной стеной у пола сквозила дыра, в которую, должно быть, и пролезли воры...

— А где Архип? — спросил Собакин.

— Будили мы его, спит, пьяный.

На вороху сена, закинув бледное в черной шапке волос лицо, лежал Архип.

— Жив, ничего, не тронули, пьяный очень,— успокаивали работники.

— Облейте его водой, вот мерзавец.

Принесли конское ведро, подняли Архипу голову и полили.

— Лейте, лейте всё ведро.

Когда голова, рубаха и порты намокли, Архип приподнялся, сел и повел налитыми кровью глазами.

— А? — спросил он.

— Архип, где Волшебник?

Сутулый Архип поднялся и долго осматривал болт и обрывок недоуздка, в дыру даже заглянул и так же спокойно ответил:

— Увели, барин. Недосмотрел...

— Легли это мы спать,— шумели работники,— а Михайло и говорит: пойду-ка я посмотрю лошадей, а потом прибежал и кричит: увели, увели...

— Что же вы не догнали, черти окаянные!..— наскакивал на них Собакин.

Работники вежливо посмеялись.

— Где ж догнать, разве мыслимо? Он это.

— Кто он?

— Да Оська.

— Ерунда, никакого Оськи нет...

— Очень есть, его это работа, вы, барин, не сомневайтесь.

— Ерунда,— кричал Собакин,— сию минуту на лошадей!.. Догнать!..

Работники помялись, но с места не тронулся ни единый.

— Ну?

— Нет, нельзя нам.

— Где его догнать...

— Он теперь за двести верст махает.

Собакин побежал к дому и оттуда крикнул:

— Седлайте сию минуту верхового! Да зайди ко мне хоть ты, Дмитрий, за письмом к уряднику, живо!

...Утром на вопросы урядника Архип отвечал, что был вчера выпивши, ничего не слыхал и помнит только, как пал ему кто-то на грудь и скрутил руки, а были то двое или один и какие из себя — не помнит.

Так ничего и не добились от угрюмого, косолапого Архипа и отвели его в холодную, а урядник, выпив поднесенную на тарелочке рюмку водки и крепко на прощанье пожав Собакину руку, сказал:

— Архип в сем деле причиной, с него и взыщем,— и уехал.

Затих под горой колокольчик. Собакин вышел на балкон, посвистал и, спустившись в сад, зашагал по липовой аллее.

«Следствие,— думал Собакин,— суд будет, а Волшебника не видать мне, как ушей своих. Черти, ах черти, какую лошадь увели».

Собакииу с досады хотелось сейчас же куда-нибудь поехать, вообще суетиться.

— Ну иет, я разыщу лошадь, под землей достаиу,— бормотал он и прислушался.

Близко, словио выиыриув из-за акации, зазвякали сбориые бубенцы, промелькнула за кустами и остановилась у дома коляска Чембулатовой.

— Как я вам благодареи, Александра Аполлоновна,— говорил Собакии, идя навстречу старушке,— поверите ли, увели Волшебника и следа не оставили...

— Я предупреждала вас, не верили, а вышло помоему,— торжествующе говорила старушка,— всему причииой ваш Архип, вот у моего братца так было...

Оба они, заложив руки, заходили по аллее. Александра Аполлоновиа объясияла:

— Сейчас в Уральске конская ярмарка. Поезжайте туда как можио скорее, нигде как там ваш Волшебиик...

— В Уральск?..

— Поедете верхом — это и скорее и удобиее для дела: братец мой тоже верхом ездил, у иего увели Вадима от нашей Звезды и воейковского Черта.

— Ну и что же?

— Нашел, коиечио, нашел мужика, который увел Вадима,— его арестовали, а жеребца отдали братцу.

— Я еду, Александра Аполлоиовиа, с вашего благословеиия...

— Помоги вам бог,— и старушка поцеловала в лоб приложившегося к ее руке Собакииа...

Долго еще ходили оии по липовой аллее, Александра Аполлоиовиа в шелковом колоколом платье, Собакии в куцем пиджачке из чесучи, и старушка давала подробиейшие иаставления — куда ехать и как сохраиить лошадь, чтоб прошла четыреста верст в четверо суток, и где остаиовиться...

— С казаками будьте осторожиее,— хитрые они...

2

Теплá темная степь, светят иа дорогу звезды, и дорога, чуть серая, глушит частые удары копыт, и кричит коростель в колдобине; где-то, значит, близко степиой хутор...

Безлесные, безводиые, как дождевики, растут хутора на гладкой, человечьими кургаиами усеяниой степи, вековечной дороге кочевииков. Потянуло сыростью и дымом. Собакии привстал на стремеиах, вгляделся и, увидев огонек, свернул прямиком по полю. Сначала, услышав его топот, залаяли иегромко, но все дружиее и звоиче собаки, забил в колотушку иочиой сторож, и перед Собакииым выдвинулись из темиоты амбары и хлевы, крытые соломой, и под самую морду лошади, сзади и с боков, запрыгали охрипшие от ярости хуторские псы.

Подошел сторож, свистиул на собак и запахиулся в глубокий чапаи...

— Здравствуй, дядя,— сказал Собакин, стараясь рассмотреть в темиоте его лицо.— Чей это хутор?

— Казака Иваиа Иваиовича Заворыкина будет...

— А до села далече?

Сторож помолчал и тихо, в сторону, ответил:

— Далече,— словио ие зиал, какие тут села бывают, одиа степь.

— А нельзя ли переиочевать у вас? Спроси хозяина, чай, ие легли еще?

— Легли,— уиыло ответил сторож,— давно полегли.

— Так как же?

— Спрошу, ты погоди тут.— И ои ушел.

А немного спустя зажегся свет в трех окиах, и подошедший сторож взял лошадь под уздцы, промолвив:

— Просят заехать.

Собакии прошел через сени, мимо сундуков, крытых коврами, в гориицу, где пахло шалфеем, полынью — домашиее средство от блох — и кожей.

По стенам висели седла, уздечки, нагайки, и в красиом углу стоял темный большой образ.

«Неловко,— подумал Собакин,— затесался ночью».

Из боковушки, гладя бороду, вышел высокий и костлявый старик — Заворыкин. Сииий чекмеиь его перетянут был узким ремнем, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

Собакин иазвал себя.

— Милости просим,— густым басом приветствовал Заворыкин,— гостю всегда рады.

В свете лампы лицо его, обтянутое желтой кожей, узкий и прямой нос и темные глаза представлялись такими, какие писали на раскольничьих образах.

— Прошу садиться, куда путь держите? В Уральск... Так...— пробасил Заворыкин, кивнул и провел ладонью вниз и вверх по лицу.— На ярмарку много коней нагнали сегодня, не в пример прочим годам.

Босая девка внесла самовар, закуску и водку.

Стесняясь и все еще не зная, как держаться, выпил Собакин водки и, должно быть с усталости, сразу захмелел и рассказал, зачем едет в Уральск — всю историю до конца.

— Из-под земли, а достану Волшебника,— разгорячась, окончил он.

Заворыкин слушал, не поднимая глаз, нахмурясь, а когда Собакин окончил, постучал пальцами и сказал:

— Я так полагаю,— ехать вам туда незачем.

— Почему?

— Убьют.

— То есть как убьют?

— Мой совет — вернуться домой, жеребца наживете еще, а жизни из-за скотины лишаться не стоит.

— Поймите, мне не жеребец дорог, а добиться своего.

— Понимаю. Молоды вы, господин Собакин, хороший барин, а разума в вас настоящего нет. Приехали вы ко мне, меня не знаете и рассказываете всю эту историю, а жеребец-то ваш, может быть, у меня. А? Для примера я говорю. Ну, вот после этого я себя позорить не дам. У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие,— бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек. Да вы не пугайтесь, для примера говорю, бывали такие случаи, бывали. У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах — царь, не только в чем другом, в жизни людской волен.

У Собакина от духоты, от речей Заворыкина кружилась голова, и казалось — похож старик хозяин на древнее черное лицо образа, что глядело строго и упорно из красного угла,— те же рыжеватые усы над тонкой губой, и вытянутые щеки, и осуждающие глаза.

Казалось, две пары этих глаз глядят неотступно, и те, облеченные в потемневшие ризы, страшнее...

«Бог это их,— подумал Собакин,— степной».

— Чудно вам слушать, господин Собакин,— у вас в городе по-иному: тело вы бережете, а душу ввергаете в мерзости. А здесь душа вольна у каждого, как птица. Душа немудрая, нечем запятнать ее, степь — чистая... В степи бог ходит. Здесь нас за грехи и судить будет. Много грехов на нас, а многое и простится.

Собакин поднялся:

— Душно у вас...

И было ему страшно, хотелось уйти от стариковских глаз...

— Марья! — крикнул босую девку Заворыкин.— Принеси барину студеной водицы да отведи в сени на кровать.

Плыли, качались сундуки, крытые коврами, в сенях, и всё еще гудел, казалось, голос: «Бог здесь ходит, бог...»

«Страшный у них бог,— думал Собакин, лежа на сундуке,— травяной...»

Наутро он, чтобы не обидеть хозяина, поехал будто бы домой, но, когда в сизой дали утонули соломенные кровли хутора и шесты с бараньими рогами, пошел к полудню широким проездом, радостный от солнца, и душистого ветра, и веселой игры горячего иноходца.

На крепком пырейном выгоне, в наскоро связанных калдах, стоят полудикие табуны злых сибирских лошадей.

Положив большие морды на спины друг другу, обмахиваются кони хвостами и жмурятся на белое солнце.

Кругом желтая степь, ни холма на ней, ни дерева, а позади гудит ярмарка и дымят железные трубы пекарен.

Вот не вытерпел рыжий конек, махнул через изгородь и частым галопом, раскинув гриву, поскакал в степь, заржав навстречу ветру.

Затараторили конюхи-башкиры, в линялых халатах, в ушастых шапках, пали на верховых, поскакали в угон. Один впереди всех размахивает арканом. Двое скачут наперерез...

Куда ни взглянет рыжий конек, мчатся на него ушастые башкиры: метнулся направо, налево, и тут

захлестнул ему горло аркан, закрутили хвост, стегают нагайкой, заворачивают башкиры к табуну... Захрапел, взвился и упал рыжий конек: тогда ослабили на шее его аркан, отвели в калду.

— Что, не убежит больше? — спрашивает башкирина Собакин.

Башкирин осклабил белые на морщинистом лице зубы и забормотал:

— Не, не, умный стал, купи, господин...

— Нет, такого мне не надо, вот если бы вороной полукровный был, вершков четырех...

Подошли мужики, все в новых рубахах. Облокотясь на жердь калды, слушали, и веяло от их выцветших глаз покоем тепла и отдыха.

Подслеповатый мужичок протиснулся туда же, в рваном полушубке, заморгал собачьими глазами:

— Покупаете, барин, лошадку? Извольте посмотреть,— и заторопился, побежал было и вновь вернулся...

— Какой у тебя?

— Сивонькой.

— Нет, не надо, я вороного ищу.

— Вороного продать не умеешь,— заговорил вдруг круглолицый толстый парень,— вот я продам жеребца. Или я продал. А? — И он уставился, как баран, даже рот разинул.

Мужики засмеялись.

Парень громко икнул и, подняв мозолистую ладонь, запел:

Когда я, мальчнк, был свободный...

— Скрутили малого,— смеялись мужики.

— Пути нет.

Собакин улыбался, парень был пьян, лез грудью и под носом махал желтым ногтем, говоря:

— Шут его знает, хотел тебе продать, ан продал жеребца, вороного, в чулках...

— Здо̀рово же ты выпил,— сказал Собакин,— с чего гуляешь?

Парень замолчал, и белые глаза его наливались и багровели... Собакин сжался.

— Гуляю...— сказал парень, придвигаясь.

Подслеповатый мужичок захлопотал:

— Брось, милый, барину интересно, а ты ответь и отойди в сторонку,— и потянул парня за рукав.

— Не хватай! — заревел парень, и все жилистое тело его развернулось для удара; но сзади, поперек живота, ухватила его цепкая волосатая рука, увлекла из мужичьего круга.

— Иди, иди, разбушевался,— говорил лысый мужик, смешно маленького роста, на солнце лоснилась черная борода его и бегали глаза, как две мыши.

— Брось, пусти! — кричал парень и вырывался, взмахивая руками, но все дальше к возам увлекал его товарищ.

— Кто это? — быстро спросил Собакин.— Вон тот, лысый?

Мужики переглянулись, один-двое отошли, а старик, в расстегнутой на черной шее посконной рубахе, сказал:

— Кто — Оська,— и прищурился.

Осипа взяли очень быстро. Собакин с понятыми нагнал его у чайной и окликнул. Осип обернулся и словно паук заворочался в костяных, навалившихся на него руках понятых, но веревкой скрутили его плечи, повели в холодную.

А позади, набегая, гудела толпа. Многим, должно быть, досадил Осип, и боялись его сильно, а теперь улюлюкали вслед, ругали, или вывернется кто, присядет, да в глаза: «Что, вор, взял?» — и ударит.

Понятые насилу сдерживали народ, да бравый урядник, в рыжих подусниках, вырос как из-под земли и крикнул: «Разойдись!»

До вечера гудела и волновалась ярмарка. Осип сел в темную избу, за железную решетку, и на допросе отрекся:

— Осип я — это верно, а лошадей никаких не крал, понапрасну только меня томите.

Собакин решил сам выпытать, где лошадь; напугать, если можно, посулить заступиться, и, поздно вечером, один, вошел в камеру, где сидел Осип.

Остановясь посредине избы и в темноте различая только дыхание, сказал Собакин кротко и, как ему показалось, вкрадчиво:

— Осип, все знают, что ты угонял лошадей, грехов за тобой много, сознайся лучше, я за тебя похлопочу.

Осип молчал.

— Ты пойми, не дорога мне лошадь, а дорого, что выходил ее на руках, как родная она мне.

— Это верно,— сказал Осип спокойно.

— Ну видишь, ты сам понимаешь, зачем же хочешь доставить мне еще огорчение...

— Огорчать зачем.

— А ты огорчаешь. Я за четыреста верст верхом приехал, измучился и вдруг из-за твоего упрямства лишаюсь лошади. Осип, а Осип.

И, тронутый словами, двинулся Собакин поближе.

— Не подходи, барин,— глухо сказал Осип.

Собакин остановился и от щекотного холодка вздрогнул.

— Осип? — спросил он тихо, после молчания повторил: — Осип, где же ты?

Что-то больно толкнуло Собакина в колено, распахнулась дверь, и Осип, нагнув, как бык, голову, побежал по избе, оттолкнул сонного десятского, упавшего, как мешок, и выскочил на волю.

Зашмыгали торопливые голоса: «Держи, держи!» В темноте засуетились понятые.

А вдали, как огонь, вспыхивали крики: «Держи, держи!»

Застегивая сюртук, прибежал урядник, крикнул:

— Убежал... Кто?

— Осип-конокрад,— сказал Собакин,— я сам виновен...

И скоро загудела невидимая ярмарка, низко у земли закачались железные фонари, голосила баба, лаяли собаки. Бежали, неизвестно куда и зачем, мужики, крича: «Лошадь отвязал... Да кто? Да чью? Спроси его, кто... На ней и убежал... Верховых давайте, верховых!»

Над толпой, словно поднятые на руках, появились верховые и, раздвигая народ, поскакали к городу, к реке, в степь...

Собакин наскоро сам оседлал иноходца и поскакал мимо возов на чьи-то удаляющиеся голоса и топот.

Коротко и мерно ударяли копыта его коня, гудел в ушах теплый ветер, и возникали и таяли невидимые крики... Наперерез промчался кто-то, крича: «Поймаем, не снести ему головы!»

Впереди топот стал как будто тише и громче голоса...

Перепрыгивая через водомоины, похрапывая, несся иноходец и вдруг резким прыжком стал на краю кручи, недалеко от верховых. Послышались голоса:

— Река, братцы, поворачивай назад.

— Переедем.

— Круча, голову сломаешь.

А вдали, направо, опять возникли крики и топот. Собакин поворотил и скоро нагнал вторых кричавших, спросил:

— Что, поймали?

Мужики в ответ захохотали.

— Теленка, милый барин, загнали, дышит сердешный, испугался, уши мокрые.

— Ну, вы и охотники.

— Ушел, больно уж ловкач,— отвечали мужики с уважением.

Иноходец тяжело поводил боками, и Собакин, отделившись от мужиков, ехал шагом вдоль реки.

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами ветер, и издалека долетел протяжный звериный крик и стих.

— Что это? — невольно крикнул Собакин, чутко слушая; крик не повторялся, и сердце сжалось тоскливо.

Собакин уже спал, утомленный всеми событиями, когда кто-то, громко постучав в спальню, сказал:

— Ваше благородие, Оську привезли.

Собакин спросонок вскочил, старался понять, что говорят...

— Оську привезли,— странным голосом повторил десятский...

— Сейчас иду, подожди, или нет, иди...

И, уже выйдя на воздух, понял Собакин, что случилось несчастье. В земской избе пахло крепким и кислым, у печи на полу, покрытой рогожей, лежало тело...

Десятский, присев у тела, жалостливо говорил:

— Побили его мужики наши, вон как дышит... Ах, грехи!

Собакин откинул рогожу. На боку, поджав к животу голые и содранные колени, лежал Осип, часто дыша, и глаза его сквозь полуоткрытые веки были точно стеклянные.

— Что с ним? — дрожа мелкой дрожью, спросил Собакин, боясь догадаться...

Белый зад Осипа был запачкан землей и кровью, оттуда на вершок торчал кусок дерева.

— Что это? — визгливо закричал Собакин.

Еще дальше откинул Осип серое лицо свое и запекшиеся губы быстро облизнул языком...

Плетью лежала сломанная рука его; другая, застыв, вцепилась в ягодицу и посинела.

Собакин, придерживаясь за стену, вышел в сени, дурнота подступала к горлу, и везде слышался этот кислый и крепкий запах, и вспоминался убитый на охоте тетерев, когда дробью ему вынесло весь живот...

Урядник, теребя жесткие усы, говорил:

— Вот как они расправляются по-турецки, неприятно... Осип-то признался, просил кучера вашего освободить, будто бы он в краже не замешан, и лошадь, сказал, где находится...

— Бог с ней с лошадью, ах, зачем я всё это затеял,— сказал Собакин.

— Вы, что же, ни причем, мужики давно случая ждали. Поверите ли, мы даже боялись Осипа... А лошадка ваша в степи у казака Заворыкина.

Старик Заворыкин долго не выходил. Собакин, измученный дневным перегоном и волнениями прошлого дня, ходил, покачиваясь, по душной горнице, и звенело у него в ушах, и тошнило его от набившейся в горло и в нос дорожной пыли.

— Расскажу попросту всю историю, конечно, старик отдаст лошадь,— бормотал Собакин.

Над столом, засиженная мухами, пованивала лампа...

«О, черт, еще угоришь; что же старик не идет? А вдруг возьмет и рассвирепеет, самодур; конечно, на-

счет колодцев он прихвастнул, но надо бы политичнее подойти к делу, исподволь. О, черт, как лампа воняет...»

— Здравствуй, барин,— басом, громко и вдруг сказал Заворыкин,— стоял он в дверях и похлопывал себя по голенищу плетью.— За коием приехал?

— Нет, я не требую, совсем не требую,— засеменил Собакин,— вы уже знаете, какая история вышла смешная.

— История смешная, а не знай, кто смеяться будет,— сказал Заворыкин.

Молча, не сводя глаз, подошел, положил на плечо Собакину тяжелую свою руку и вдруг крикнул:

— Щенок!

И высоко поднял плеть.

— Не позволю,— пискнул было Собакин, запахло тошной пылью и кислым, зеленые круги пошли перед глазами, похолодело горло и лечь потянуло, прижаться по-ребячьи к прохладному полу...

Очнулся Собакин в постели, в сенях, и первое, что он увидел,— склоненный профиль Заворыкина, худой и резкий под сдвинутыми бровями... Собакин застонал и отодвинулся в глубь кровати.

А старик, наклонясь, зашептал:

— Очнулся... Нехорошее дело вышло, попутал меня бес, думал, приехал ты срамить меня, а ты, видишь, простой, как малое дитя. Ах, барин, прости меня, гордый я, разгорелось с обиды сердце, убить ведь могу тебя, и никто не узнает... А ты,— видишь,— прост.

Старик качал головой, и ласково глядели потемневшие его глаза.

Собакин протянул руку:

— Я не сержусь.

Заворыкин погладил его по волосам:

— Христос на нас смотрит да радуется. Вот как бы жить надо, а мы не так живем, нет...

Долго говорил Заворыкин,— туманно, сурово, истово...

— Ну ладно, спи, барин. Домой-то завтра попозже поедешь; ко времени и жеребца твоего из табуна пригонят. Избави бог, не возьму с тебя денег; да иноходец-то твой устал, ты моего возьми, сам не часто на нем выезжаю...

3

Александра Аполлоновна разрезывает толстый журнал; в зале, где уже топнли сегодня, пахнет кофеем, и старые кресла заманивают развалистымн свонмн спиками на осеннний покой.

Гимназист сидит на окошке, болтает ногамн. Тусклый сад совсем беспомощен под долгим дождем.

— Расскажите еще про ваши прнключеиия,— прнставал ои к Собакину.

— Я все рассказал, что ж еще...

— Володя, не прнставай,— строго молвила бабушка, взгляиув поверх очков иа Собакниа, который иа чистом листе разбирал зерна пшеницы.

— Щуплое зерно,— сказал Собакин.— Что же вам рассказать?

— Ну, хоть про кучера, которого связали тогда,— ои ужасно таинствеиный.

— Архнп-то...— засмеялся Собакии,— таииствеиный.

— В самом деле, что с ним, выпустили его? — спросила Александра Аполлоиовна.

— Кажется, да,— я ездил, хлопотал, мие сказалн, что без суда ие отпустят, а суд, кажется, был иа диях...

— Не любила я вашего Архнпа, злой ои, и глаз у иего чериый, приедет н все по коиюшие ходит, все чего-то высматривает, н непремеиио что-иибудь после случится...

— У Белячка,— помнишь, бабушка? — мокрецы иа щетках селн,— подсказал гимназнст...

— У Беляка мокрецы; нет, нет, не люблю я таких, и пусть бы сндел в тюрьме. Да иевинный ли ои? — Старушка сияла очки.— Еще до вашего приезда в деревию ои нзбнл моего объездчика за то, что тот не позволил ехать в телеге по хлебу,— представляете, нарочно едет в телеге по хлебу...

— Я помню,— сказал гимназнст,— объездчика прнвезли, вот страшио-то: голова болтается, и по лицу мухи ползают.

— Страино,— протянул Собакин.— Архнп никогда не дрался, исполиительиый всегда, тнхий... Хотя был страииый случай... Вот, помннте, в прошлом году я ехал от вас вечером, когда еще отец Иван ндюка изо-

бражал; не знаю почему, взяли мы не обычной дорогой, а напрямик по выгону, а там за межевым столбом — глубокая водомоина; я говорю Архипу: ночь темна, помни кручу налево. А он прикрикнул на лошадей. Тише, говорю, Архип, я знаю, сейчас круча, а он словно тройку не сдержит...

— Ужасно,— вздрогнула Чембулатова,— ну и что же?..

— Лошади сами круто повернули. Я кричу: «Что ты делаешь?» — а он обернулся и глухо так говорит: «Бог спас, барин, беду отвел».

— Вот-вот, я говорила, завтра же велю загородить это место...

— Я думаю все-таки, что это случайность; чем ему помешали я и мои лошади? Наконец он сам мог убиться.

— Такие, как Архип, безземельные, бессемейные мужики на всё способны, в них бес сидит. Служит он у вас, всё ничего,— только угрюм да молчит, а потом возьмет да вас и сожжет...

— Бабушка, смотри, проясняет! — крикнул Володя и, не успела бабушка ахнуть, распахнул балконную дверь, и сырой, пахнущий землею и листьями, осенний ветер ворвался, растрепал книгу, брызнул капелью, и солнце в прорыве между туч блеснуло на каплях, на стеклах, на желтой листве...

А дверь уже закрыли, и в столовой застучали посудой.

— Бог с ними, с Архипами,— сказала, проплывая в столовую, Александра Аполлоновна,— только расстроишься, а причина всему, конечно, что нет настоящей опеки над крестьянами. Мужик обращается в первобытное состояние...

Собакину вспомнился фельетон, месяц назад читанный в случайно залетевшей петербургской левой газете, но думать об этом не хотелось,— так было уютно и тепло.

К вечеру ветер стих, и низкое солнце залило багровым светом лиловые у земли тучи и, протянув бледные, словно прощальные, крылья в глубь желтой и мокрой степи, закатилось.

Но четко еще виднелись репьи на темных курганах, лужи на глянцевитой дороге лиловели, тускнели.

Почмокивая, вертелись колеса, ударяли в лицо свежей грязью, пачкали вожжи и руки.

Собакин, расстегнув кожан, потряхивался на сиденье и думал:

«Так вот они — степные дали, неезженые дороги, забытые курганы. Нет конца им, и селения такие же серые, забытые, и люди в них, как травы, молчаливые, живут бог знает зачем, из века в век одни и те же, как дикая рожь».

Ходит с дороги на дорогу, с кургана на курган, по пашням, по селам и поет унылые песни — тоска, сестра осеннему ветру...

Дребезжала железка на колесе, и топали, скользя под горку, копыта...

Одноколка скатилась, тряхнула на водомоине, и, поскользнувшись, лошадь упала на колени.

«Трудно некованой взобраться на гору»,— подумал Собакин и ударил вожжами...

А сзади затопали частые шаги, как будто молча кто-то догонял...

Собакин обернулся: плохо видный в полумраке лощины, бежал к нему мужик, размахивая левой рукой.

«Странно!» — подумал Собакин и, еще не понимая того, что было уже ясно, сильно ударил лошадь кнутом.

Человек настигал, по траве бежать ему было легче, не так скользко...

«Черт знает, гонка какая-то, что ему нужно?» —подумал Собакин и еще раз, привстав, хлестнул кнутом. Лошадь прыгала в хомуте, поскользнулась и, вздыбившись, вынесла одноколку на ровное место.

— Эх! — резко крикнул мужик и откинулся.

— Архип — ты?..

— Эх!—опять крикнул Архип, на бегу остановился, поднял руку и кинул блеснувший топор, и наклонился весь, ожидая... Топор тяжко ударил в переднюю доску козел, упал в ноги...

— Ты что это! — закричал Собакин и сдержал лошадь. Архип устало шел вслед...— Ты с ума сошел?..

— Теперь что хочешь со мной делай,— сказал Архип и смотрел на багровую полосу заката,— поседевший, весь обвеянный ветром.

— За что ты меня, Архип? Архип, я же не виноват...
— Сына моего убил.
— Какого сына?
— Осипа...
Темнела закатная полоса, суживаясь, закрыла багровое веко.
Собакин ехал шагом, Архип шел сбоку и немного сзади...
— Архип, я ничего никому не скажу, поклянись, что это более не повторится. Послушай, Архип, Осипа убили мужики, я бы никогда не допустил до этого.
Тогда Архип негромко засмеялся, словно конь дикий поржал, и белые зубы его впервые увидел Собакин.

4

Прошло более года. Опаляя землю, пронесло золотые свои ризы новое лето, пожали хлеб, и на гумнах запахло свежей соломой; каждый день до заката гудела молотилка; на заре опускался иней и взлетал, увидев солнце; только в темном саду да на лугу, где падала тень от дома, серебрил он мелкий гусиный щавель.
Утром к Собакину опять приходили мужики жаловаться на Архипа.
Все лето Архип передохнуть не давал: то скотину загонит, то вывалит из телеги траву, что мужик на барском поле под сиденье себе накосил, и кушак с мужика снимет или шапку,— приходи, мол, жаловаться, неси штрафные.
А испольного хлеба, пока деньги за него до полушки в контору не внесены, не даст свезти ни снопа. Такой уж Архип ретивый приказчик, откуда только злоба взялась.
Мужики бить его хотели, а он либо увертывался, либо на барина валил: не моя в том воля. Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и сам-трех, решили, каждый про себя, барина спалить.
Так уже стариками заведено.
К тому же на село пришла золотая грамота, читать ее не читали и не видели, пожалуй, но всякий знал, что

в ией прописаио: грамота старииная, давно по земле ходит.

А вслед за грамотой подкииули листки; их прочли и волиовались глухо, как подземиый ключ.

— Ну что, Архип, как мужики? — отдав иа завтра распоряжеиие и позевывая, спрашивал Собакии.

Архип повел плечом:

— Что же, ду́рачье...

— Утром опять приходили иа тебя жаловаться, иельзя так, Архип, ты портишь мои отиошеиия с иародом.

— С мужиком по-другому иельзя,— притесии, ои тебе что хочешь сделает, а с доброго слова сядет иа шею.

— Я слышал, палить собираются.

— Кто их зиает.

— Вот у Чембулатовой спалили же гумио.

— То озорство, барыия в город уехала, оии и озорничают.

— Ну, иди, Архип. Завтра позаботься, чтобы лошади с утра готовы были.

— А вы разве куда едете?

— В город.

Архип ушел, а Собакии лег и перед сиом раскрыл каталог садовых цветов и овощей; ио скоро цветы стали походить иа дам и все иа одиу и ту же, со вздериутым иосиком; кочаи капусты, отряхиваясь, иадел очки и стал старушкой Чембулатовой.

Собакии улыбался в полусие, думая, как ему хорошо, что ои, вот такой здоровый и молодой, скоро опять увидит лукавые глаза, вздериутый иосик, русые волосы...

Разбудил Собакииа громкий шепот:

— Барии, барии, вставайте.

Собакии вскииул иа пол голые иоги и, не поиимая, глядел иа стоящего перед иим со свечой возбуждеииого Архипа.

— Ты что?

— Мужики идут.

— Какие мужики, куда?

— Сюда, к вам. Как я побежал, оии уже на плотиие шумели...

Собакин прислушался и беспомощно взглянул на крепкого, угрюмого Архипа.

— Архип, что же делать?

— Двери, барин, я запер, а вы достаньте-ка ружья, попугать придется.

— А окна, ставней же нет.

Трясущимися пальцами, спеша, всовывал Собакин патроны в охотничьи ружья, сдернув их со стены над кроватью.

— Я бекасинником заряжаю, Архип, еще убьешь кого.

— Заряжайте картечью, не будет повадно...

— Господи, какой ужас!

В темноте стал явственнее гул голосов и крики, слышны были даже отдельные возгласы, и вдруг все стихло и стало тягостно ожидать...

— Что они?..— прошептал Собакин.

Со звоном разбилось стекло, и камень, упав на письменный стол, опрокинул вазу с ковылем, и в разбитое звено влетели крики:

— Бей окна, пусть выходит!

— Эй, барин, выходи, говорить хотим.

— Архипа нам давай...

Архип, ловкий и гибкий, отпрыгнул к стене и с глаз отбросил густые волосы, повелительно сказал:

— Свет, барин, туши.

Собакин дунул на свечу, и стало невыносимо страшно, и яростнее закричали мужики:

— Выходи!..

Несколько стекол со звоном вылетели, и Архип дико вскрикнул...

Прижимаясь к пахнущей пóтом его спине, шептал Собакин:

— Что же это будет?.. Боже мой!

— Не выйдешь, сами достанем! — кричали мужики, и несколько голов в шапках появилось в окне.

— Лезь, братцы, нечего глядеть...

Архип выстрелил... Сразу всё стихло... И часто и пронзительно застонали под окном.

Мужики отступили, совещались, заспорили всё громче...

— Неси, сена неси, соломы! — закричали голоса.

— Подпалим.

— Выкурим голубчика.
— Лови!.. Лови его!..— разгорелись крики.
Визг, топот, глухие удары.
— Работников наших бьют,— прошептал Архип.— Теперь нам не иначе, как в сад бежать, палить сейчас будут...
— Балконная дверь замазана наглухо.
Архип помолчал, потом приложился и выстрелил. Осветилась стена, поваленное кресло и Собакин без штанов, в ночной рубашке...
Архип, не целясь, выстрелил еще, и едкий дым наполнил комнату. Собакин тоже выстрелил, сильно отдало в плечо и щеку.
Вдруг под окнами осветилось красное пламя и бойко затрещало.
Стало яснеть, мужики с радостными криками отбежали, камень ударил Собакина в лицо... Пошла кровь, и Собакин стиснул зубы, застонал. Архип, пригнув его к полу, пополз в коридор. Сквозь распахнутые двери изо всех комнат лился алый свет...
— Вот что, барин,— сказал Архип,— давно я хотел тебя поблагодарить...— И, толкнув Собакина, он сел ему на грудь и засмеялся.
— Архип, что ты, Архип...— шептал Собакин, стараясь высвободиться, разорвал на Архипе рубашку, царапнул по телу, и Архип словно опьянел и весь налился злобой.
Надавив коленом горло, вынул он складной с костяной рукояткой нож, зубами открыл его и, глядя прямо в белые, обезумевшие глаза Собакина, занес и опустил.
Дом пылал. Молча стояли озаренные светом его мужики, серьезно глядели, как дикий огонь пожирал сухие стены, дымя, вылизывал из-под крыши. Носились розовые голуби...
Кто-то крикнул:
— Гляди-ка, у конюшни Архип...
Поспешно выводил Архип за повод Волшебника и, когда, крича, подбежали мужики, кинулся животом на конскую спину и погнал, прильнув к холке, залитый алым, в степь...
Только его и видели...

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

1

По низовому берегу Заволжья,— в тени сырых садов, с прудами, купальнями и широкими дворами, заросшими травой, с крытыми соломой службами,— издавна стояли помещичьи усадьбы дворян Ставропольского уезда.

Проезжему человеку, сидящему на подушке, вышитой по углам петушками, в тарантасе, запряженном парой облепленных слепнями почтовых лошаденок, не на что было смотреть сквозь сонные веки: жара, пыль, пыльная, чуть вьющаяся дорога по степи, жаворонки над хлебами, далеко — соломенные крыши да журавли колодцев... Лишь изредка из-за горки поднимались вершины ветел, и тарантас катил мимо плоского пруда с рябым от отпечатков копыт берегом, мимо канавы, поросшей акацией, мимо белеющих сквозь тополевую зелень колонн налымовского дома.

Хотя в этом случае знающий уездные порядки непременно сворачивал лошадей с дороги и ехал не через усадебный двор, а задами, особенно если у окна сидит в халате сам Мишука,— Михаил Михалыч Налымов,— с отвислыми усами, с воловьим, в три складки затылком, и поглядывает, насупясь, на проезжающий тарантас.

Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости,— лошадей отпрячь и — в табун, тарантас — в пруд, чтобы не рассохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак,— моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти окаянные!..» А налымовских собак лучше и во сне и не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать

ему метлу — замести за собою след через двор. Хочешь не хочешь — вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами.

Так знающий уездные порядки далеко огибал по степи налымовскую усадьбу. Редко заезжали в нее и гости, но уже по другой причине.

После полудня Мишука сидел, как обычно, у раскрытого окна. На другом конце зеленого двора, в каретнике, ворота были раскрыты, ходили конюхи. Вот они расступились, и из каретника, разом отпущенная, вылетела караковая тройка, запряженная в венскую коляску,— описала по двору полукруг и стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные сели на хвосты, коренник задрал голову, вошел копытами в рыхлую землю. Кучер, в черной безрукавке, с малиновыми рукавами, снял осыпанную мелом перчатку и, приставив большой палец к ноздре, высморкался. Подбежавший прямиком от каретника конюх взял коренника под уздцы.

Мишука, перегнувшись за окно, смотрел на лошадей,— хороша тройка — львы. Наглядевшись, он поднялся с кресла, пошел в соседнюю комнату и крикнул: «Ванюшка!» Вошел толстомордый мальчик, называвшийся еще по старине — казачком. Мишука присел на деревянную кровать и протянул казачку одну за другою толстые ноги, на которые Ванюшка натянул просторные панталоны, наместо халата Мишука надел парусиновую поддевку, взял в руки белый картуз с красным околышем, короткий арапник, выпятил полную грудь и, тяжело ступая по половицам дома, вышел на крыльцо.

Коренник, завидев Мишуку, обернулся и коротко, нежно заржал. Подошел приказчик — Петр Ильич, в долгополом зеленом сюртуке, и стал докладывать почтительно:

— Барышня Марья, да барышня Дуня, ваше превосходительство, да барышня Телипатра лошадей требовали утрася,— я не дал.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, погрозил туда арапником, расправил усы.

— Без моего разрешения никаких лошадей никому не давать, черти окаянные,— сказал он и шагнул к коляске.

— Слушаюсь... И еще садовник приходил в контору — жаловался, что барышня Фимка да барышня Бронька малину порвали, всю ободрали...

— Ах, черт,— сказал Мишука и побагровел,— вот я им задам...

Он подумал и ступил в коляску, которую сейчас же перекосило, грузно опустился на пружинное сиденье и двинул большой козырек фуражки на глаза. Кучер подобрал вожжи, обернул голову.

— В Репьевку,— сказал Мишука и, когда лошади тронули, крикнул: — Стой! Эй, Петр Ильич, позови их сюда. Живо!

Приказчик побежал в дом. Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья — неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня,— равнодушно глядела на небо, в дверях жались Фимка и Бронька, деревенские девчонки,— глядели на Мишуку, наморщив носы...

— Вы,— сказал Мишука, поводя рыжими усами,— смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня,— он хлестнул арапником по голенищу,— смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

— Очень нам нужно,— сказала Клеопатра, скривила рот.

Красавица Дуня лениво повела плечами.

— Привезите сладкого,— сказала она, глядя на небо.

Мишука насупился, засопел, хотел сказать что-то еще, но раздумал, только крикнул кучеру: «Пшел!» — и уехал.

Доро́гой, глядя по сторонам на ржаные до самого горизонта и пшеничные поля, Мишука вытирал время от времени багровое лицо платком и особенно ни о чем не думал. Навстречу проехал мелкопоместный дворянчик на дрожках. Мишука приложил два пальца к козырьку и строго, выпученными светлыми глазами, посмотрел на кланяющегося ему дворянчика.

Проехали овраг, где в колдобине едва не сели рессоры, окатило грязью, и пристяжные, взмылясь вынесли на горку,— дорога пошла покосами, продувал ветерок.

— Репьевские,— сказал кучер, показывая кнутовищем вперед, на межу, по которой катила запряженная парой длинная линейка. В ней над белыми рубахами сидящих покачивался красный зонт. Когда тройка поравнялась с линейкой, оттуда закричали: «Дядя Миша, к нам, к нам!» Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая, рослая, светловолосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте, светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал:

«Кто такая? Кому бы это быть? — и перебирал в медленной памяти всех родственников.— Не иначе, как это — Вера Ходанская,— она».

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, покуда за горкой не показался большой репьевский сад и вдалеке играющая, как чешуя под солнцем, Волга.

2

На террасе, обращенной к саду и к прудам и тенистой от зарослей сирени, сидели на креслицах брат и сестра — старшие Репьевы.

Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в круглых очках, поджав губы, вышивала шерстью дорожку для чайного стола, а Петр Леонтьевич, одетый, как всегда, в черную безрукавку, помалкивал, прищуря один глаз, другим же лукаво поглядывал на сестрицу и топал носком сапога, голенище которого из моржовой кожи любил он, бывало, подтянуть, говоря: «Ведь вот, двадцать лет ношу, и нет износа». На голове у него была надета бархатная скуфейка. Ветерок веял на седую его бороду, на белые рукава рубахи.

— Не понимаю,— сказала Ольга Леонтьевна,—чем это все кончится?

— А что, Оленька?

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

— Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

— О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю.— Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее.— Да, да, это вопрос — серьезный.

— Перестань стучать ногой,— сказала ему Ольга Леонтьевна.

Брат стукнул еще раза три и сощурил оба глаза.

— Сереже, по-моему, надо бы на время уехать,— сказал он и подтянул голенище.

— Ах, Петр, и без тебя давно это знаю... Но дело гораздо, гораздо сложнее, чем ты думаешь... Помяни мое слово...

— Вот как?

— Да нет же, нет, как тебе не стыдно, Петр... Но— гораздо, гораздо сложнее, чем это кажется...

Брат и сестра замолкли. Пели птицы в саду. Шелестели листья... Старичкам было тепло, покойно сидеть на балконе. Издалека доносился звон колокольчика.

— Чей бы это мог быть колокольчик? — спросил Петр Леонтьевич.

Ольга Леонтьевна сняла очки, вслушалась:

— Налымовский колокольчик. Неужели Мишука? Какой его ветер занес?

Мишука, взойдя со стороны сада на балкон, подошел к ручке Ольги Леонтьевны и поцеловался с Петром Леонтьевичем, подумав при этом: «Целуется старый, а именье протряс,— либерал».

Мишука сел, снял фуражку, вытер платком лицо и череп. Петр Леонтьевич, улыбаясь, потрепал его по коленке. Ольга Леонтьевна, продолжая вышивать, сказала не совсем одобрительно:

— Давненько, Мишенька, не был.

— Занят,— земские выборы.

— Ну, что,— она мельком взглянула на брата,— мужичков, видно, опять прокатили?

— Да, мужиков мы прокатили,— Мишука хмуро отвернулся к саду,— не то теперь время, крамольные времена пошли...

— Давно я хочу тебя побранить,— после молчания заговорила опять Ольга Леонтьевна,— недостойно, Мишенька, дворянину выкидывать такие штуки, какие ты выкидываешь.

— Какие штуки?

— А вот, как недавно: зазвал в Симбирске какого-то купчика в гостиницу, напоил, обыграл и выбросил его из номера, да еще — головой его сквозь дверь, и дверь сломал.

— А! Это когда я этого, как его,— Ваську Севрюгина...

— Ах, батюшки, что же из того, что Ваську Севрюгина... а того три дня в чувство приводили... Гадко, Мишенька, недостойно...

— Севрюгин под утро в уборную пошел,— сказал Мишука,— в коридоре увидел лакея без фрака,— тот окошко моет... «Как,— говорит он ему,— ты смеешь при мне без фрака!» И принялся его колотить. А лакей — Евдоким — у моего еще отца в казачках был, всех нас помнит,— почтенный. Севрюгин вернулся из уборной в мой номер и рассказывает, как он бил Евдокима... «Понимаете, говорит, я суконный фабрикант». А я ему говорю: «Ты — хам, тебя на ситцевого переворочу...» Он обиделся, я его толкнул и — угодил в дверь... Только и всего.

Мишука после столь длинной речи долго вытирался платком, а Ольга Леонтьевна, опустив вязанье, не выдержала — засмеялась, покрылась морщинками, вся тряслась — по-старушечьи.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней — Сергей, прыгавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбавшийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

— Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

— Да, да, вспоминаю, кажется,— Мишука поднялся с трудом,— ну, как же,— Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно теперь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минуту, она приподняла платье и присела важно:

— Поздравьте,— завтра мне девятнадцать лет...

Петр Леонтьевич, глядевший с радостной улыбкой

на Веру, засмеялся, толкнул локтем сестру. Никита приложил ладонь к уху:

— А? Что она сказала?

— Сказала, что завтра я старая дева. По этому случаю у нас — гости, будем кататься на лодках...

— Да, да, конечно, будем кататься на лодках,— подтвердил Никнта и закивал головой.

Вера села на балюстраду, обняла белую колонку, прнслоннлась к ней виском, Сергей, черный, горбоносый, с веселыми и недобрыми глазами, стоял рядом с Верой, заложив руку за ременный поясок. Ннкнта то подходнл на шаг, то отходнл и, наконец, уронил пенсне. Мишука, глядя на молодых людей, начал хохотать. Ольга Леонтьевна, быстро поднявшись с креслица, сказала:

— Вот что — ндемте-ка пнть чай.

Ннкита замедлнлся на балконе. Стоя у колонки, протнрал он пенсне н все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным,— н весь он был немного нелепый — в чесучовом пнджачке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась н стала рядом.

— Никита, мне грустно,— не знаешь, почему?

— Что ты сказала?

— Я говорю—грустно.— Она взяла его за верхнюю пуговнцу жилета.

Он вдруг покраснел н улыбнулся жалобно.

— Нет, Верочка, не знаю, почему...

— Ты что покраснел?

— Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лнцо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

— Ну, показалось,— проговорнла она нараспев.

Мннуту спустя Ннкнта спросил:

— Верочка, ты очень любншь Сергея?

— Конечно. Я и тебя люблю.

Никнта слабо пожал ее руку, но губы его дрожалн, он не смел взглянуть на Веру. В дверях появился Сергей, жуя ватрушку.

— А, сентнментальное объясненне! — Он хохотнул.— Приказано вас звать к столу...

3

Вдоль камышей, под ветлами, плыли лодки. В передней сидели Вера, Сергей и Мишука, который греб, глубоко запуская весла, тяжелые от путавшихся водорослей. Поглядывая из-под мокрых бровей на Веру, Мишука сопел и думал, что вот — гребет, унижается из-за девчонки.

— Жарко,— сказал он, вытирая усы.

— Дядя Миша, пустите меня на весла,— Вера поднялась, лодка качнулась, с задней лодки закричали: «Вера, Вера, упадешь!»

В камышах тревожно закрякала утка.

— Нет, я начал грести, я и буду грести,— сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок. «Ах, черт, девчонка какая,— думал он,— ах ты, черт. Приемыш, отца-матери нет, норовит замуж выскочить... Ах, черт!..»

Сергей сидел, поджав ногу, наклонив горбоносое лицо к плечу,— играл на мандолине. Черные его, хитрые глаза весело блестели, щурились на воду и, словно нарочно, избегали взглянуть на Веру. Солнце уходило на покой, но было жарко. Летел пух от деревьев, садился на зеркальную воду. Над головой Мишуки некоторое время трещали два сцепленных коромысла. Далеко в беседке, отраженной шестью колонками в воде, сидел Никита...

— Ника,— звонко по пруду закричала Вера,— чай готов?—но сейчас же под взглядом Мишуки покраснела, как и вчера, слегка сдвинула брови.

Сергей сказал, перебирая мандолину:

— У тебя голос очень красивый, Вера, право, право,— очень красивый голос...

Вера еще гуще покраснела, закусила губу. Мишука ухмылялся.

Лодку их перегнала другая, где на руле сидела тетка Осоргина, та, которая не могла ездить на рессорах,— ломались. Она была одета в лиловое просторное платье, в наколке и в перчатках и строго из-под густых бровей глядела на Нуну, Шушу и Бебе — трех своих дочерей, сидевших на веслах.

Нуну, маленькая и полная, украдкой всплакнула, не в силах вытащить из водорослей тяжелые весла. Шушу была зла от природы,— худа, с длинным крас-

ным носом. Бебе — младшая, с распущенными волосами, хотя ей уже было за двадцать,— гребла иеумело и капризно, зная, что она милеиькая,— в семье ее считалн красавицей н звалн «капрнзуля».

Проплывая мимо, тетка Осоргнна сказала грудным басом:

— Что же, новорождеииая, пора иам пить и есть.

Лодки подъехали к беседке, где, подперев щеку, сидел Ннкнта у иакрытого сиежной скатертью и снним фарфором чайного стола.

С писком и вскриками, подбирая платья, вылезлн барышии Осоргииы, степеиио вышла тетка, выскочили Вера и Сергей, треща ступеиями, грузио поднялся в беседку Мишука.

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, рукн, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистымн, как разливаемый ею чай. Тетка Осоргина, посадив дочерей по возрасту сбоку себя, приказала басом:

— По две чашки с молоком, кусок хлеба и масло.

— Прелестиый пруд, такая поэзия,— сказала Бебе и откинула косу с плеча на спину.

Шушу сказала:

— Наш пруд лучше здешиего пруда, только что лодкн нет. И сад лучше.

Нуну молча, с грустиыми глазами, уписывала хлеб с маслом, покуда мать не сказала ей:

— Воздержись.

Никита сидел в стороие, молча поправляя пеисие, улыбался в чашку. Сергей опять взялся за мандолииу. Вера, подавая ему блюдце с малиной, шепнула:

— Ты обндел меия иа лодке, проси прощеиия.

— Губы так близко — сейчас поцелую,— так же быстро, шепотом ответнл Сергей, не глядя.

Мишука вдруг всполошился:

— Илн шептаться, или ие шептаться... Тогда уже все давайте шептаться...

Барышии Осоргииы захихикали. Вера залилась румянцем, блесиула влажнымн глазами.

Из-за потемневших лип подиялся красный шиур ракеты н рассыпался звездами. Бух,— ахнуло в высоте, завозились на ветлах в гнездах грачи.

— Прекрасная нллюмннация, пойдемте ее посмот-

рнм хорошенько,— сказала тетка Осоргина и первая сошла по хлопающим мосткам на берег.

Беседка опустела. Круглая ее крыша и шесть облупленных колонок неясно теперь отражались в темном с оранжевыми отблесками пруду. Там, в воде, она казалась лучше и прекраснее,— совсем такая, какою ее задумал построить прадед Репьев в память рано умершей супруги. Галицкие плотники срубили ее из любимых покойницей деревьев, поштукатурили и расписали греческим узором. Посредине ее был поставлен купидон из гипса,— в одной руке опущенный факел, другою закрыты плачущие глаза. Над входом сделана надпись, теперь уже стершаяся:

Подруга милая, увы,—
Все в жизни нашей быстротечно...
Я ухожу туда, где вы
Живете мирно и беспечно...

Прадед Репьев каждый вечер сиживал в этой беседке один, думал, вспоминал и шептал имя ушедшей подруги. Осенью, когда пруд был покрыт падающими листьями, камыши застилало туманом и в тусклую полосу заката улетали утки,— прадед Репьев исчез. Его нашли баграми на дне пруда, среди водорослей.

В аллее, в сырой листве лип, догорали разноцветные фонарики. Сквозь ветви была видна низкая над садом, желтоватая луна. Кучкой между стволами стояли деревенские девушки. Только что они отпели, по просьбе Ольги Леонтьевны, старинную песню и грызли подсолнухи, отмахиваясь локтями от парней.

Сидя на земле, играл на скрипке скрипач-татарин печальную степную, дикую песню, покачивал бритой головой в тюбетейке. На стульях, слушая, как играет татарин, сидели Ольга Леонтьевна, Петр Леонтьевич, Осоргина и Шушу. Остальные ушли костюмироваться. Ко всеобщему удивлению, с ними увязался и Мишука.

— Ох, не нравится мне сегодня Мишука,— шептала Ольга Леонтьевна брату.

В кустах посыпались искры, зашипела ракета, провела в ночном небе шнур и лопнула высоко... Девушки, татарин, переставший пиликать, гости — все следили за ней, подняв головы. Когда ракета ухнула, Ольга Леонтьевна сказала со вздохом:

— Как это было красиво.

Накоиец появились ряженые: Вера в турецкой шали, в старииной чепце — турчанка, Бебе — рыбачкой — в сетке на волосах, с веслом в руке, Нуну — в длниной черной вуалн — «ночь», Никнта, всё время поправлявшнй пенсне,— оделся кучером. Мншука был в накиутой на голову простыие...

— Ну, уж это я ие знаю, что это за маска,— сказала, указывая иа иего, Ольга Леоитьевиа.

Тетка Осоргииа вынула нз сумкн лориет, посмотрела и сказала:

— Маска — привидение...

Татарни заиграл полечку. Вера закружилась с Никнтой, Нуиу с Бебе, Мишука потаптывал иогамн одии, как гусь. В ветвях загорелся фоиарик и упал.

Вдруг нз кустов иа деревеиских девушек выскочил черт, в овчине, весь измазаииый сажей. Подпрыгиул, имеиио как черт, схватил отчаяиио завизжавшую красавицу Васёнку и стал вертеть ее, приплясывая...

Вера оставила Никиту и, часто обмахиваясь веером, прнстальио, с улыбкой, глядела иа прыгавшего чертом Сергея, иа Васёику. Мишука придвииулся к Вере, загудел иа ухо:

— По-моему, это слншком: ннчего смешиого и иепристойио...

Вера, не слушая его, подошла к запыхавшейся, поправлявшей сбитую полушалку Васёнке, взяла ее за лицо, заглянула в глаза и поцеловала их, поцеловала в щеку:

— Какая ты красавица, Васёна.

Васёика вырвалась, со смехом убежала, схороиилась за девушек.

Осоргииа неодобрительио закачала головой. Барышии Осоргнны зашушукали, как осиное гиездо. Ольга Леонтьевиа поднялась и предложила гостям ндти в дом — ужинать.

Вера вдруг сказала Мишуке:

— Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажиой серебрнстознзой от луиного света поляне, дошла до скамейки и села:

— Душио под лнпамн...

— Душио, да,— сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

— Ах, дядя Миша...

— Что?

— Нет, я говорю только — ах...

Мишука сдержанно засопел:

— Вера?

— Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

— Какое твое отношение ко мне?

— Люблю, дядя Миша...

Тогда Мишука молча, медведем схватил Веру, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами ей в шею, под ухо....

— Поедем ко мне. Ну их всех к черту! Обвенчаемся. Слушай, едем.

Молча, глядя ему в лицо, Вера боролась, царапалась, ломая ногти, вырвалась, накинув шаль и чепец, побежала по траве до середины луга. Мишука побежал за ней. Она, сжав руками грудь, крикнула:

— Вы с ума сошли!

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

— Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шепотом, заикаясь:

— Я видел, Вера...

Ее рука сразу стала тяжелой. Вера обернулась, потом подняла к нему лицо. Он увидел,— в лунном свете,— по щекам ее текли слезы.

4

Сад опустел, только несколько девушек осталось в липовой аллее: сели тесно друг к дружке на траву, шушукались, сдержанно посмеивались. Три китайских фонарика горели еще между ветвей. Один вспыхнул и упал, задевая за ветви. Луна стояла высоко. Сергей, положив измазанную сажей голову на колени красавице Васёнке, рассказывал страшные истории. Девки толкали друг друга, охали со страху, хихикали...

— Вот, значит, сидит ночью дед Репьев в беседке,— вполголоса говорил Сергей,— рука Васёнки лежала у него на голове, то поглаживая волосы, то перебирая их,— ну, хорошо,— сидит он, сидит, вдруг видит — кто-то идет к нему по воде...

— Ох!

— Васён, это ты толкнула?..

— Кто это трогает?..

— Тише, девки!

— Идет она, идет к нему по воде,— деда взял страх. Прижался он в беседке, в углу, не шевелится... А ночь была лунная, как сейчас... Это — белое — идет, идет по воде. Остановилось у беседки. И дедушка видит, что это покойная бабушка к нему пришла...

— Ой, боюсь!..

— Да кто это меня трогает, в самом деле?

— Будет вам, девки...

— Ну, хорошо. Надо бы ему тогда не глядеть, зажмуриться. А он — взгляни. Бабушка засмеялась и указала ему пальцем на глаза. Дед встал со скамейки и пошел... Сошел с лесенки в воду. А бабушка смеется, манит его, летит по воде... Дед уже по пояс зашел — она манит. Деду вода уже по горло — идет... А впереди — омут. Дед — поплыл, хочет ее схватить. А бабушка наклонилась к нему и ушла с ним под воду, в бучило, где сомы с усищами...

Девушки полегли друг на дружку...

— Сергей! — крикнул вдруг в кустах чей-то голос. Девушки тихо застонали от страха. Сергей поднял голову:

— Что тебе, Никита?

— Пожалуйста,— мне тебя нужно.

— Я после приду.

— Понимаешь, случилась неприятная история.

— Опять история.

Сергей с неохотой поднялся, перепрыгнул через ноги девушек и пошел за Никитой к пруду.

— Ай да Налымов,— засмеявшись, сказал Сергей, узнав обо всем.— Ай да Мишука. Надо его проучить. Где он сейчас?

— Кажется, сидит в беседке. Он ходил к Верочкину окну и кричал ей, чтобы вышла — разговаривать. Он уверен, что она придет.

Никита слегка задыхался, поспевая за широко шагающим по мокрой траве Сергеем. Заблестели лунные отблески черного пруда. В беседке белела поддевка Налымова.

Мишука, сидя в беседке, думал, что стариков Репьевых ни капли не боится, но все же ему было скверновато на душе.

«Завелись около два кобеля,— думал он,— хвостом завертела... Царапаться... Я сам царапну... Приемыш, моли бога,— жениться посулил... А Сережку с Никитой вот этим угощу...»

Мишука мрачно осмотрел волосатый кулак. В это время послышались голоса, раздвинулись кусты, на поляне перед беседкой забелел пиджачок Никиты, рядом с ним, шибко, дерзко, шагал вымазанный, как черт, Сергей...

Мишука в уме быстро сосчитал до десяти, загадав, что если Сергей в это время не успеет дойти до мостков, то — хорошо. Сергей дошел. Мишука засопел. Сергей, встав перед ним, спросил нахально:

— Я бы хотел знать — что это все значит?

— То есть как это — что значит?

— Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

Никита сочувственно закивал: так, так...

— Убирайся, послушай, к чертям,— сказал Мишука.

— С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

— Что? — Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя,— начал расправлять локти, но соображение у него работало туго.

— Ну, ну,— только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу — доска треснула.

Взяв дуэльный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была пуста. Сергей крикнул:

— Налымов, Мишка, Мишка!

В ответ лишь завозилась грачиха в гнезде в темных ветлах.

— Вот тебе раз,— сказал Сергей,— удрал. Ну, погоди!

Он зарядил пистолеты и выстрелил два раза в воздух... Круглое эхо покатилось по пруду. Закричали грачи спросонок. Братья, смеясь, пошли к дому. В узком месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

— Простите меня, Никита, Сережа,— проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

— Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать,— проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел, посвистывая.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

Никита сказал:

— Он, кажется, умываться пошел,— весь ведь в саже.

Вера глядела на месяц,— глаза ее были печальные, такие чудесные,— будь Никита не так робок, попросил бы позволения умереть сию минуту — такие любимые были глаза.

— Верочка, ты не думай,— Сережа тебя очень, очень любит,— проговорил он, запинаясь.

— Ну, хорошо... Пойдем домой, Никита, милый.

Мишука, ломая кусты, вылез из гущи сада и шел теперь по огородам и цветникам, перелезая через канавы и чертыхаясь.

Когда громыхнули вдали два выстрела, он сразу присел, бормоча:

— Афронт, афронт,— ух, пронеси, пресвятая богородица.

Но выстрелы не повторялись, погони не было слышно, и Мишука осмелел — опять начал ругаться, ломал по пути ветки молодых яблонь. Наконец, выбравшись из чертовых канав, зашагал по травянистой поляне вдоль пруда. Здесь у воды паслась, позвякивая железными путами, сивая лошадь.

— Ага, ты вот чья, сволочь вонючая,— сказал Мишука, выставляя челюсть. Подскочил к лошади, закрутил ей хвост и со всей силой пихнул ее с берега в воду.

Лошадь, фыркая и щеря зубы, поплыла к тростнику. У Мишуки немного отлегло сердце, мысли прояснились, и вдруг, потерев нос, он сказал:

— Отниму лес. Довольно я вам спускал. Выдумали,— межа через Червивую балку, врешь — межа через Ореховый лог. Вот вам и репьевский лес — кукиш.

5

— Три раза в прошлый год в Москву ездили: есть у нас там такая Софья Ивановна,— говорил налымовский кучер, лежа в траве около конюшни и грызя соломинку.— Барышень нам поставляет. Намеднись всучила Селипатру — худущую девку,— зла, как дьявол, но барину угодила. Привезли ее на усадьбу, сию же минуту устроила скандал: весь бутор, платьишки, сундучишки других-то барышень из окошка как начала кидать... Барышни — ах, ах! — бегают по двору в одних рубашонках. Мы с барином животы надорвали.

— Татарин, прости господи, твой барин,— проговорила, сидя на траве около садовника, умильная скотница.

— Это он с жиру,— сказал садовник,— с жиру завсегда человек бесится по бабьей части. Я знал одного человека — с шестью бабами жил, и хороший был человек.

Скотница вздохнула, поправила платок на голове. На конюшне топали лошади, хрустели сеном.

Налымовский кучер рассказывал:

— На прошлые именины гостей у нас два дня поили, которых поплоше — носили на ледник опамятоваться. Что же барин наш выдумал: повел гостей к барышням. Гости, конечно, рассолодели, а барин шепчет мне: «Поди принеси с пасеки колоду с пчелами». Принесли колоду, просунули ее в окно. Пчелы, известно, греха не любят и принялись гостей в голые места чкалить, а гости все до одного голые. Вот мы с барином животы и надорвали.

Скотница плюнула.

Садовник сказал:

— Да. Нашн господа — это господа: аккуратные, правнльные, не безобразинчают.

— Мелкопоместные.

— Ну что ж нз того! А ты бы лучше молчал, чем барнна своего срамнть,— холоп.

Налымовскнй кучер собрался ответить садовиику, но в это время к сидящим подошел Мишука.

— Запрягать! — крикиул ои н уставился выпучеиными глазамн на садовиика н умнльиую скотннцу.— Чего расселись, не видите, кто перед вами стоит?..

Скотннца подиялась. Садовиик, сидя, свертывал папироску, закурил, осветнл сернячком чериую бороду.

— Я что тебе сказал, встать! — крикнул Мнщука.

— Полегче, барии. Не иа своем дворе.

Мишука фыркнул носом н повериулся к скотнице:

— Баба, ты кто такова?

— Мы скотиицы, барии.

— Вот тебе, дура, три рубля. Отрежь у коров снськи. Я завтра тебе еще трн рубля подарю. Поияла?

— Что вы, батюшка, у коров сиськи резать!

— Я говорю — режь. Вот тебе еще полтииник.

— Нате ваши деньгн... Грех, прости господн.

Лошадей подали. Мнщука влез в коляску, плюнул на репьевскую землю и уехал — залился малиновым налымовскнм колокольцем.

В репьевском дому все уже легли спать, только у Петра Леонтьевнча еще теплился свет в окошке.

Каждый вечер, перед тем как помолнться на сон грядущий, Петр Леонтьевич заходнл к сестре. Ольга Леонтьевна в это время либо сидела за приходо-расходнымн книгами, лнбо читала лнсток отрывиого календаря, придумывая: что бы такое заказать назавтра вкусиое?

Поцеловав руку сестре н дав ей свою руку для поцелуя, Петр Леонтьевнч говорил нензменно:

— Не забудь, душа моя, помолиться.

Так было н сегодня. Петр Леоитьевич сказал Ольге Леонтьевие, поцеловав ей руку: «Не забудь, душа

моя, помолиться» — и не спеша пошел в свою комнату, осторожно притворил дверь и вдруг увидел на белой печке таракана.

Петр Леонтьевич снял сапоги, осторожно и покряхтывая влез на лежанку и стал читать заговор. Таракан пошевелил, пошевелил усами и упал. Петр Леонтьевич сказал:

— Та́к-то.

И полез с лежанки. В это время вдалеке раздались два выстрела. Петр Леонтьевич открыл окно и стал слушать.

Долго после выстрелов была тишина в саду, затем приблизились голоса — мужской и женский.

— Милый, голубчик, что мне делать? Я не могу.

— Конечно, конечно, Верочка, ты права, ты совершенно права...

— Не сердись на меня, Никита...

— Я повторяю — ты совершенно права, иначе ты и не могла мне ответить.

— Покойной ночи, Никита.

— Спи спокойно, Верочка.

Хлопнула балконная дверь. Петр Леонтьевич некоторое время подмигивал в темное окошко. Затем за стеной послышались шаги, скрипнула кровать. Это вошла Вера и начала плакать, сначала неслышно, потом все громче. Сморкалась. Петр Леонтьевич накинул безрукавку и постучался в дверь к Верочке.

— Ну вот, ты и плачешь,— сказал он, садясь против нее и топая ногой.

— Дядя, уйдите.

— Уйти-то я уйду, а ты все-таки расскажи, отчего ты плачешь,— голова, что ли, болит?

— Да, болит.

— Кто стрелял-то?

— Сережа.

— В кого?

— В грачей.

— Ну-ну, Верочка,— Петр Леонтьевич положил ей руку на голову,— дитя милое?

— Что, дядя? — Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

— Сережу очень любишь?

— Да.

— Это я всё устрою,— сказал Петр Леонтьевич задумчиво.— Ты, знаешь что? — ты ложись-ка спать, а я пойду к себе, да и подумаю. А утром пойдем с тобой гулять в рощу. Сядем на травку, ты поплачешь немножко, мы поговорим, и все устроится.

Петр Леонтьевич поцеловал Веру и, вернувшись к себе, стал перед киотом, где горели лампады и восковые свечи, и долго не мог собраться с мыслями — начать молиться: все улыбался в бороду.

6

Приехав с подвязанным колокольчиком на восходе солнца к себе на усадьбу, Мишука оставил лошадей у конюшни и пошел по черной лестнице в мезонин к барышням, предполагая, что врасплох накроет девиц за блудом.

«Ну, уж накрою, ну, уж я накрою»,— думал он, распаляя сам себя. Ступени скрипели. Он ударил ногой в дверь и вошел в девичью, дико озираясь.

В душной девичьей, сумеречной от розовых штор, было тихо и сонно. Фимка и Бронька подняли взлохмаченные головы с подушки,— спали они в одной постели,— увидели грозного барина и спрятались под одеяло.

— Вставать! — крикнул Мишука.

Марья, зачмокав спросонок, потянулась так, что вся выворотилась, зевая оглянулась на барина и прихлопнула рот ладонью. Дуня повернулась голым боком. Клеопатра неподвижно лежала на спине, прикрыв остро торчащим локтем глаза.

— Водки,— сказал Мишука появившемуся в дверях непроспанному Ванюшке,— закуски. Живо!..— И подойдя к Клеопатре, потянул ее за локоть:— Продери глаза, грачиха.

Девушкам он приказал, не одеваясь, оставаться в рубашках. Снял кафтан, сел на диванчик за стол и довольно свирепо поглядывал, посапывал, покуда Ванюшка не принес на большом серебряном подносе разнообразную закуску, графин с водкой и прадедовскую круглую чарку.

Тогда Мишука, расставив локти, принялся за еду. Наливал чарку, сыпал в нее перец, страшно сморщив-

шись, медленно выпивал,— дул из себя дух, затем прицеливался вилкой к грибку поядренее.

Марья, раскрыв глаза, следила за тем, как во рту Мишуки исчезают куски балыка, ветчины, целые огурцы, пирожки, помазанные икрой. Фимка и Бронька переминались у печки и тоже пускали слюни. Клеопатра, положив ногу на ногу, спустив с плеча рубашку, шибко и сердито курила. Дуня прибирала большие волосы. Вдруг Мишука поперхнулся, фыркнул и принялся хохотать, тряся животом стол.

Дуня сейчас же подбежала к нему, села на колени, ластилась:

— Что это мне спать хотелось, а увидела тебя — весь сон прошел. Чему смеешься-то?

— Подлиза,— проговорила Клеопатра, пустив дым через нос.

Мишука, захлебываясь, сказал:

— Как я мерина-то, мерина — в воду... А мерин-то — их любимый: старый, на покое, а я его—в воду...

Фимка и Бронька засмеялись, сделав куриные рты, и вытерлись. Мишука встал из-за стола, потянулся, всё еще улыбаясь. Дуня заглянула ему в глаза:

— На мою постельку ляжете?

Мишука, не отвечая, подошел к Фимке и Броньке, взял их за загривки и стукнул друг о дружку. Девчонки визгнули, присели. А он подошел к Марье и хватил ее ладонью по жирной спине. Марья ахнула:

— Ах, батюшки!

— Ничего,— сказал Мишука,— для этого тебя и держу, корова.

Затем начались возня и всевозможные игры. Мишука барахтался, хохоча под навалившимися на него кучей девушками, стаскивая их за ноги, за головы, катался, ухал. Половицы ходили ходуном, и внизу, в полутемном, всегда запертом зале с портретами дам и кавалеров в напудренных париках, с золоченой мебелью, изъеденной мышами, печально звенела подвесками хрустальная люстра...

Навозившись и взмокнув, утешенный и веселый, Мишука ушел по внутренней лесенке вниз, в кабинет, и лег спать.

К вечеру надвинулась большая гроза, было душно,— погромыхивало. Пошел дождь — мелкий, отвес-

ный, теплый, слабо шумел в сумерках в листве. Изредка озарялись окна далеким синеватым светом.

Мишука сидел на диване, подложив руку под острую морду борзой суки, любимицы,— Снежки, и слушал сонный, однообразный в сумерках, шум дождя за открытым окном.

Снежка взглядывала выпуклыми глазами на хозяина и снова опускала сонные веки. При раскатах грома она оборачивалась к окну и рычала. Мишука поглаживал ее голову и думал о происшествиях вчерашнего дня.

Только теперь, в эти дождливые сумерки, додумался он до того, что вчера произошел с ним жестокий афронт, что над ним насмеялись, потом его отвергли, потом его побили, потом напугали,— грозили застрелить.

Мишука даже зарычал, все это ясно себе представив:

— Не уважать меня, Налымова... Меня бить по щеке... Меня, Михала Михалыча Налымова,— оскорбить... Захочу — губернию переверну... А меня — они... Меня — эти...

Он спихнул собаку с коленей. Снежка слабо взвизгнула, полезла под диван и там стала вылизываться, щелкать зубами блох. Мишука сидел, раздвинув ноги, глядя перед собою на неясные пятна портретов. Необходимо было что-то сделать: гнев подпирал под самую душу. Мишука стал было думать, как изорвет платье на Вере, как измочалит нагайкой Сережку,— но эти представления не облегчили его...

Он тяжело поднялся с дивана и зашагал по кабинету. «Ага, пренебрегаете, ну, хорошо...— Он взял пресс-папье и расшиб его о паркет.— Ну и пренебрегайте». Гулкий стук прокатился по пустынному дому. Мишука стоял и слушал,— все было тихо. Он взял со стола переплетенную за пять лет сельскохозяйственную газету,— волюм пуда в два весом,— и тоже швырнул его на пол. Опять прокатился стук по дому, и — снова тихо,— никто не отозвался.

«Мерзавцы, никому дела нет до барина... Только бы воровать. Только деньги с барина тащить»,— подумал Мишука и вдруг с омерзением вспомнил давешнюю возню в мезонине.

— Твари,— уже совсем зарычал он,— я вам покажу, как на меня верхом садиться!.. Ванюшка!

Мишука пошел по темной комнате к лакейской и закричал:

— Ванюшка, беги на конюшню, скажи — барин приказал запрячь две телеги, живо... Да позови мне приказчика... Живо, сукин сын!..

Дождь хлестал в нарочно настежь раскрытые окна мезонина, где девушки, растрепанные и растерзанные, всхлипывая, завязывали в узлы платьишки, бельишко, разные грошовые подарки. Дуня уже сидела внизу, на телеге под попоной, со зла — молчала. Промокшие рабочие ходили с фонарями, посмеивались. Дождь шибко шумел в тополях, наплюхал большие лужи. Сбежала с крыльца Марья, вспухшая от слез,— поскользнулась, и узел ее шлепнулся в лужу,— заржали рабочие, Марья завыла и полезла на телегу. В доме на мезонинной лестнице Мишука кричал, щелкая арапником по голенищу:

— Вон, грязные девки, вон!

Кубарем, с вытаращенными глазами, скатились вниз Фимка и Бронька,— Мишука для смеха подстегнул их по задам.

— Батюшки! Убивают! — заорали Фимка и Бронька и заметались по лужам между телегами. Их посадили, прикрыли рогожей. Мишука кричал:

— Коленкой ее, коленкой поддавай ворону!

Приказчик и Ванюшка вывели, наконец, Клеопатру. Она отбивалась, кусала руки, выворачивалась, дикая, как ведьма.

— Врешь,— хрипло сказала она Мишуке и ощерилась,— не прогонишь, не уйду, я тебе не собака...

Наконец Клеопатру усадили. Возы тронулись. Рабочие, громко смеясь, раскачивая над травой фонари, ушли к людской, пропали за отвесной завесой дождя. Мишука, удовлетворенный, наконец, за эти два дня, отомщенный за все обиды, ушел в дом.

Никто, даже конюх, сидевший на переднем возу, не видел, как на повороте сплошь залитой водою дороги Клеопатра соскочила с задней телеги и скрылась за кустами в саду.

7

Петр Леонтьевич вошел в комнату мальчиков, которая называлась так по старой памяти. Комната была, как и все комнаты в репьевском доме,— высокая, штукатуренная, со старой попорченной мышами и молью мебелью. На одной стене, над диваном, висели распластанные крылья уток, стрепетов, кобчиков, грачей, давным уже давно насквозь пропыленные. Когда сюда входили со свечой, то казалось, будто по стене ползают безголовые чудища. Трофеи эти принадлежали Сергею, не позволявшему к ним притрагиваться. Лет двенадцать тому назад, когда ему подарили первое ружье, он с утра до ночи бухал по саду, на пруду, в лугах и до того провонял падалью и сад и дом, что Ольга Леонтьевна решила не выходить из своей спальни.

С улыбкой, глядя на стену, покрытую вороньими крыльями, вспоминал Петр Леонтьевич прошлое время. Хорошее было время. Многие, многие милые люди были еще живы. Сережа и Никита, славные мальчики, подавали большие надежды. Жива была дорогая Машенька, всегда в белом, всегда приветливая, всегда озабоченная,— как бы получше накормить гостей, или поженить кого-нибудь из близких родных, или уладить какую-нибудь неприятность.

Каждый день в столовой или на балконе шумели гости, приезжал дядя, старый Налымов, большой шутник,— любил, бывало, на удивление всем, откушать ломоть дыни с нюхательным табаком. Приезжала с прогулки Ольга, красивая, веселая и загадочная, в бархатной амазонке. Снимая высокую перчатку, давала целовать руку... Многие, многие были в то время влюблены в Ольгу Леонтьевну... Ушло все, как туман, ушли хорошие дни...

Петр Леонтьевич в то же время пытался поправить свои сильно запутанные дела: построил суконную фабрику, но не застраховал, считая, что страховка — величайший из грехов. Человек должен быть открыт перед богом, как Иов, но не перестраховывать свое счастье. Фабрика сгорела. Петр Леонтьевич придумал построить раковый консервный завод. В реке Чермашне водилось непостижимое количество матерого рака,—

рвались бредни, и деревенские мальчишки, купаясь, бывали не раз ими щипаны за животы и другие места.

Раковый завод построили, даже заказали в Москве две майоликовые скульптуры, чтобы поставить у входа. Приготовлено было десять тысяч расписных горшочков, в которых предполагалось посылать прямо в столицы консервный биск. Но внезапно на раков в реке Чермашие напала чума, и рак полез подыхать на берега и весь вымер. Это было почти разорением.

Тогда Петр Леонтьевич стал придумывать что-нибудь более подходящее к современному веку пара и электричества и построил конный утюг для расчистки снежных дорог и заносов.

Издалека съехались помещики и мужики глядеть, как в облаках пара и дыма двинулся сквозь сугробы огромный железный утюг, растапливая снег раскаленными боками. Шесть пар лошадей протащили его более чем с версту. День был морозный. Петр Леонтьевич вылетел на беговых санках на расчищенную дорогу, но раскатился, упал и вывихнул ногу.

Утюг он приказал поставить в сарай и с тех пор не изобретал более уже ничего, так как имение его, Соломино — Трианон тож,— пошло с торгов, и пришлось с мальчиками навсегда перебраться к сестре в Репьевку,— доживать тихие дни.

Так, вспоминая, вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табаком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

— Ты ко мне, папа?

— Да, да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

— Сережа, скажи мне по чистой совести,— ты любить способен?

— Да, папа, способен.

— Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал — какой это удивительный человек. Ты прямо недостоин ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

— Ты хочешь меня спросить — люблю ли я Веру? — насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

— Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю,— у тебя что-то легкомысленное... Вера — удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь затаится,— ты понял?.. Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич оборачивался к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

— Прости, но на Верочке я жениться не могу.

— Не можешь, Сережа?

— Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но — не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я — нищий.

Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

— Я уезжаю в Африку,— сказал он.

— Так, так.

— В Трансвааль. Во-первых,— там меня еще не видели,— это раз. Во-вторых,— там есть алмазы и золото. А Вера...— он опять остановился, черные глаза его блестели,— пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

8

Вера перебирала клавиши рояля. Ольга Леонтьевна, опустив на колени вязанье, глядела на спустившиеся за окном сумерки. Никита сидел у стены, опершись локтями о колени, и тоже молчал. Утихали птицы в саду. Вера брала теперь одну только ноту — ми, все тише, тише, потом осторожно, без стука закрыла крышку рояля. Помолчав, она сказала:

— Поеду в Петербург, поступлю на курсы, обрежу волосы, стану носить английские кофты из бумазеи...

— Вера, перестань,— тихо сказала Ольга Леонтьевна.

— Ну, никуда не поеду, волосы не обрежу, не буду носить английские кофты.

Никита осторожно поднялся со стула, постоял, плохо различаемый в сумерках, и на цыпочках вышел. Вера прижала голову к холодному роялю.

— Ох,— шумно вздохнула Ольга Леонтьевна,— какие все глупые.

— Я тоже, тетя?

— Ну, уж об этом сама суди.

— Тетя Оля,—сказала Вера, не поднимая головы,— я очень дурная?

— Знаешь, я вот сейчас уйду к себе и запрусь от всех вас на ключ.

— Мне, тетя Оля, Никиту жалко... Он такой — печальный. Все бы, кажется, сделала, чтобы не был такой.

Ольга Леонтьевна насторожилась:

— Верочка, ты серьезно это говоришь?

Вера молчала; не было видно, какое у нее лицо. Ольга Леонтьевна тихо подошла, остановилась за ее спиной.

— Я сама знаю, как тяжело быть отвергнутой,— даже самой красивой женщине это всегда грозит: не оценят сокровища, и всё тут.— Ольга Леонтьевна помолчала.— Только иное сокровище должна ты охранять, Вера. Душа должна быть ясна. Всё минет — и любовь, и счастье, и обиды, а душа, верная чистоте, выйдет из всех испытаний... Теперь твои страдания очищают душу.— Ольга Леонтьевна даже подняла палец, голос ее окреп.— Посланы тебе твои страдания...

— Тетя Оля, не понимаю — о чем вы говорите,— какие страдания?

Ольга Леонтьевна помолчала. Осторожно взяла голову Веры, прижала к себе, поцеловала долгим поцелуем в волосы.

— Ты думаешь,— у нас, стариков, радостей было много? Ох, как тяжело в молодости вздыхалось.

Вера вытянулась, медленно сняла с плеча руку Ольги Леонтьевны:

— Хорошо, я останусь с вами. Навсегда. Замуж мне не хочется — я пошутила.

— Ах, не то говоришь.— Ольга Леонтьевна с отчаянием даже толкнула ее.— Не жертва мне от тебя нужна. Не в монастырь же я тебя уговариваю.

— Что же вам от меня нужно?

Ольга Леоитьевиа даже сделалась как будто ниже ростом. Вера опять опустнла голову. В доме — ии шороха. Зашелестн ветер листами за окиом — Вера, может быть, н ие сказала бы того, чего так добивалась тетка. Но в саду — та же иочиая тишииа. Всё затаилось. И Вера сказала едва слышно:

— Хорошо. Я выйду замуж за Никиту.

Ольга Леонтьевна молча всплесиула рукамн. Затем пошла на цыпочках. Но за дверью шаги ее застучали весело, бойко — так н полетелн.

Пришел Ннкнта. Стал у печкн. Вера, всё так же, не подннмая головы, сказала:

— Знаешь?

— Да, знаю, Вера.

— Ну вот, Никнта.

Она поднялась с рояльного стульчнка. Взяла голову Никнты в руки, губамн коснулась его лба.

— Покойной ночн.

— Покойной ночн, Верочка.

— Что-нибудь почнтать прннесн мне.

— Хочешь новый журнал?

— Все равно.

Никнта долго еще смотрел иа едва видиую в сумерках дверь, за которой скрылось, легко шурша, мнлое платье Веры. Потом сел иа рояльиый стульчик н молча затрясся.

С открытой киигой, но ие читая, Вера лежала на инзеньком днванчнке, обитом снтчиком. За бумажным экраном с чериыми человечками колебалась свеча. Бровн Веры былн сдвннуты, сухне глаза раскрыты. Оиа прнподннмалась иа локте, прнслушнваясь.

Уже несколько раз из кустов голос Сергея шепотом звал: «Вера, Вера». Оиа ие отвечала, ие оборачивалась, но чувствовала — он стоит у окиа.

Затем стремительио она поднялась. Сергей стоял с той стороиы окна, положнв локти на подокониик. Глядел блестящимн глазамн и усмехался.

— Что тебе иужио? — Вера затрясла головой.— Уйдн, уйди от меня.

Сергей легко вспрыгиул на подоконнпк, протянул руки. Вера глядела на его короткие сильные пальцы. Ои взял ее за локоть, обвил ее спииу. Вера присела

на подоконник. Закрыла глаза. Молчала. Только по лицу ее словно скользнул темный огонь.

— Люблю, милая,— сказал он сквозь зубы,— не гони. Не будь упрямая.

Вера коротко вздохнула, опустила голову на плечо Сергею. Он наклонился, но губы его скользнули по ее щеке.

— Не надо, Сережа, не надо.

Она слышала, как страшно бьется его сердце. Теперь она чувствовала эти удары — грудью, своим сердцем. Сергей охватил ее плечи. Стал целовать шею.

— Можно к тебе, Вера, можно?

— Нет.— Она откинула голову, взглянула ему в лицо, в красные глаза.— Не трогай меня, Сережа, я ослабею.

Он прильнул к ее рту. Она чувствовала — его пальцы расстегивают крючочки платья. Тогда она медленно, с трудом оторвалась от него. Он упал ей головой в колени, дышал жарко. А рука всё продолжала расстегивать крючочки.

— Сережа,— сказала она,— оставь меня. Сегодня я дала слово Никите. Я его невеста...

— Вера, Вера, это хорошо... это хорошо... Я же не могу на тебе жениться... Тем лучше... Выходи, выходи, все равно — ты моя...

— Сережа, что ты говоришь?

— Глупенькая, пойми,— ты его не любишь, и не он будет...

— Что? Что...

— Он ничего не узнает. Пойми — он будет счастлив от самой скупой твоей милости... Но я, Вера... с ума схожу... Так все делают...

Сергей спрыгнул в комнату, дунул на свечу и опять плотно взял Веру. Но вся она была как каменная. Он бормотал ей в ухо, искал ее губ, но ее локти упрямо и остро упирались ему в грудь. Вера освободилась и сказала, отходя:

— Поздно уже. Я хочу спать. Покойной ночи.

Сергей шепотом помянул черта и исчез в окошке. Вера, не зажигая свечи, легла опять на ситцевый диванчик — лицом в подушку, прикрыла голову другой подушечкой и так заплакала, как никогда не плакала в жизни.

9

В доме появилась портниха, с треском рвала коленкор, стучала машинкой, поджав сухой ротик, совещалась с Ольгой Леонтьевной.

Никита несколько раз ездил в Симбирск, в Опекуиский совет, в Дворяиский баик. Дом чистился. В каретнике обивали новым сукном коляску.

Вера жила эти дни тихо. Редко выходила из своей комнаты. Садилась с книгой у окиа и глядела, глядела на синюю воду пруда, на желтые, зелеиые полосы хлебов иа холмах. Слушала, как древней печалью поют птицы в саду.

Сергей пропадал на охоте, возвращался поздио с полным ягдташем, пахнул лесом, болотом, пухом птиц. На Веру поглядывал с недоброй усмешкой, миого, жадно ел за ужином.

Петр Леонтьевич совсем притих, поиюхивал табачок.

Одиажды Сергей забрел с ружьем и собакой в иалымовский лес, в топкую глушь. Пойнтер бодро колотил хвостом папоротники, шарил, время от времени поворачивая к хозяиину умную, возбуждеиную морду. Сергей шел, задираясь ногами за валежиик, проваливаясь в мочажники,— перед глазами мотался собачий хвост. Сергей неотступио, угрюмо думал о Вере.

Сколько десятков верст исколесил ои за эти дии, только чтобы утолить, погасить в себе свирепое желание! Все было напрасно.

«Фррр»... Вылетел тетерев. Сергей, не глядя, выстрелил. Сорвалось несколько листьев. Собака уиеслась вперед скачками, высматривая — взмахивала ушами из папоротника.

Почти сейчас же, неподалеку, гулко затрубил рог. Затрещали сучья. Зычиый голос заревел в чаще:

— Кто стреляет в моем лесу, тудыть в вашу душу! Кто смеет шататься по моему лесу!

Сергей быстро оглянулся. На поляие стоял вековой дуб, упомииавшийся во всех налымовских и репьевских хрониках,— дуплистый, ветвистый, корявый, подобный геральдическому дереву.

В ту же минуту с другой стороны поляны, валя кусты, выскочил на рыжей кобыле Мишука. Размахивая над головой медным рогом, орал:

— Ату его, сукины дети, ату!

Две пары налымовских зверей — краснопегих гончих — неслись прямиком на лягаша. Сергей подхватил заскулившую у ног его собаку, посадил в дупло, подпрыгнул, подтянулся к ветви и живо влез на вершину дуба...

— Ату его, сукины дети! Улюлю! — наливаясь кровью, вопил Мишука. Подскакал к дубу, закрутился, поднимаясь на стременах, хлестал арапником по листьям:

— Слезь, сию минуту слезь с моего дуба.

— Дядя Миша, не волнуйтесь,— хихикнул Сергей, забираясь выше,— желудок расстроите, вам вредно волноваться.— И он бросил желудем,— угодил в живот.

Мишука заревел:

— Убью! Запорю! Слезь, тебе говорю!..

— Все равно, дядя Миша, не достанете, только соскучитесь, и есть захочется.

— Дерево велю срубить.

— Дуб заветный.

— Слезь, я тебе приказываю,— я предводитель дворянства.

— Я вас не выбирал, дядя Миша, я на выборы не езжу.

— Крамольник!.. Стражникам прикажу тебя стащить. Высеку!

— Дядя Миша, лопнете.—Сергей опять бросил желудем, попал в картуз.

Гончие подпрыгивали, визжали от ярости. Лягаш скулил, высовывая нос из дупла, щелкал зубами. Мишука и Сергей долго ругались, покуда не надоело. Наконец Сергей сказал примиряющим голосом:

— Охота вам, в самом деле, сердиться, дядя Миша. Я ведь тоже с носом остался. Вера-то за Никиту выходит.

— Врешь? — удивился Мишука.

— Чем матерно ругаться, поехали бы мы на лесной хутор. Там выпить можно.

— Вино есть?

— Две четверти водки.

— Гм,— сказал Мишука,— все-таки это как-то так. Ты все-таки подлец.

— Вот это верно, дядя Миша.

Мишуке, видимо, очень хотелось, после всех волнений, поехать на хутор и выпить. Сергей спустился ниже, подмигнул и сделал всем понятный жест:

— И то найдется.

Задрав голову, Мишука заржал,— уцепился даже за седельную луку. Затем ударил кобылу арапником и ускакал на хутор.

Через час Мишука и Сергей сидели в жарко натопленной избе,— Мишука расстегнулся, пил водку стаканами, вспотел, тряс животом сосновый стол.

— Ха-ха... Смел ты, что пришел, Сережа.

— Нам делить с вами нечего, дядя Миша, я вас люблю...

— Рассказывай, ха-ха...

— Люблю, дядя Миша, в вас богатырство, не то что — теперешние дворяне,— сволочь, мелкота...

— Мелкота, говоришь, ха-ха...

— Вы, дядя Миша, все равно как князь в старые времена... Силища...

— Богатырь, говоришь? Князь? Ха-ха...

— Едемте, дядя Миша, вместе в Африку. Вот бы мы начудили...

— В Африку, ха-ха!..

— Эх, денег у меня нет, дядя Миша, вот бы я развернулся...

— Подлец ты, Сережа... Денег я тебе дам, но побью, ха-ха...

В избу вошла ядреная молодая баба, румянец во все лицо,— лукавая, сероглазая. Смело села рядом с Мишукой на лавку, толкнула его локтем. Мишука только ухнул. И начался пир. Изба ходуном заходила.

10

Ольга Леонтьевна и Никита с утра ходили по Симбирску из магазина в магазин,— сзади ехала коляска, полная покупок. Лошади осовели, кучер каким-то чудом успел напиться, не слезая с козел. Никита в тоске бродил за теткой из двери в дверь. Ничего этого

не было нужно — ни суеты, ни вещей. Хоть скупи весь Симбирск, хоть ударься сейчас о камни,— разбей голову,— Вера не станет счастливее, не вернется к ней прежняя легкость, блеск глаз, веселый смех: не любит, не любит...

— Ну уж, батюшка мой, ты — совсем мокрая курица, осовел, жених,— говорила ему Ольга Леонтьевна,— минутки без невесты не может — нос на квинту... Сейчас, сейчас мы поедем.

Тетка летела через улицу к башмачнику, нечесаная голова которого моталась в окошке, тоже пьяная... Лошади и Никита томились на горячей мостовой. Кучер время от времени громко икал,— каждый раз пугливо оглядывался:

— Вот притча-то, ах, господи.

К вечеру, наконец, Ольга Леонтьевна угомонилась, влезла в коляску, много раз пересчитала вещи, махнув рукой:

— На паром, Иван. Смотри только — под гору держи лошадей,— ты совсем пьяный.

— Господи,— отвечал кучер,— напиться-то не с чего, весь день у вас на глазах,— и на всю улицу икнул: — Вот притча-то.

Поехали вниз, к Волге, к парому.

Река темнела. Зажигались огни на бакенах, на мачтах. Вдали шлепал по воде пароход. Тусклый закат догорал на луговой стороне, над Заволжьем. На берегу уютно осветились прилавки с калачами, лимонадные лавки, лотки, где бабы продавали жареное, соленое, вареное. Пахло хлебом, дегтем, сеном, рекой. Вдалеке, с горы — с Венца — уже слышна была духовая музыка,— в городском саду начиналось гулянье. Играли не то вальс, не то что-то ужасно печальное, улетающее в вечернее небо.

По реке, огибая остров, приближался паром, полный, как муравейник, голов, дуг, телег, мешков, поклажи.

Вот заскрипели связки прутьев у борта, конторку качнуло, зашумели голоса, затопали подковы по дереву,— теснясь, ругаясь, стали съезжать на берег возы.

Между телег, прижимаясь к оглоблям, фыркая тревожно, прогремела вороная горячая пара, запряжен-

ная в плетушку. Выскочила на песок,— мягко зашуршали колеса. В ту же минуту Ольга Леонтьевна метнулась к плетушке и крикнула диким голосом:

— Вера!

Закутанная темная фигура в плетушке поспешно обернулась. Кучер осадил вороных.

— Что с тобой? Лица на тебе нет. Что случилось? — спрашивала Ольга Леонтьевна, толкая народ, протискиваясь к Вере.

— Ничего не случилось,— ответила Вера холодно, голос ее задрожал,— я не за вами, я прокатиться. До свидания.

Только Ольга Леонтьевна молча ухватила коренника за узду, повернула лошадей назад, на паром, велела Никите идти к коляске, чтобы покупки не растащили, и сама села в плетушку рядом с Верой.

— Зонтик где? — сказала она и раскрыла зонт.— Не к чему,— закрыла зонт и сунула под козлы.— Ну, мать моя, спасибо, удружила.

Вера только низко наклонила голову и медленно закуталась по самые глаза в пуховую шаль.

11

За три дня до свадьбы большая родня Репьевых съехалась в Симбирск, в гостиницу Краснова.

День и ночь буйные крики вылетали из номеров, где резались в карты полураздетые помещики.

Выпито было необыкновенное количество вина,— в особенности пили коньяк. Бутылки складывались здесь же, кучами, в номере, для удивления вновь приходящих.

Очумелые половые без памяти бегали по коридору, сизому от дыма. На площади перед окнами торчали зеваки, привлеченные шумом и светом, и говорили, дивясь:

— Заволжье гуляет.

Никто из дам не решался заходить на мужскую половину в гостинице, потому что в коридорах устраивались кавалерийские атаки.

Молодежь — корнеты, поручики, вольноопределяющиеся гвардейских полков,— все в ночном белье, са-

дились верхом на стулья и скакали, размахивая саблями. Командиром был Мстислав Ходанский, двоюродный брат Веры, павлоградский гусар. Кавалерия налетала на проходящих по коридору, отбивала женщии, брала штурмом коньячные батареи.

Помещики, отсидев за картами зады, ходили — как были — в неглнже — под утро освежаться в городской сад,— выворачнвали скамейки, боролись, качали деревья. Жутко было простым жителям, спросоиок кидаясь к окошкам, глядеть на эти игры.

На четвертые сутки весь Снмбнрск поплыл в винном чаду. Полицмейстера пришлось увезти за Волгу в сосновый лес, чтобы пришел в себя. Помещик Окоемов видел черта на печке, в круглом отдушиике. Зеваки на площади божились, что слышали, как в гостннице ржут по-жеребячьи.

Ну вот, наконец, приехал жених, а за ним и Ольга Леоитьевна с невестой н с братом. Много нужио было ушатов студеиой воды — освежить хмельные головы. К двум часам вся родия собралась в собор.

Сергей н Мстислав Ходанскнй держали веицы. Невеста была бледиа н грустна,— неописуемо хороша собой. Женнх озабоченно прнкладывал ладоиь к уху, переспрашивая священника. Ольга Леонтьевна строго поглядывала на родственников: иные из них грузно стояли, выпучив глаза на плавающие огонькн свечей, иные начиниали отпускать словечки.

Из церкви молодые проехали прямо на пароход, там вся родия выпила шампаиского, бокалы бросали в воду. Пароход заревел н отчалнл, Вера выиула платочек и, взмахиув нм, прижала к глазам. Никита рассеянио улыбался,— видимо, совсем ничего ие понимал, ие видел.

С парохода родня поехала в гостниицу пировать. В большом зале с двух концов иа хорах одновременно заиграли два оркестра. После первого тоста об улетевших ласточках Ольга Леоитьевиа заплакала. В это как раз время в залу важно вошел Мишука. Он был в черной поддевке, наглухо застегиут. Лицо его было желтое, отечное, под глазами собачьи мешки.

Мутиым взором ои обвел длиниый стол. Все встали. У Ольгн Леонтьевны затряслнсь руки. Мишука подошел к ее руке, затем поцеловал Петра Леонтье-

вича, не успевшего вытереть усов; и сел, больше не глядя ни на кого,— налил себе большой стакан водки...

Грянули было польку оркестры на хорах, но Балдрясов, чиновник особых поручений, распорядитель пира, зашипел, страдальчески выпучась на музыкантов, вытянулся на цыпочках,— тише!

Мишука съел половину судака, затем немалый кусок гуся, поморщился, отпихнул тарелку.

— Хотя племянница обидела меня,— хрипло и весьма громко сказал он и поднялся во весь огромный рост,— хотя я сказал, что на свадьбе мне не быть,— вот приехал. Пью здоровье молодой. Ура! За молодого не пью — сам за себя выпьет. А сам я скоро помру, вот как.

Он грузно сел... Балдрясов заливчатым тенором крикнул: «Ура!» Грянули музыканты с хор, понесли спьяна такой туш,— даже Мишука оглянулся на них: «Ну и хамы».

Пировали до заката. По просьбе дам отодвинули столы, и начались танцы, для чего пригнали из училища юнкеров. Раскинули карточные столы. Молодежь ломила буфет. Мишука бродил среди гостей скучный, грузный, брезгливо морщился. Развеселило его только небольшое происшествие,— случилось оно за полночь.

Около буфета, в дыму и толкотне, Сергей подошел к Мстиславу Ходанскому, взял его за шнуры гусарки и, качаясь, выговорил мокрыми губами:

— Стива, твоя сестра весьма умно поступила, а?

Мстислав Ходанский сразу вскинул голову,— был он высок, мускулист, с черными кудрями, бледный от вина.

— Стива,— опять сказал Сергей,— Вера умная женщина, ты понимаешь? — Он пальцем поводил у носа Ходанского.— Она хитрая, у нее тело горячее и хитрое.

— Поди выспись,— сказал Ходанский.

— Стива, понимаешь,— если бы я пальцем поманил, она бы с парохода убежала...

У Мстислава Ходанского дрогнули ноздри. В это время Мишука, подойдя к нему, ткнул волосатой рукой в Сергея:

— Плюнь ему в морду, он — хам.

— Я это вижу,— сказал Ходанский, показав ровные белые зубы.

Сергей засмеялся невесело. Затем толкнул Ходанского. Тогда Мстислав Ходанский взял его за живот и швырнул на буфет, на тарелки. Посыпалось стекло. Мишука громко захохотал.

— Скандал, скандал!— заговорили в надвинувшейся толпе.

Кто-то помог Сергею слезть с буфета. Балдрясов старательно отирал его носовым платком. Сергей, криво усмехаясь, глядел блестящими глазами на Ходанского:

— Хорошо, ты мне ответишь.

— Ага, дуэль, вот это дело! — захохотал Мишука.

Спустя некоторое время в номер, занятый Мишукой, собрались секунданты обеих сторон. Шибко пили коньяк, обсуждали условия предстоящей сатисфакции,— несли чепуху и разноголосицу.

— Ерунда,— сказал Мишука,— пусть стреляются у меня в номере.

Секунданты осели. Выпили. Придерживая друг друга за лацканы фраков, стали совещаться и решили:

— Место для дуэли действительно подходящее.

Один из секундантов даже заржал неестественно и повалился под стол. Принесли ящик с пистолетами, позвали противников.

Сергей вошел бледный, озираясь. Мишука толкнул его к столу:

— Выпей коньяку перед смертью.

Мишука сам зарядил пистолеты. Противников поставили в двух углах комнаты. Мстислав стал, расстегнув гусарку, раздвинул ноги, откинул великолепную голову. Сергей сгорбился, втянул шею, глядел колючими глазами.

— Господа дворяне,— сказал Мишука, высоко держа перед собой пистолеты,— мириться вы не желаете, надеюсь? Нет? И не надо. Стрелять по команде — раз, два, три,— с места.

Он подал пистолеты,— сначала Мстиславу Ходанскому, затем Сергею. Отошел в угол и разинул рот, очень довольный.

Два канделябра, поставленные на пол, освещали противников.

Секунданты присели, зажали уши, один, схватившись за голову, лег ничком на оттоманку.

— Раз, два,— сказал Мишука.

В это время четвертый секундант, помещик Храповалов, красавец в черных бакенбардах, во фраке и в болотных сапогах, крикнул:

— Подождите!

Взял с карточного стола мел, твердыми шагами подошел к Ходанскому и начертил ему на груди крест, пошел к Сергею и ему начертил крест.

— Теперь стреляться.

Храповалов отошел к стене и скрестил руки. Мишука скомандовал:

— Три!

Враз грохнули два выстрела, дым застлал комнату. Секундант, лежавший на диване, молча заболтал ногами.

Мишука сказал с удивлением:

— Живы.

Взял мел, повернул Мстислава Ходанского лицом к стене и на заду ему начертил крест:

— Стрелять сюда.

Сергею он тоже поставил крест поперек фалд фрака. Противники вытянули позади себя руки с пистолетами. Мишука стал командовать:

— Раз, два...

Сергей покачнулся и, бормоча несвязное, повалился на ковер.

— Готов,— крикнул Мишука,— суд божий!

Ходанский отошел от стены и выстрелил в горлышко бутылки — вдовы Клико. Сизый дым струей потянулся к Мишуке,— он чихнул, замотал губами:

— Шампанского. Лошадей. К девкам... Сережку отлить водой и ко мне в коляску.

Под утро шесть троек с гиком и свистом понеслись по мирным улицам Симбирска. Обыватели подымали головы и говорили заспанным своим женам:

— Заволжье гуляет,— Налымов.

12

Жарко натопленные печи, легкий запах вымытых полов, зимний свет сквозь морозные стекла покоят увядающие дни Ольги Леонтьевны. Тихо улетает время за письмами, разговорами вполголоса, за неспешным ожиданием вестей.

В чистой и белой, наполненной снежным светом комнате трещат дрова в изразцовой печи. Ольга Леонтьевна сидит близ окна за тоненьким столиком и пишет острым, мелким почерком длинные письма. Повернет хрустящий листочек и пишет поперек строк:

«...Я понимаю эту постоянную грусть — ты проверь хорошенько, непременно сходи к доктору. Мне кажется, что ты — в ожидании. Дай бог, дай бог.

Родишь, смотри — не пеленай ребенка, англичане давно это бросили, а уж я — скажу тебе по секрету — второй месяц шью рубашечки и подгузнички. Ты молода, смеешься над старой теткой, а тетка-то и пригодится...

...Пишешь — Никита утомляется на службе, плохо спит, молчалив. Это ничего, Верочка,— обойдется. Трудновато ему, но человек он хороший. Ходите почаще в театр, говорят, Александринский театр очень интересный. Познакомьтесь с хорошими людьми, сдружитесь. Нельзя же, никого не видя, сычами сидеть на Васильевском острове да слушать, как ветер воет,— этого и у нас с Петром Леонтьевичем в Репьевке хоть отбавляй...

...А мы с Петром поскрипываем. Только я беспокоюсь — брат по ночам стал свет какой-то видеть. Поутру встает восторженный. Работает — выпиливает и точит — по-прежнему. Недавно придумал очень полезное изобретение — машинку от комаров,— в виде пищалки. Эту пищалку нужно поставить в саду, она станет пищать, и комары все сядут на листья — не смогут летать и умрут от голоду. Жалко, что проверить нельзя — на дворе зима, комаров нет. И смех и грех... А ты, Верочка, поласковее будь с Никитой,— любит он тебя, любит и предан по гроб... Мороженых куриц и масло, что я тебе послала,— ешьте: к рождеству пошлю еще партию».

Гаснет зимний день. Лиловые студеные тени ложатся на снег, резче выступают следы от валенок.

В столовой Ольга Леонтьевна и Петр Леонтьевич, сидя в конце длинного стола, пьют чай и помалкивают. Тонким уютным голоском поет самовар,— прижился к дому. Большие окна столовой запушены снегом.

— Сегодня опять письмо от Сережи получила,— говорит Ольга Леонтьевна,— прочесть?

— Прочти, Оленька.

Ольга Леонтьевна вполголоса читает:

«Вчера вернулся в Каир. Видел старичка сфинкса, лазил на пирамиды. (Петр Леонтьевич начал постукивать ногой, Ольга Леонтьевна взглянула на него,— он перестал стучать.) Пришла мне в голову блестящая идея, милая тетя: решил я здесь купить мумию, дешевка, рублей за пятнадцать. На спине где-нибудь у нее выпилю кусочек и спрячу его. Мумию запакую и — в Россию. В нашем лесу,— помнишь, в том месте, где, говорят, был скит,— закопаю этого фараона, посыплю сверху фосфором. Пущу слух: что, мол, в скиту могила по ночам светится. Народ — валом. Монаха туда нужно какого-нибудь заманить оборотистого.— Копайте. Раскопают — мощи. Пожалуйте,— продаю место с могилами, с мощами, с подъездной дорогой. Купят. Гостиницу построят. Государю императору пошлют телеграмму. А тут-то я кусочек и представлю: извините, это мой собственный фараон, вот кусочек из спины,— счетик из магазина. Стами тысячами не отделаются от меня монахи. Вот, милая тетя, что значит — африканское небо,— боюсь, что стану финансовым гением или женюсь на негритянке. Одновременно с этим пишу дяде Мише,— деньги у меня на исходе».

— Нехорошо,— после молчания сказал Петр Леонтьевич,— нехорошо и егозливо. Всегда он был безбожником, а теперь и кощунствует. Напиши ему, чтобы он больше нам не писал про фараонов.

Однажды в сумерки в Репьевку приехал нарочный, налымовский работник, привез Ольге Леонтьевне странное письмо. Каракулями в нем было нацарапано: «Приезжайте, Михайле Михайловичу вовсе плохо, хочет вас видеть».

Налымовский работник сказал, что действительно барин — плох, письмо же это писала Клеопатра, дев-

ка,—иикакими силами барин ее выгнать из усадьбы не мог, потом привык, ныие оиа за ним ходит.

Ольга Леонтьевна иемедленно собралась и в крытом возке поехала в Налымово по большим снегам, по мертвой равнине, озаренной ледяной и тусклой, в трех радужных кольцах, луиой.

В полночь возок остановился у иалымовского крыльца. Окна в столовой были слабо освещены. Брехали собаки.

В сенях Ольгу Леонтьевну встретила высокая тощая женщииа в черной шали, поклонилась по-бабьи. Из дверей зарычала белая борзая сука.

— Что с иим? Плох? — спросила Ольга Леонтьевна, выпутываясь из трех шуб.— А вы кто такая? Клеопатра, что ли? Ведите меня к нему.

Клеопатра пошла впереди, отворяя и придерживая двери. Сука рычала из темноты. У дверей в столовую Клеопатра сказала шепотом:

— Сюда пожалуйте, они ждут.

У круглого стола, покрытого залитой пятнами, смятой скатертью, под висячей лампой увидела Ольга Леонтьевна Мишуку. Он был страшен,— распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп его был исцарапан, желтые, словио иалитые маслом, щеки закрывали глаза, еле видны сопящие иоздри.

Под локтями и сзади, придерживая затылок, привинчены были к креслу деревянные бруски,— на них, опустив опухшие кисти рук, висел ои огромиой тушей. Дышал тяжко, с хрипом.

Из студенистых щек устремились на Ольгу Леонтьевиу зеленые его глазки. Она в великом страхе подбежала:

— Мишенька! Что с тобой? До чего ты себя довел!

— Сестрица,— с трудом проговорил Мишука,— спасибо,— и стал глотать воздух.— Все сижу, лежать не могу, водяика.

— Гниет у них в груди,— сказала Клеопатра.— А едят беспрестанно,— ие успеваем подавать.

Действительно, на нечистой скатерти стояли тарелки с едой. Усы Мишуки, щетинистые, тройной подбородок были замазаны жиром. Озираясь, Ольга Леонтьевна увидела там же на столе большую банку с водой и в ией раскоряченную белопузую ящерицу.

— Крокодил,— проговорил Мишука.— Сережка из Африки прислал в благодарность живого. Сегодня подох, значит и я...

В ужасе Ольга Леонтьевна всплеснула руками:

— Доктора-то звали?

— Доктор сегодня был,— ответила Клеопатра, стоявшая, поджав губы, у буфета,— доктор сказал, что они сегодня помрут, в крайнем случае — завтра.

— Зав... зав... зав...— пробормотал Мишука, с усилием поднимая вылезшие брови.

Ольга Леонтьевна спросила:

— Что он говорит? Завтра? Ох, трудно ему помирать...

— Завещание спрашивают...

Клеопатра достала из буфетного ящика сложенный лист бумаги, подошла к лампе:

— Для этого вас и вызвали, для свидетельства.

И она стала читать:

«Пахотную землю всю,— луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее,— жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселей на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, про прозванию Клеопатра, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся дарю мое благословение, деньгами же и землями — шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это завещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш,— который предназначался ближайшим родственникам,— Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи — почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел,— проговорил Мишука,— Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак,— сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме — озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Багровея, пучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завыла диким голосом под столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... попа,— выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Изо рта хлынула сукровица...

Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

Клеопатра не торопясь подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой.

ОВРАЖКИ

1

На степном хуторе, за семью оврагами, сидит помещик Давыд Давыдыч Завалишин.

Глубокие овраги между хутором и селом налились водой и набухли, на трухлявом льду сдвинулись зимние дороги, оголились невысокие курганы по сторонам; поднялись на них прошлогодние косматые репейники, и ветер, студеный еще на полях, зашумел голыми ветлами.

Все ждали — вот-вот тронутся воды: хуторяне вскакивали среди ночи, с фонарем бежали на плотину глядеть — не прорвало ли; на постоялых дворах третий день томились проезжие, поглядывая из окна на опасное половодье; не ходила почта; не скакали по местным делам власти. И только Давыду Давыдычу было все равно.

Он успел уже и пополдничать и попить чаю и сейчас, распустив поясок на чесучовой рубашке, лежит на кожаном диване, против окна.

В соседней комнате выставлена рама; слышно, как стонет курица на солнцепеке и вот-вот налаживается стонать, но подходит петух, и она вскрикивает не своим голосом. Потом звонко ржет жеребенок на калде. Вдоль двора несутся голоса стряпухи и веселого кучера, и когда смолкают, сонный пес принимается колотить хвостом о собачью будку. Прыгают, чирикают, возятся, как пьяные, воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами голуби; а Давыд Давыдыч прикрыл подушечкой ухо, норовя заснуть...

Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленом полу, и пахли смолой новые стены, и в свету, между полом и окном,

звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, а он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давыд Давыдыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажужжавшую в кулаке.

— Вот я тебя курице отдам,— сказал Давыд Давыдыч, нехотя слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая брамапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.

— Вот, клюнь,— сказал Давыд Давыдыч, поднося мушку, но курица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал грязной коркой снег, и чем дальше, тем был он белее, и, подняв глаза, увидел Давыд Давыдыч свой, еще под снегом, пар, курганы с репейниками, лиловую полосу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым крестом.

Давыд Давыдыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая бородка и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.

2

Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы всё, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить,— были для Давыда Давыдыча тяжким бременем.

Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.

Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путаный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.

Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акаций, черемух, сирени и чер-

ной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянах же и дальних аллеях росла высокая, густая трава.

Когда Давыду Давыдычу не хватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйной растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повиликой, качались и цвели повыше его головы; над ней же толклись неуловимые мошки и бабочки и гудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давыд Давыдыч научился многим ухваткам — подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения, прятаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глубине.

Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой, и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными шкафами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давыд Давыдыч садился в глубь дивана и читал приключения. Он полюбил веселый нрав зверей, птиц и всей живой твари, траву же стал считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.

Но с каждым летом Давыд Давыдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного, сколько ни открывай и ни обшаривай темных углов. И почувствовал скуку, словно впереди ожидались таинственные события, а сейчас только было томительно, некуда себя ткнуть.

Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожидание совпало с семейным несчастием. Отец Давыда Давыдыча часто уезжал (матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давыд Давыдыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, проснувшись,

плакал в своей постели. Но иаутро матушка была, как всегда, бледиая и печальиая; отец же, едва сдерживая гиевный блеск чериых глаз, привлекал сыиа и рассеянно гладнл его по голове до тех пор, пока Давыду Давыдычу ие становилось скучно и больио. Иногда матушка стремительно прибегала в сад н, словно сыи ее спасся от несчастья, прижимала н целовала его, но Давыд Давыдыч не понимал н этих ласк.

Однажды отец вернулся нз города вместе с маленькой чериой н надушеииой дамой, н матушка стала вдруг необыкновеиио оживленна — смеялась, ездила верхом, пела и гуляла с приезжей. Но вскоре Давыд Давыдыч иабежал в саду иа отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечн н держа в руке револьвер; издалека же по аллее иеспешно шла матушка в белой шалн. Давыд Давыдыч троиул отца за локоть, отец выроннл револьвер, закрыл глаза и страшно закричал... В ту же иочь матушка разбуднла Давыда Давыдыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, н оии ехали до рассвета, пока иа краю степн, за осеииим тумаиом, ие увнделн главы церквей, водопроводиую башню н дома губернского города.

Всю знму Давыд Давыдыч, утруждаемый грамматнкамн н закоиом божним, чнтал Тургеиева, потом Гоголя. Весною сдал экзамеиы иа круглое два, ио зато понял, какие еще танственные встречи ждут его в старом доме н в саду.

На Фомниой в иомер, где онн жили, вошел отец, очень похудевшнй, но ласковый, поговорил с матушкой, посндел на дниване, закрыв лнцо рукой, н увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше ие жила.

Но иедолго веселился Давыд Давыдыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарамн. Пробнраясь в темные кущн за прудом, заглядывая за необхватиые осокори, раздвигая кусты куртин, где гннли скамейки и столы на одной ноге, подинмаясь вверх, в нежнлые н пыльиые комнаты, рассматрнвая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченной залы,— повсюду боялся ои встретнть кого-то н броднл и томнлся, ожндая встречи. Он похудел и вытянулся; иа узком лице леглн кругн под глазами, ои прятался, заслышав голос отца; на вопрос — о ком скучает — краснел, и сад уже

казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось *оно*. *Оно* могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке, и ведьмой с голыми ногами, и даже русалкой.

Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давыд Давыдыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, и ждал, когда же из глубины, плавно поводя руками, выплывет под самые березовые корни опасная русалка.

Оно появилось после полудня, в июне, в малиннике. *Оно* оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, простоволосой, со смешным лицом и большими глазами. Давыд Давыдыч огорчился, увидев, что *оно* такое смешное, но подошел все-таки, поглядел исподлобья и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.

Давыд Давыдыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевочкой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил — как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.

— Ты, может быть, в пруду живешь?

— Нет,— ответила девочка,— я живу у моей маменьки, вдóвой попадьи, зовут меня Оленька.

Когда кончилась малина, Давыд Давыдыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые повести.

Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже заплакала горько над трогательным описанием малютки, заблудившейся в снежную ночь.

Давыд Давыдыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.

— Поцелуй крест,— сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик...

Давыд Давыдыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давыд Давыдыч сказал:

— Что ты красная какая, как кучер...

Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубрава вдали и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:

> Вот по дороге, с сумой и клюкой,
> Шел нищий убогий, хромой и слепой.
> Навстречу природа попалась ему,
> И нищий молил, поднимая суму...

Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смирные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе в сумерках.

— Ну, что же, не удалась жизнь — начнем другую,— негромко повторял отец.

Давыд Давыдыч очень обрадовался матери и тому, что больше его не ласкали, как пропащего, но по ночам стали донимать его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.

В доме издавна жила седая крыса величиной с кошку; ее не могли ни убить, ни извести ядом — до того была умна и зла. По вечерам влезала она на стул, глядя, как едят, когда подходили — свистела и прыгала высоко и недавно укусила за голову пьяного повара.

Вскоре матушка велела затопить с зимы еще не чищеный камин и села с отцом около огня, в креслах...

Отец глядел на матушку, и поднятые брови его сдвигались; из-под ресниц матушки капали слезы.

Вдруг с треском разлетелись головешки, и из огня, вся в пламени, выскочила крыса и пропала в дальнем углу.

Отец бегал с каминными щипцами по дому, а матушка, схватившая сына, долго не могла успокоиться.

Наконец Давыда Давыдыча увели наверх, раздели, долго крестили и велели спать. Но не успел он, казалось, закрыть глаз, как в комнату вбежала горящая крыса, покрутилась на паркете и принялась подскакивать всё выше и выше — до потолка. И вдруг, доскочив, забегала по потолку кругами, обскакала стены и наконец, жалобно запищав, стала отряхивать с се-

бя угольки и язычки пламеии, которые наполиили комнату розовым светом.

«Горим»,— накоиец проговорили, точио издалека. Давыд Давыдыч сел иа кровати и позвал мать. В доме было тихо и темно. Только где-то похрустывало и потрескивало.

Давыд Давыдыч закутался с головой и иакрылся подушкой, а снизу опять, точно не по-человечески, закричали пронзительно: «Горим!» Тогда Давыд Давыдыч соскочил и распахнул дверь. Яркий, красиый, радостиый огонь кинулся на него зыбкими язычками, бушуя по винтовой лестиице, как в трубе.

Давыд Давыдыч захлопнул дверь и стал слушать, и среди треска и шума различил голоса отца и матери: «Давыд, Давыд...» Тогда он побежал к окну, уцепился за ветку липы, выполз и вместе с хрустнувшими сучьями упал в траву.

— Спасибо, трава, я тебе этого не забуду,— сам не зная зачем, проговорил он и стал глядеть, как из иижних и наполовину верхних окон льется свет; в комнатах ие зажжены ии лампы, ни свечи, но ясно в них от света, портьеры шевелятся, и по обоям пробегают язычки...

«Это крыса там бегает»,— подумал Давыд Давыдыч и побежал по мокрой траве, пока не остановился у пруда... Из-за вершин деревьев, заслоияющих дом, шел теперь густой, черный, словно с кровью, дым; потом он посветлел, и запрыгала, затанцевала над вершииами огнениая корона.

«Это крысиный царь подиимается»,— подумал Давыд Давыдыч. А языки иа короие взмахивали все выше и слились в одии, завернутый иаверху, откуда посыпались искры. Чериые, как смола, тени легли иа траву, до самого пруда; вода стала живой и зыбкой, и стволы берез с одной староиы покраснели. Сверху же, с высоты, маленькие птички, сложив крылья, падали в огоиь.

Утром стало обыкиовеино в саду, только по кустам и иад травой лежала грязь. Осторожио раздвииув ветви, появилась иевдалеке Оленька, подбежала к Давыду Давыдычу, взяла за руку, сказала:

— Я говорила им, что ты здесь,— и увела из сада иа двор. У коиюшни, покрытые занавеской, лежали

на траве две фигуры.— Стань на колени, помолись за папу и маму,— сказала Оленька.

Давыда Давыдыча взяла к себе петербургская тетка. Он прохворал у нее почти всю зиму, к весне же вытянулся, заговорил петушиным голосом и, казалось, совсем забыл и отца, и мать, и Оленьку, и свои клятвы. Затем пошли долгие годы учения: они вылепили при помощи установленных средств обыкновенного, установленного образца, молодого человека и выпустили жить.

Окончив юристом, Давыд Давыдыч принялся думать, куда себя приноровить, и, ничего не удумав и не разрешив, уехал в родной город: все-таки это был город знакомый.

Здесь он заметил, что точно так же, не думая и ничего не решая, живут почти все, предаваясь по мере сил всевозможным удовольствиям.

Давыда Давыдыча приняли как своего и очень легко, прямо в лоно удовольствий. Он устроился при суде; снял квартиру, соблазнил жену следователя и решил, что сам он милый, приятный и опасный для мужей человек. Весною он съездил в Завалишино. Богатое когда-то именье было разорено опекой. Рядом с пепелищем стоял новый флигель; на заросшем дворе гулял древний мерин, свидетель прошлого, весь в укусах и шишках; опустели хозяйственные постройки, разрушались медленно, сад поредел, и Давыд Давыдыч от забытых, смутных, таинственных воспоминаний поспешил уехать обратно, не взяв даже отчета у приказчика.

На следующую зиму его уговорили жениться на Анне Ивановне — богатейшей купчихе. Дворяне в уезде обезземелили, и в предводители никто не шел. Анна Ивановна была воспитана в Париже, имела обстановку в стиле ампир и желала заказать приданое с дворянским гербом. Вообще не было причин не жениться. Перед свадьбой Давыду Давыдычу посоветовали привести в порядок бумаги, и он опять поехал в Завалишино.

Стояла весна. Пело множество птиц, и от земли шел густой запах. Увидев издалека осокори на своем пруду, Давыд Давыдыч велел поворотить, не проезжая хутора, прямо к селу и остановился у церковной

ограды. Сквозная ограда, выложенная так, что между кирпичами образовались кресты, была выкрашена в белое. За ней росла, перекидывая ветви наружу, белая сирень. Проходя влажной дорожкой, Давыд Давыдыч увидел под сиренью на скамье девушку в белом платье, которая глядела на подходящего странно и пристально. Давыд Давыдыч поклонился, спросив, где можно найти священника. Девушка встала, оправила юбку и молвила:

— Старый батюшка умер, а новый приедет из города завтра, я его невеста...

— Вот досада,— сказал Давыд Давыдыч и объяснил, что приехал выправить метрику, и назвал себя.

— Я знаю, я вас узнала,— сказала девушка,— а вы не узнали; я — Ольга, вдо́вой попадьи дочь...

— Не может быть, позвольте, вы — та самая... помните...

— Да, помню,— ответила Оленька.— А вы зайдите к псаломщику, у него церковные книги,— и она, быстро ступая, прямая и легкая, прошла впереди Давыда Давыдыча в церковь и, пока он рылся в книгах, стояла в стороне; он оглядывался, улыбаясь, она не отвечала на улыбку, и когда, уходя, он взял ее за руку и сказал: «Вот опять встретились, как странно...» — она высвободила из его ладони пальцы и так посмотрела, синие глаза ее так гневно потемнели, что Давыд Давыдыч разговора не продолжал.

Переночевав на въезжей, он наутро опять пошел в церковь и расспросил дьячка об Оленьке.

Оказалось, что она училась в гимназии и после смерти попадьи осталась в селе учительницей. Ее много сватали, даже земский доктор, но она отказывала всем и только прошлой осенью (как раз когда Давыд Давыдыч заезжал на день в усадьбу) согласилась выйти за поповского сына, который ждал смерти больного отца, чтобы самому вместо него принять священство.

Из церкви Завалишин пошел к речке, где у обрыва увидел ветхий, кривобокий, прислоненный к старой ветле домик вдо́вой попадьи. У окна сидела Оленька. Она посмотрела на подходящего, и опять в глазах ее появилось вчерашнее выражение, точно страх и гнев. Давыд Давыдыч, улыбаясь, стал кланяться. Оленькина красота взволновала его странным чувством.

— О чем вы задумались? — спросил он и опять понял, что не то сказал. Подошел к окну, под которым цвел шиповник, и увидел, что Оленька на ладони держит медный крестик.

— Замуж я выхожу,— сказала Оленька и вдруг наклонила голову и стала глядеть на Давыда Давыдыча исподлобья; он видел, как глаза ее заволокло слезами; она сердито тряхнула головой и отвернулась.

— И я женюсь, вот как это все вышло,— ответил он, и тупая, безнадежная скука наполнила его после этих слов, и все показалось давно известным, ненужным, бездольным...— Надо как-нибудь жить,— окончил он.

Оленька помолчала. Потом сказала поспешно:

— Отойдите от окна, неудобно, люди увидят... Так-то, милый мой друг...

Она быстро поднялась и отошла в глубину комнаты.

Накануне петровского поста Завалишин обвенчался, и Анна Ивановна увезла его на море, потом в Париж. Вернувшись, он пошел в уездные предводители, освободил родовое Завалишино от долгов, завел первый в городе по объедению и веселью дом и рысаков, кучу друзей, а потом и любовницу.

Когда же все бывшее в кругу полусонных его желаний испыталось, Давыд Давыдыч увидел, что Анна Ивановна — противное, злое и сладострастное существо, а сам он несчастен и нечист.

Вернувшись однажды ночью в дурном настроении, он прошел на половину жены и, услыхав за дверью спальни голоса — ее и чей-то мужской, вынул револьвер и выстрелил в дверь, даже не со зла, а черт знает зачем — для гадости.

Анна Ивановна обиделась и уехала в Берлин. Давыд же Давыдыч, написав ей короткое и ясное письмо на обрывке модного журнала, засел в родовом своем Завалишине навсегда.

3

Не повесть эту припоминал Давыд Давыдыч, лежа в окне, не о бесплодно растраченных силах думал он, а о том смутном и волнующем ожидании *чего-то* (события, катастрофы), чего-то — огромной важности; и

хотя до сих пор ожидание обманывало, все же каждый раз казалось ему, что именно теперь приходит самое важное; так и сейчас он старался заглянуть в глубь себя, потому что, казалось ему, событие, хотя и придет извне, всю силу и важность получит, только утвердившись в нем, в Давыде Давыдыче.

Из конюшни в это время, стуча копытами, вылетел молодой караковый жеребец, волоча кучера на поводе. Вылетев, стал посреди двора, махнул хвостом, заржал, прыгнул на дыбки, потом он и кучер рысью пробежали на задворки.

— Красавец,— сказал Давыд Давыдыч,— вот силища,— и когда оттопыренный конский хвост скрылся за углом, он медленно, с опущенной головой, с заложенными назад руками, отошел от окна. «Жеребец ржет и прыгает на дыбки, значит пришла весна, и никому нет дела до того, что когда-нибудь перестанешь прыгать, ляжешь и околеешь. Почему же мне одному не все равно? — думал Давыд Давыдыч, шляясь по кабинету.— А оттого мне не все равно, что это — самое главное, чего я сейчас ожидаю, и будет моя смерть; вот и все».

Закрыв ладонью глаза, он представил свои похороны: вышло глупо и не трогательно, главное — пообыкновенному, и Давыд Давыдыч даже сделал подобающе грустное лицо, какое было недавно у всех на похоронах председателя суда... Тогда он вообразил самое смерть — себя, умирающим в кровати, и замотал головой — фу ты, черт!

— Нет, нет, событие будет другим, не смертью!..— воскликнул он торопливо.— В сущности отчего я несчастен? Все люди такие же, с изъяном. Не знаю ни одной счастливой семьи. Отчего же я должен быть другой, а не такой, как все?..— Он хрустнул пальцами и с отчаянием сказал: — Ах, нет, все, должно быть, верят во что-нибудь или просто живут не думая, а я верю только в одно, что умру и что умирать не хочу...

В это время осторожно отворилась дверь, и в ней показался небольшого роста худощавый мужичок, в нагольном заерзанном полушубке, с красным, много раз обернутым вокруг худой шеи, вязаным шарфом. Шапку он держал в руке и, подмигивая на барина, спросил:

— Чего ты, ась?

— Я не тебе... Ты зачем?..— спросил Завалишин, немного смутясь.

— К тебе я, здравствуй,— ответил мужик и подал руку.

Пожимая ее, Давыд Давыдыч почувствовал все его жесткие ногти и мозоли. «Вот этот мучиться не станет»,— подумал он, сел к столу, отодвинул локтем поднос с водкой и колбасой и сказал:

— Садись. По какому делу? Как зовут?

— Андрей. Андреем зовут,— ответил мужик и присел на краешек стула, умильно покосясь на водку.— Едва до тебя добрался, воды — прямо сила: овражки обязательно нонче пройдут, как уж я пробрался только...— По красному тощему лицу его пошли веселые морщины, он совсем зажмурил свои щелочки и решительно сказал, тряхнув бороденкой: — Промокли мы как есть.

Давыд Давыдыч налил ему водки в стаканчик и себе в рюмку. Андрей изобразил на лице уважение, боясь раздавить, взял стакан и выпил все до капли, крякнув очень громко, чтобы показать, как это действует.

— Ешь, угощайся,— сказал Давыд Давыдыч, пододвигая поднос.

— Чего ее — пищу зря перегонять,— ответил Андрей,— вино ей только портить. В еде этой сытности я не понимаю. Хоть бы кашу молочную — ешь, ешь, надоест, бросишь ложку, а ну ее...

Завалишин налил ему еще стакан, и после третьего Андрей размотал шарф и сказал:

— Под Хвалынским дачу мы строили; барин очень остались довольны и поставил нам угощение, всего наварил. Ели мы, ели, вот прямо надоело. Иван Косой — пильщик, мужик завистливый, мне и говорит: «Что же, Андрей, за бутылку съешь сейчас горшочек каши?» Я тут же говорю: «Ладно» — и кашу съел; ему жалко, он опять: «Каравашек ситного съешь еще за бутылку?» — «Ну да». Каравашек этот я съел, и еще так на четверть ему и наел. Надо мной смеяться. А уж я разошелся. На бахчах арбузов нарвал, дынь, огурцов и наелся, и вот с этого сырья меня разобрало... Так что в наземе после меня восемь цыпленков уто-

нуло. Баловство. А пользы никакой нет от большой еды.

— Ну, видно, выпить я могу много больше тебя,— сказал Давыд Давыдыч.

— Это верно.

Помолчали. Завалишин мотнул головой, вздохнул окончательно и спросил:

— Так по какому же делу, Андрей?

— Беда у нас случилась, Давыд Давыдыч.

— У кого — у нас?

— Вот я давно вижу, что ты меня не признаешь. А я и папеньку твоего и маменьку, покойничков, как живых вижу. У попадьи я служу, у вдо́вой попадьи в работниках...

Рука Давыда Давыдыча, лежащая на столе, так сильно задрожала, что он ее принял и спросил, не поднимая глаз:

— У какой попадьи? Ольги Петровны?

— Ну да. Теперь она считается у нас вдо́вая. Поп у нее утонул, ровно тому год. Она мне наказывала: «Хоть плыви, говорит, а дойди до Давыда Давыдыча, передай письмо».— Андрей залез за пазуху, пошарил и подал теплое помятое письмо.

Завалишин быстро встал, повернулся к окну и прочел:

«Я не хотела и не должна, но больше не могу... Скоро, может быть, сейчас, опять начнется... Сознание мое такое убогое и короткое... Я тороплюсь... приезжайте... может быть, поможет... Все равно... очень хочется увидеть вас...»

— Я не пойму,— перечтя кое-как нацарапанное письмецо, сказал Давыд Давыдыч,— она больна?

— Совсем плоха попадья,— подтвердил Андрей,— проваливается; обомрет, как провалится, и начинает ее корчить, и вопли. Нынче совсем, думали, отходит. Я и помянул, как маменька ваша, покойница, крестьян пользовала каплями,— говорю это попадье, она как всполыхнется, за карандаш ухватилась. «Неси, говорит, записку, неси ему, скажи, мол, все равно, мол». Плохо я разобрал, чего она набормотала... Вы уж дайте, пожалуйста, капель каких, Давыд Давыдыч, успею до ночи добежать, чай...

— Капель,— сказал Завалишин,— нет...— и не кончил.

Андрей тоже раскрыл рот и повернулся к окошку. За разговором они не заметили, как возрос и стоял теперь в сумерках глухой сильный шум: словно по всей степи поднялись древние леса и зашумели.

— Тронулись,— сказал Андрей,— вот беда, в село теперь не попасть, а я и скотину не убрал.

Но не гул вешних вод слышал Давыд Давыдыч в поднявшемся шуме, а голоса всех ушедших и милых, все шорохи, топоты пролетевших лет, и свой голос будто услышал он, и все это восстало в одно мгновение, и потому странный шум был так властен, громок и торжествен...

— Поди, поди, прикажи заложить санки,— проговорил Давыд Давыдыч отрывисто,— я сам поеду, надо спешить, беги, прикажи, скорее...

4

Караковый поводил синими глазами и рыл яму копытом, запряженный в ковровые санки. Давыд Давыдыч быстро сошел с крыльца, застегивая романовский полушубок, взял вожжи и сел; рядом сейчас же примостился Андрей.

— Ты зачем? Оставайся, я один поеду,— сказал Завалишин...

— Нет уж, как уж, неудобно,— ответил Андрей.

Давыд Давыдыч ударил вожжами, караковый сразу весело и резво понес, кидая грязь и снег в передок саней.

Когда миновали плотину, Андрей сказал серьезно:

— Правее, барин, забирай, целиной,— овражки вверху надо переехать.

Солнце к этому времени село в лиловую тучу, заслонившую закат. Ее края, как овечья волна, опушились золотом, и оттуда шли лучи. Когда они совсем удлинились, растаяли и погасли, золотая волна покраснела, стала густо-малиновой. Небо над закатом разлилось, как вода, а выше синева становилась непрозрачной, в ней открылась первая холодная звезда, и потом медленно все небо стало осыпаться созвездями. На ровную пустую степь в унылых проталинах

легла теиь; снег, еще лиловый, похрустывал, н по нему, похрапывая, бодро и ровио бежал караковый.

— Послушай, Аидрей, правду говорят, оиа не любила мужа? — спросил вдруг Давыд Давыдыч.

Аидрей ответил ие сразу, придерживаясь за барскнй кушак, ои всматривался, видимо, ие одобряя выбраииого пути.

— А за что его любить: жадный да противиый,— сказал ои.— Придешь в храм, с души воротит, одии старухн к иему н ходили. Как утоп, мы, коиечио, пошумели, и оиа иеудовольствие показала,— все-таки нехорошо тоиуть так-то зря; а ей теперь миого легче. Одно — обмирает она; да это, говорят, ои ей ие дает покоя — мертвый... А вы правее забирайте...

Но Давыд Давыдыч больше уж не мог забирать в верховья овражков. Со стороиы, противоположиой закату, появился тонкий свет, и подиялся над краем степи серп месяца. Завалишин, горяча вожжами и причмокивая, нес жеребца прямиком иа овражки. Накоиец впереди иа снегу обозначилась темиая полоса. Андрей положил руку на вожжи и сказал:

— Глииа — это на том берегу; видишь, как снег осел, полегче, барин.

Давыд Давыдыч осадил; жеребец перебил ногами и стал, раздувая бока. Андрей побежал вперед и оттуда крикнул:

— Осело на аршии, а давеча я тут проходил совсем свободио. В санях не проедем, надо распрячь!

Жеребца распряглн: сияли хомут и седелку и троиулись... Ближиий берег был покатый, на нем, между сиегом степи н овражка, открылась талая земля, покрытая мятой травой. Андрей поскользиулся, побежал вперед и увяз.

— Не держит,— сказал он,— ну, да здесь мелко, с богом,— и скоро выбрался на тот берег.

Давыд Давыдыч был тяжелее и увязал глубже; караковый, у иего в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, иа другой берег он вымахиул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.

Оии двииулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбатых гривках, в хрустящей прошлогодией траве, лежали овальиые лу-

жи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.

Овражков было семь, и средний из них — самый глубокий и опасный. По шуму воды издалека было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.

Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в колючей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли, наконец, до среднего, Андрей сказал:

— Навряд переберемся, студено очень.

Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то елозя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давыд Давыдыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом. И ему не было странно, что самое важное сейчас в жизни — это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно — только хорошо.

— Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду,— сказал он негромко.

Андрей крякнул от холода и ответил, точно не расслышав:

— Ты за гриву-то ему цепись, если что — конь добрый, вынесет; главная вещь — нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь...

Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась под глинистым обрывом свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текучие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и гнал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы... В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни плыть, ни ползти.

Давыд Давыдыч резко дернул за повод присмиревшего жеребца и пошел по желтым пятнам снега... Андрей зашагал рядом, потом, повторив: «Смотри, коня нипочем не бросай!» — побежал вперед на цыпочках и вдруг провалился по пояс.

— Дна нет! — крикнул он, побарахтался, на животе прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды.— Шабаш,— сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться; над снегом торчала лишь голова его в шапке.

— Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас,— еле выговаривая, забормотал Давыд Давыдыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал; лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот... Снег совсем стал жидким. Давыд Давыдыч запустил под себя руки и, застонав от боли, расстегнул пряжки на полушубке, чтобы освободиться. Но сзади в это время громко заржал караковый, завозился и плюхнулся несколько раз.

— Узда, узда,— выговорил, наконец, Андрей.

Завалишин оглянулся. Жеребец, очевидно зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.

— Узду, узду скинь,— проговорил Андрей.

Давыд Давыдыч понял, что не сможет этого сделать и что не нужно это — пусть погибает караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сиганул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давыд Давыдыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.

Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну и слава богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя — и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он — смотрящий — был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и необъятен, что включил в себя и землю, и солнце, и звезды, и все... И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви,— слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых сти-

хов, сочнненных нм на дереве... И за ней, быстрей, чем молння, возник ровный свет, он заслоннл, как будто сжег, все прнзракн воспоминаний н был живой, и требовательный, н радостиый... Давыд Давыдыч понял, что жнв н хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникала в рот н ноздри. Ои рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, н Давыд Давыдыч, ударив иогами в ледяиое дио, появился на поверхности, жадио дыша колким, живым холодом.

Караковый лежал впереди, и иад снегом торчала его голова н грива, в которую вцепилась рука Аидрея. И коиь н мужик медленио отделялись от сиега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал нх, подхватнл, закружнл н поиес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров сиега, открыв Давыда Давыдыча, который, освободясь от каши, тоже поплыл, сиосимый течеиием, и долго хватался и царапался о глиияиую кручу. Наконец на иизком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег иа берег, потом подтянулся, вылез и, шатаясь, пошел.

Месяц, чистый н острый, стоял над головой. В овальных лужах, в каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давыд Давыдыч раздроблял сапогом тонкне зеркала этнх луж. Потом ои с трудом повериулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибилнсь Аидрей н караковый.

Через снлу стащил Давыд Давыдыч сапогн и побежал к селу. Остальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мнрского амбара, в луином свете, сидел неподвижно седой караульщик.

— За народом беги, тонут! — сказал Завалишии, тыча пальцем в стороиу, откуда пришел, н когда караульщик, поняв наконец, заторопился, ои двииулся дальше, к белой колокольне, за которой между двух лип стоял Оленькии дом.

5

Олеиька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худымн рукамн голову. Синее полотняное платье иа ней измялось; на левой иоге спущеи черный чулок, на кончнке висела туфля.

Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окои, отражалась в пыльном зеркале; на его

поверхности проведено много запутанных линий; должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двухспальная помятая кровать.

Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно кончился припадок — невыносимый кошмар, изнурявшнй ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачнвалось, как маятник, один в тишине тикавший, взад и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате; молчал даже сверчок — запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха,— наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.

Один раз только Оленька остановнлась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло невольно, как запоздалая молння после грозы...

На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное пнсьмо, на то, что, может быть, еще увиднт она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жнзнь.

В сенях резко затрещали ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька,— словно игла, прошел через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и выбежала в сени, придержавшись за косяк.

В дощатых сенях ничком лежал Давыд Давыдыч, подвернув под себя руки. Пиджак его обледенел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.

Оленька положнла руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закрнчала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька присела над телом и обенми руками схватила голову Давыда Давыдыча, стараясь прнподнять н взглянуть ему в глаза.

— Пришел, вспомнил,— сказала Оленька, оборотясь,— дышит, дышит...

— Батюшки, к соседям побегу, одним разве втащить! — завопила кухарка и кинулась на улицу.

Давыд Давыдыч начал стонать и силился подняться сам. Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил:

— Оленька!..

— Что, милый? Что, родной мой? Не слажу я. Сейчас придут...

— Оленька, слава богу...— И, не окончив, он опять лег, подышал и вдруг, приподнявшись, сел к стене.

Глаза его были мутные, обледенелые волосы торчали во все стороны. Он долго глядел на свечу, потом уронил голову. Оленька негромко ахнула.

Вошли, топая, соседи-мужики, три брата, поклонились, сказали друг дружке деловито:

— За голову, за ноги берись, да не стукни,— легко подняли Завалишина, внесли в избу и посадили на сундук.— Одежду снять с него надо и водки влить ему две чайных чашки с солью,— сказали мужики.

Кухарка кинулась, принесла водку и чашку, и Давыд Давыдыч, давясь, выпил и громко, словно отлегло уже самое тяжелое, принялся охать, не открывая глаз.

— Вино действие оказывает! — сказали мужики, и только вышли, как опять вбежала кухарка, крича:

— Где водка-то? Батюшки, Андрея нашего ведут...

— Вот и слава богу,— проговорил Давыд Давыдыч и осел...

Оленька одной рукой охватила его, другой принялась расстегивать и снимать мокрую одежду, все время заглядывая в лицо и жалобно улыбаясь его стонам...

6

Закрытый одеялом, Давыд Давыдыч лежал в постели навзничь. Глаза его теперь блестели; лицо было красное и сухое. Оленька быстро и настойчиво ходила по половику. Завалишин говорил:

— Помните, как я поклялся, вот и пришел. Мне хорошо! Только, Оленька, отчего холодно?.. Точно бы лед

под боком лежит. Такое было беспокойство эти дни; думаю: что же это должно случиться? Неужто — смерть? Не хотелось умирать!.. Уж никак не мог догадаться, что же это нужно сделать такое. Страшно было одну минуту, когда уходил под воду... Очень было страшно, а потом хорошо. Какой свет я видел, Оленька!.. Начался он в таких пространствах. И, знаешь, мне показалось, что свет этот был все же во мне...

Оленька подошла, постояла близко и опять заходила.

— Я не понял твоего письма,— продолжал он,— от кого тебя спасти? Кто тебя мучит? Ведь муж твой умер.

— Молчи, молчи,— торопливо перебила Оленька и быстро присела рядом к нему на кровать.

Он закрыл глаза. Она же глядела не в лицо ему, а мимо, на тот край постели, словно у стены кто-то был. Глядела она долго; в потемневших ее глазах появился ужас. Она соскользнула на пол, опять заходила, потом села на сундук, как давеча.

— Я знаю, это воображение или еще что-нибудь,— тихо и с отчаянием выговорила она,— но ведь все равно, это ужасно: он приходит каждую ночь! Теперь даже и днем приходит. Ложится, требует, грозит. И темнота здесь,— Оленька тронула темя,— мыслей уж нет, одни обрывки. И воли нет. Боюсь, боюсь. А теперь и сил больше нет.— Она помолчала, слезла с сундука и зашептала: — Ведь не сам он умер, я его извела. Никогда его женой не была. За то же он и бил меня по ночам. На колени станет, ноги целует, до утра молит. Потом сдернет на пол... Все тебя поминал. До того дошел — смерти стал искать и грозить этим. Я говорю: «Что же, вышла за тебя со зла и не люблю тебя, как женой твоей буду? Умирай, если терпеть не можешь». А когда нашли его в реке, принесли мертвого, поняла, что он от меня не отстанет. Каждый день, каждый день еще хуже, чем живой, приходит и мучит. И сейчас он здесь...

Щеки у Давыда Давыдыча разгорелись. Подняв под шубой колени, он пересилил себя, шумно вздохнул, улыбнулся и, высвободив руку, взял Оленькину ладонь.

— Не думай,— сказал он,— поди ляг.

Оленька стремительно охватила его голову, прижалась и жалобно воскликнула:

— Ах, он все еще здесь, посмотри.

Давыд Давыдыч повернул голову. Действительно, сбоку от него, у стены, на постели лежал неприятный незнакомец: тощий, темный, с длинным скверным лицом. Тело его, в сером и узком платье, было вытянуто, голова круто повернута, опухшие веки сощурены, прикрывая бог знает какие глаза...

Давыд Давыдыч криво усмехнулся и сказал:

— Вот он какой! Ну, что же, за нами пришел? Уводи... А я другое видел нынче. Я видел, как шел свет и поднимался обратно. Я видел Мировое Дыхание. Я не хочу идти с тобой. Выгнать бы тебя. Вытолкать. Ах, какой мерзкий!

Давыд Давыдыч хотел поднять руку и не мог. Тогда он закрыл глаза. Волна жара докатилась до его головы, застлала глаза и распалила... Он заговорил чаще и непонятнее. А из-за незнакомца, из стены, поплыли животные, прошли под одеялом, опустились на пол, заползли под кровать, приподняли ее и заколыхали.

«Отчего так мучат?» — пронеслось в сознании у Давыда Давыдыча... И он, вцепясь в простыню, стал поспешно думать — отчего. Но из-под низу животные щетинами прободали тюфяк и принялись колоть спину... «А в чем же, перед кем я виноват?» — опять огнем пронеслось в сознании... Он собрал со всею силой память и совсем уже понял, что незнакомец начал скатывать с ног его одеяло, потом навалился и стал совать одеялом в рот...

Задыхаясь, рванулся Давыд Давыдыч с постели и опрокинул свечку. И, в темноте разводя руками, громко закричал Оленьку.

Нежные ее ладони сейчас же обхватили его, спрятали лицо в платье, на груди, и далекий родной голос проговорил:

— Не бойся, голубчик мой, я здесь, я не уйду.

— Оленька, Оленька,— говорил Давыд Давыдыч,— прости меня... Я понял, я ужасно виноват... Я люблю тебя, я постараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучат, а мы сядем вот так, обнимемся, родная моя. Одна на всем свете. Какая наша любовь! Какой свет!

7

Овражки прошли, и последний холод ночных заморозков истаял под возносящимся солнцем. Давно уже разъехались по своим местам проезжие; помещики и хлебопашцы налаживали сев; по-прежнему скакали с колокольчиками власти; успели уже подсохнуть дороги, и трава вылезла на вершок, выпустив под самое солнце невидимых жаворонков,— а только в апреле Давыд Давыдыч в первый раз пришел в сознание и спросил — который час.

За все время Оленька не отходила от его постели, слушала бред и молилась, чтобы милый друг ие умер; с каждым днем все глубже и иежнее любила она Давыда Давыдыча. Любовь ее заняла все прежиие чувства, и между любовью уже не стоял иикто.

Один раз только, перед вечером, когда Давыд Давыдыч спал, положив исхудалые руки на грудь, Оленька стояла у окна; в синем иебе, невысоко, плыло едииствеииое и странное облако. Через улицу переходил Аидрей, таща иа веревке телеика; черноглазая стрижеиая девочка, бегая с куском чериого хлеба в руке, загоняла овец — черную, белую и бараиа; овцы ее боялись и не шли, а баран, опустив рога, глядел иа хлеб; наискосок, на завалинке, дремал сивый старик; из двух изб, высунувшись в окошки, браиились две бабы — и иикто не смотрел на страииое облако. Оно же иеслось прямо на окио. Оленька провела по глазам, но в это время пошевелился Давыд Давыдыч и застонал, и оиа, вздрогнув, словно разорвала паутину, подбежала к иему, стала на колеии и, всей жизнью своей, каждой капелькой крови любя и иежно жалея, спросила: ие болит ли что, легче ли?.. Давыд Давыдыч открыл спокойио глаза, улыбнулся долгой улыбкой и спросил:

— Душеиька, который час?..

И когда он опять задремал, теперь уже иаверно выздоравливающий, оиа вериулась сиова к окну. Облако поднялось выше иад домом,— лиловое виизу, оно было белым и розоватым, плотиыми клубами; словио плыл воздушный остров, с церквами, куполами и сиежиыми деревьями.

«Это наша земля,— подумала Оленька.— Как хорошо, ии воспоминаиий, ни злобы».

8

Давыд Давыдыч сидел под липой на скамейке, одетый в парусинный халат, с накинутым еще на плечи пуховым платком. Под окнами, на кустах и по всей старой липе, рассыпались бледные листья, сквозь них небо казалось синее... За плетнем, на улице, было тихо, народ ушел в поля. У калитки, ведущей на двор, прислонясь, стоял приказчик.

— Хорошо, хорошо, делай, как думаешь, а я, видишь, слаб еще, через неделю, может быть, приеду, посмотрю. Ступай, голубчик,— говорил ему Давыд Давыдыч.

Приказчик вздохнул почтительно и ушел, и уже за плетнем весело простучали его каблуки. Давыду Давыдычу было все равно — посеять ли пшеницу, или овес, или ничего не посеять. Он следил только, когда за ветвями, со стороны огорода, опять покажется белое платье Оленьки.

А прошлого он и не вспоминал, да и трудно было это сделать, потому что весенняя сила, убирающая зеленью землю, отгородила в нем прошлое от нынешнего дня туманной стеной... И он чувствовал только, что когда-то был за этой смутной завесой, но туда упал луч, коснулся его сердца и вывел его в нынешний день.

Платье Оленьки показалось сквозь кусты. Давыд Давыдыч покашлял. Можно было бы и позвать, но ему казалось приятнее, чтобы она пришла сама, с серьезным лицом, спрашивая глазами, отчего он кашляет...

Оленька услыхала и, нагнувшись под ветками, подошла и села на скамью. Худое лицо ее подернулось золотом солнца; синие глаза немного снизу вверх глядели на Давыда Давыдыча, на белом платье лежала темная коса, и руки испачканы землей...

— Что ты делала? — спросил он.

Губы ее, тоже в золотом пушке, задрожали, она улыбнулась и не ответила, еще глубже заглянув в глаза. Давыд Давыдыч не успел ее рассмотреть хорошенько, так быстро она подошла, а хотелось поглядеть еще, как она ходит, поднимает руки, обертывая голову. Он попросил:

— Кажется, платок вот куда-то подевал... принеси...

Оленька легко встала и, легко ступая по дорожке, пошла к дому, белое платье ее разлеталось внизу; в дверях повернула голову (он понял — так легко ей ходить и обертываться, а вот сейчас отмахнется от мухи,— и отмахнулась).

«Милая»,— подумал он и сказал:

— Нет, вот он, платок; Оленька, посиди со мной, что ты все в огороде копаешься!..

— Репу пересаживаем,— сказала она; села рядом, вздохнула, и, немного сгорбившись, положила руку свою в его ладонь.

Давыд Давыдыч взял ее руку и поцеловал и, не глядя на Оленьку, стал думать, как бы лучше и понятнее выразить ей давно уже придуманную мысль. Она была такова:

«Мы вышли точно из огня и сейчас, как первые люди — влюбленные, чистые и мудрые. Но нам надо жить, и очень долго. Как же сделать так, чтобы мы могли жить и остались такими, как сейчас?» Сказать все это было мудрено, и, конечно, Оленька спросила бы: «А зачем нам становиться другими?» На это бы ответить он не смог. Кроме того, всякий раз умно придуманная фраза казалась ему не такой уже умной, когда садилась Оленька около него на скамью.

«Мы должны стать мужем и женой,— подумал он,— вот это ей и скажу»,— и, поглядев на смирную Оленьку, он обнял ее за плечо, в другой руке расправил испачканные землей ее пальцы и сказал:

— Оленька, я тебя очень люблю.

Она кивнула головой, подтвердила и сидела все так же тихо.

— Подумай,— продолжал он,— все силы уйдут на то, чтобы думать все об одном, а если мужем и женой— какая жизнь прекрасная,— любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...

Оленька отстранила от лица прядь волос, внимательные, серьезные глаза ее так понимали, что Давыд Давыдыч замолчал. Она положила его руку себе на колени, и румянец, едва заметный, все сильнее стал заливать ее лицо. Она раскрыла рот, вздохнула громко и сказала:

— О чем ты говоришь? Люби меня, как хочешь. Как нужно... А я уж не только люблю, живу этим...

В сумерках они вошли в дом и, не зажигая огня, продолжали говорить о том, что лучше любви ничего нет, о том, что можно любить один только раз, о том, что они нравятся друг другу ужасно, и о том, что небо раскрывается только перед смертным часом, хотя об этом они говорили меньше всего...

Наутро Оленька дрожащей рукой ударила в раму, окно раскрылось, и комната наполнилась запахом земли и трав, криками воробьев, голосами и дальним топотом шагов... Сквозь расцветающие кусты синело небо, чистое, лазоревое, теплое. Оленька подумала: «Ведь это небо, оно мое, оно прозрачно, оно покрыло всю землю»,—и, оборотясь, она сказала нежно:

— Полно тебе спать.

Давыд Давыдыч раскрыл глаза и, глядя на тоненький силуэт молодой женщины в окне, подумал: «Оленька, небо, весна, радость — вот о чем всегда тосковал».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

1

В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растегин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером. Александр Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими каплями, на скулах появились пятна, растрепанная борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. «Продавать!» — крикнул он и повалился в кожаное кресло.

Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил папиросы одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом.

Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу, пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее; волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе; Александр Демьянович гаркнул на него — «пошел» — и снова схватил телефонную трубку. На бирже начиналась паника... Растегин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растегин тяжело дышал.

Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек, небольшого роста, со злым и бледным лицом.

— Что это за фасон? Иди одевайся,— проговорил он деревянным голосом.

Растегин замахал рукой, зашептал:

— Молчи, молчи!

Художник Опахалов сел на угол стола, закурил папироску и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище — Растегина.

— Обстановочка у тебя, как в парикмахерской,— сказал он отчетливо,— ты бы еще свадебную карету себе завел, ландо с гербами, урод!

Растегин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую грудь, растопырив голые ноги, закричал:

— Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на пятьдесят тысяч куплю.

Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал:

— Я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж, да и бороду сбрей, пожалуйста.

— Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?

— Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай.

Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался.

— Послушай, ты, как это говорится, берешься меня обработать до осени? Под двадцатые года? — спросил он после некоторого молчания.— К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел,— спит, говорят, в неестественной позе по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить!

Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедля. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Пречистенке. И все антиквары, брик-а-брак и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную двадцатых годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.

До середины июля Растегин и Опахалов ремонтировали и обставляли дом, собирали предков и стари-

ную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы и разговор его не выпирал изо всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой, Растегин же выехал в Н-ский уезд одной из волжских губерний.

2

Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи. Пыль, выбиваясь из-под конских ног, из-под колес, неслась клубом за тарантасом, садилась на кумачовую спину ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо; по бритым щекам его полз пот, оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадая во ржи,— не было ему конца.

Александр Демьянович слез с парохода нынче в шесть утра и сейчас уже перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу через тенистые парки, за зеленью сирени — тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью; ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню на пристяжной и говорил с досадой:

— Слепень совсем лошадёв заел!

Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставало из-за земли облако и таяло.

— Когда же ты, черт, доедешь,— стонал Александр Демьянович.

— А вон тебе и барыня Тимофеева,— ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев.

Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и ветла; появилась красная крыша. Рожь по сторонам становилась все выше и вы-

ше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявою травой дворик.

В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была отворена; около, на травке, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах; изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки; унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали изо ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась; собака тотчас ушла в комнаты.

— Сама барыня,— сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились.

Александр Демьянович, приподняв шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал:

— Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.

— А по делу, так в комнаты пожалуйте,— проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую.— Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной, к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается.

Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.

Здесь было головато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились; более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты; ситцевый диванчик и кресла едва стояли на гнилых ногах; только у окна было придвинуто крепкое садовое кресло, на него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая:

«Странно; совсем что-то не то, хотя действительно записано (он посмотрел в блокнот) — дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых, были в боярской думе, при Борисе жалованы вотчины в Смоленской, в Казанской и прочее».

Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака и слышался голос барыни: «Будешь ты у меня в комнаты шляться? Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди к себе в будку. Смотри, рассержусь». После этих слов собака за стеной зарычала; барыня притихла. Растегин долго слушал, как жуж-

жала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от иетерпеиия и досады двииул кресло.

— Марья, поди посмотри, что это приезжий возится,— сказали за стенкой.

В гостииую осторожио загляиула толстая простоволосая баба.

— Баба, долго я буду тут дожидаться! — закричал иа иее Растегии.

Баба ахиула и скрылась. Тотчас за стеиой начали шептаться. Накоиец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села иа креслице, сложила на коленях руки и прииялась молчать.

Лицо у нее, спокойно-наклонное к плечу, было узкое и в морщииах, волосы гладко зачесанные, с шевырюшкой иа маковке; под заплатанной юбкой прятала она ноги в мужицких сапогах.

«О чем с такой чучелой разговаривать?» — подумал Растегии и сказал довольно сердито:

— Я путешествую для ознакомления с бытом помещиков, у меия есть рекомендательные письма, разрешите предложить иесколько вопросов.

При этих словах барыня Тимофеева испугалась:

— Я дворянские виесла, и опекунские виесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительио иикогда ничего ие платит.

Растегии сейчас же выясиил, что он — частиое лицо и лишь просит продать ему что-либо из старииы.

— Продать? Что же вам продать еще?— все еще растеряиио сказала барыня.— А уж я струхиула, думала — какой-иибудь тайный агент. Коли надо вам, возьмите вот диваичик этот или кресла. Их действительио давио иужно продать.

— Нет ли у вас чего-либо постарее, более стильиого?

— Ведь это тоже очеиь старое,— робко ответила барыия и, подумав, все же повела гостя в столовую. Здесь посреди комнаты стоял черепок с молоком да иесколько стульев у стены, старое дамское седло иа подставке.

— Вот седло разве,— проговорила оиа задумчиво.

Из столовой прошли в залу. Здесь уже иичего ие стояло. Окиа были зашиты досками; в глубине полу-

отворена дверь в небольшую комнату, залитую сейчас солнцем. На звук шагов оттуда послышалось рычание.

— Так и знала, что она туда забралась, мало ей во всем дому места. Неслух, вот я тебя плеткой! — воскликнула барыня и тронула Александра Демьяновича за рукав.— Сударь, помогите мне с ней справиться, пожалуйста.

Растегин вошел в освещенную комнату и поднял трость. С дивана в дверь с жалобным воем кинулась все та же собака.

— Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу — как об стену горох,— молвила барыня и потянула было Растегина из комнаты. Он же воскликнул удивленно:

— Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано. Та-та-та, покупаю весь кабинет.

Действительно, в небольшой комнате с темно-зелеными обоями стояли два тяжелых дивана с бронзой и резьбой, шкафы, полные старинных книг, столы — овальные и бобочком, конторка на витых ножках, в углу — горка с трубками. Сбоку непомерного кресла — пюпитр, на нем — развернутая книга, листы ее покрыты густою пылью; на всех вещах, на мелочах письменного стола, на пяльцах у окна, на корзинке с шерстью — серая пыль; казалось, вещи здесь никогда не сдвигались со своих мест; только там, где лежала собака, можно было различить тусклый узор на штофе дивана.

— Ах, нет, я бы не хотела ни с чем этим расставаться,— после молчания прошептала барыня Тимофеева, и в испуганных глазах ее появились слезы.

Растегин потрепал ее по плечу и сказал:

— Если бы вы имели дело со скупщиком, тогда, конечно, барыня моя, но я, как говорится, по натуре — артист реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам.

Барыня ахнула: пять тысяч!

— Вы сумасшедший,— прошептала она, отвернулась к окну, вынула платочек и, тихонько покачивая головой, долго стояла молча.— Знаете, мне самой ничего не нужно, но мои старики больше всего любили

эту комнату. Я уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень, но, боюсь, старики мои огорчатся; кабы я могла знать? Но нам разве дано знать о подобных вещах!

Растегин с удивлением оглядел ее сутулую спину, дрожащий кукиш волос на затылке, мужицкие сапоги. «Ого, барыня-то, кажется, того»,— подумал он и проговорил:

— А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.

На террасе накрыли чистенькой скатертью стол, толстая баба принесла измятый самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки. Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый дворик, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня; глаза у барыни все еще были печальные. Посмотрев на нее, на всю ветхость вокруг, на измятый самовар, Александр Демьянович подумал: «Вот так двадцатые годы!—довольно скучно».

Он опять заговорил о кабинете, накинул две тысячи, просил хорошенько подумать до вечера и, докурив папиросу, бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы.

— Они под часовней лежат. Гробы закрыты, но не заколочены, хотите посмотреть? — спросила барыня Тимофеева.

— Нет, благодарю вас,— ответил Растегин и подумал: «Шалишь, я за твоих покойников двугривенного не дам».

— Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие,— опять сказала она.

— Да, зимой день будет покороче.

— Сидишь одна по вечерам, раздумаешься, раздумаешься, пойдешь в кабинет, смотришь: а батюшка — в кресле, голову вот так опустит, будто смотрит себе на колени, а матушка на меня глядит, сидит и глядит. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если так уж нравится кабинет. Но как же быть?

Она не спеша встала, предложила еще чаю, постучала по кринке с молоком пальцами, затем попросила обождать и пошла через дворик вдоль ржи, едва вол-

нующейся колосьями выше ее головы, и скрылась за часовней.

Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по шее, по щеке, принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Опустилась роса, и комары, попищав, скрылись. В закате засияла звезда; темнело медленно. В дверях появилась унылая собака, понюхала и скрылась. Растегин поднес к носу часы. Было уже девять. По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.

— Баба, куда барыня провалилась? — спросил Растегин злым голосом.

— Барыня давно спать легли. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка.— Баба вздохнула и пошла.

— Эй, ты, вели сию минуту лошадей подавать! — крикнул ей вдогонку Растегин и, глядя на обсыпавшие все небо звезды, на белеющую под ним рожь, на силуэт часовни с высокой березой, думал, куда ему теперь из этой чертовой дыры ехать и где заночевать.

3

Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы; в ночную пору если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми и тарантасом, то около оказываются уже не одна дорога, а сразу три, и, поехав по средней, попадешь на пашню или в овраг.

Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, очутился, наконец, посреди поля; небо заволокло, звезды пропали и, едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве, и вдруг тарантас принялся подскакивать, крениться направо и налево; Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.

Ямщик сказал спокойно:

— По пашне едем.

— Своротн на дорогу! — закричал Растегин.

— Сейчас выедем. Но, милые! Фу ты! Стой, стой! Ну что, если в овраг угодим? Чистое наказание, темень какую наворотило!

После этого долго стояли где-то, поворотив лошадей по ветру; ямщнк, слезшн с козел, оглядывался, топал ногой по пашне, кряхтел.

— Некуда ей и деваться, обязательно должна быть дорога; вот ведь ехали, ехалн и заехалн! — Наконец он, захватив кнут, сказал: — Вы тут подожднте да крнкните, когда я голос подам, а то и вас потеряешь,— и пропал в темноте.

Александр же Демьяновнч сндел, спрятавшись в воротник, и слушал, как негромко пел ветер в гривах, в плетеном кузове тарантаса; на нос и щекн падали иногда капли дождя; Растегнну казалось, что с левой стороны черное место — овраг и колеса на краю обрыва; он боялся пошевелиться — вдруг дернут лошади.

— Триста лет, черт бы нх задрал, помещики живут, н хоть бы дорогн устроили; ну что стоит поставить фонарь... Темень проклятая! — бормотал Растегнн.— Двадцатые года! Тысячу раз дурень этот ездит н каждый раз плутает, наверное.

Он, ворча и досадуя, начал зябнуть, зафыркал носом, завертелся.

— Васнлнй! — закричал вдруг Растегнн, высунувшись из воротника,— где ты?

Лошади сейчас же дернулн и пошли; он кннулся к вожжам и, не найдя нх, прннялся взвизгивать не своим голосом; испуганные лошади побежали рысью, увозя тарантас прямо к черту. Вдруг коренник захрапел, ударнлся обо что-то, пристяжка запуталась, н лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы н разлнчил впереди себя огромный крест.

Дрожь пробрала Растегина; не смея пошевелнться, вспомннл он, что подобные кресты ставят на местах, где находят путннка, погибшего не своею смертью. Стало казаться, что повсюду нз черной пашнн торчат подобные кресты. И какне же людн должны жить в этом бездолье, бездорожье н темноте?

— Вот он и крест. Вот и дорога,— громко проговорил ямщнк, вдруг появившись около тарантаса.— Видншь ты, куда заехали! К самому то есть мосту.— Он живо влез на козлы, присвистнул и поворотнл направо.

Но направо моста не оказалось; повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал прямиком, но сейчас же осаднл коней н сказал с испугом:

— Ну, барин, нас бог спас, гляди — совсем в овраг въехали.

— Нет, уж пожалуйста, я дальше не поеду,— стуча зубами, пробормотал Растегин и выскочил из тарантаса.— Какой ты ямщик! Дурак ты, а не ямщик!

— Земля, она — земля, разве ее поймешь? — ответил ямщик.

Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев, стали различимы и лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на козлах ямщик в картузе; а еще спустя немного проступила и трава и борозды пашен; издалека, едва слышно, донесся крик петуха.

— Кочета поют. Это ивановские петухи,— прошептал ямщик, вытянув ухо,— вот какого мы крюка дали.

— Почему это непременно ивановские петухи?

— По голосам слышно, голоса тонкие. У нас в Утевке у петуха голос грубый.

— Эх ты рожа,— с ненавистью сказал Растегин, ему так и чесалось стукнуть глупого ямщика,— куда ты меня спать повезешь?

— Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем. Мы здесь с малолетства на этом деле, слава богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу, вот тебе за Ивановкой тут и усадьба.

Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буераков, живо покатил по светлеющей дороге на крик петухов. Скоро забрехали собаки, вправо показались ометы соломы, нзбы, утонувшие в соломе, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые нвановские кочета, влево же сннела куща сада...

Ямщик, нахлестав, прокатил березовую подъездную аллею, завернулся на просторном дворе и стал около нового небольшого дома.

В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату, у одной стены — большой красный ящик на козлах, напротив — стол, на нем горящая свеча, две голых до локтя руки, в них растрепанная голова спящего человека, и от его локтя по всему краю стола лежащие окурки. По огромному усу Александр Демьянович признал в спящем старого своего приятеля, Семена

Семеновича Чувашева. Он был известен в свое время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашева ли побили, Чувашев ли побил, или никто никого не бил, но какая-то дама вообще не вовремя родила,— словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.

Удивленный сейчас необычайным его видом, Растегин громко постучал в стекло. Чувашев испуганно вскинул голову, кинулся к ящику, открыл его, что-то понюхал, захлопнул и только тогда повернулся к окну.

— Семен Семенович, это я, не узнаете? — закричал Растегин.

Семен Семенович исчез и тотчас же появился на крыльце, поддергивая клетчатые панталоны и недовольно щурясь.

— Ба-ба-ба,— проговорил он,— как не узнать. А за каким делом занесло вас в эту дыру? — И, не дожидаясь ответа, выпучил покрасневшие глаза на ямщика:— Ты что это у меня по клумбам ездишь! Молчать! — закричал он, хотя ямщик и не отвечал ничего, с видимым сожалением оглядывая помятые клумбы.

Александр Демьянович кое-как уладил дело,— дал завопившему внезапно ямщику на чай и вслед за хозяином вошел в дом. Уселись они за тем же столом, напротив красного ящика.

— Вы по какой, по пуговичной или по канительной части, я уж и забыл,— спросил Чувашев.

— У нас арматурный завод, окна и двери обделываем, да не в этом сила, на бирже немного подыграл, миллиончиков шесть,— ответил Александр Демьянович.

— Сколько? Так! А к нам зачем?

— За стилем.

Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежался по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, поддернул штаны и только крякнул, ничего не сказал и опять принялся бегать.

— Скажите, вы на ощупь чувствуете эти шесть миллионов? — спросил он наконец.— Ну и чувствуйте, черт с вами. Вот что я скажу: не туда заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу!

Прадед, бабка и отец из-за стиля меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько... А было... Эх! Зато теперь — шалишь, я в себе американскую складку нашел... Надо дело делать, надо деньги ковать, вот вам мой стиль.

— Так-то так, а только на земле много не наживете, спекулировать на ней — туда-сюда, а то рожь да рожь — противное занятие.

— Ну знаете, я не так глуп. Именьишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только: «Способен?» И — конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип: каждую минуту я должен заработать минимум одну копейку: итого в сутки четырнадцать рублей сорок копеек, минимум.— Чувашев повернулся на каблуках и вдруг схватился за свой длинный нос, точно в испуге.— Тсс,— прошептал он,— вы ничего не слышали? Как будто пискнуло.

— Да, действительно кто-то пищит,— прошептал Растегин.

Семен Семенович живо подскочил к ящику, распахнул в боку его дверки и залез туда с головой.

— Вот это яйца, вот это я понимаю, ни одного болтуна,— проговорил он оттуда и вылез обратно, держа в руках пятерых только что вылупленных цыплят,— вот, не угодно ли,— пять паровых цыплят, а к осени будут у меня из них, на худой конец, пять петухов. Дело золотое, хотя беспокойное,— наладились, подлецы, выводиться по ночам; черт их знает — думаю, какая-то ошибка в инкубаторе; при этом паровой цыпленок — прирожденный хам,— ничего не боится, так и лезет под воронье. На! В каждом деле не без урону. Эх! Оборотный бы мне капитал, я бы всю Европу курятиной накормил. Теперь вот что — идем купаться и завтракать.

— Мало я расположен купаться,— возразил Растегин, но все же поплелся вслед за хозяином в дом. Бревенчатые комнаты были уставлены универсальной американской мебелью, везде висели карты, картограммы, чертежи, на столах и подоконниках стояли механизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязанья носков и кальсон, из одной машины торчал недошитый башмак и прочее и прочее.

Чувашев указал рукой на все это и сказал:

— В этом доме каждая минута превращается в мелкую монету: сам шью, сам вяжу, сам тачаю, сам продаю, мышеловка выдумана мной, патентована, принцип чисто психологически-вкусовой, мышь лезет в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.

— Нет, я, знаете, лучше что-нибудь из старой мебели.

— А я говорю — такой мышеловки вы нигде не найдете.

— Нет, я патентом не интересуюсь.

— Купите одну модель. Поглядите, какая работа.

— Работа действительно хорошая.

— Берите, берите, по старой дружбе уступлю за пятьдесят рублей.

Александр Демьянович пожал плечами, все же вынул деньги, а мышеловку, не зная куда девать, положил в карман.

После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк, сырой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, а теперь засаженных капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь на высоких козлах стоял жестяной бак.

— Это мое второе изобретение,— сказал Чувашев,— я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку, и уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?

На крыше дул ветер, было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится, но хозяин так уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец.

После купанья завтракали на террасе. Александру Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его смотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок триста жестянок утиной печенки и еще кое-какого месива, вывел за

ограду парка и указал иа кучу землн, смешаииой с навозом н порошком, его, Семен Семеиовича, патеитованиым удобреинем; ио от покупки этого Алексаидр Демьяновнч отказался иаотрез. Больше смотреть было иечего. Прнятели медлеино возвращались по старой аллее в дом.

— Дорого бы я дал посмотреть, как живут иастоящие помещики,— сказал Растегни,— вот одна такая аллея может облагороднть человека.

Чувашев сейчас же остаиовился, ударил себя по лбу и воскликнул:

— Бац! О чем же я думаю! Сегодня везу вас иа нменины к Ражавитииову. Там увидите весь уезд. И уж такие двадцатые года — стул не передвинут. Меня по крайней мере всегда прямо тошннт в этом доме. Согласны? Вы мие дадите за это сто целковых.

— Да, знаете, вы действительно амернканец. Ну да ладно, ваша снла. Везите меня на именнны,— сказал Растегни.

4

У больших окон ражавитииского дома беседовали дамы, глядя на подъезжающих гостей.

У каждого свой обычай подъезжать. Ииой, иадвиув картуз и подбоченясь, чертом вылетает иа своих серых из тучи пыли под самое крыльцо; другой и клячонку выберет похуже и упряжь веревочную, н сам подмигивает на то, как дамы в окиах потешаются его вндом; нной едет степеино н с важностью, как гусь, всходнт иа крыльцо; а иной спешнт поскорее укрыться в дому, боясь пуще всего иа свете — показаться смешиым.

В одном окне стояли две барышин Петуховы, обе премило одетые в голубое, и рассказывалн молодой вдове Сарафановой вполне дозволенные вещн.

Молодая же вдова виимательио слушала, как в следующем окие прокуреиная табаком помещица Демонова ругала ее на все корки.

В третьем окне стояла хозяйка дома, всегда имеющая почему-то вид беремениой, и с унынием глядела иа толстую, высокую, красиую, косую помещнцу Таракаиову, которая говорила восторженным басом: «До-

рогая, я вас жалею от всего сердца, ваш муж просто воробей. Посмотрите: вот мой Петя — это идеал человека».

Идеал человека, без малого пудов на десять, находнлся тут же, одетый в табачный жакет и белые панталоны; он прятал одиу руку за спину и слушал с милой улыбкой иа круглом лице, похожем на овощ, иногда прнговарнвая шлепающнмн губами: «Ну, котик, ты уж слншком!»

Мимо окои спокойио прохаживалась девица Рубакнна, рябая, в очках и в мужской поддевке. В уезде ее изывали — «ефрейтор». Папаша Рубакии, со своими почкамн, сидел иеподалеку в кресле н с любовью и страхом глядел иа дочь, ожндая от иее всего. Она славилась как лихой наездннк, стрелок и как большая умннца с велнкнмн причудами. Прошлым летом былн кавалернйскне маневры, и «ефрейтор» участвовала в них, ие слезая с седла: сама ходнла с офнцерамн в атаки и иа разведку, переплывала реку н хлопала водку, как сам эскадроииый. Папаше Рубакнну, прн своих почках, пришлось трястись за ией неделн две, старика это чуть не зарезало. Но все же ин однн нз офнцеров так на ией н не жеинлся.

В глубине белой, с колоннамн н портретами, нзкой залы стоялн, дымя табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с такнми складками на шеях, будто онн нх перевязали веревочкой. Здесь же вертелся Дыркни, Петр Петровнч, в полосатеньком пнджачке, который он прн всяком случае иазывал петаилером.

О травосеянии как средстве удержать в помещнчьих руках уплывающую землю беседовал с братьями Сомовыми националист Борода-Капустии. Другой, просто Капустин, держал за пуговицу своего дядю — малеиького, усатого, взъерошеииого либерала Долгова — и говорил:

— Если тебя присннчнла совесть — возьмн н поплачь, а мужиков не порти, ие трогай.

— Все-таки, того-этого, ты меия лучше за пуговицу не держи,— отвечал Долгов.

Сам хозяни, Егор Егорыч, с виду совсем аигличаннн, хотя чрезмерио тучиый, духом — корениой русак, характером же воробей, как выразилась Таракаиова, все чаще пропадал за дверью, где звеиели ножи, сту-

чал фарфор, и оттуда долетал его веселый голос; появляясь в гостиной, он говорил:

— Господа, немного еще подождать умоляю, вот-вот Семочка Окоемов подъедет, без него, право же, нет аппетита.

Наконец одна из барышень, Петухова, воскликнула:

— Едет, едет!

Гости подошли к окнам, глядя, как через клеверное поле ехали два экипажа. В переднем сидел один, без кучера, Семочка Окоемов, в заднем — Чувашев и какой-то посторонний.

— Кто бы это мог быть? — задумчиво спросил папаша Рубакин.— Какой-то бритый, кажется симпатичный.

— Странная рожа,— сказал Сомов.

— Да, рожа скверная,— промычал младший Сомов.

— Еврей какой-то,— сказал Капустин.

— А надавай ему в шею,— проворчал Борода-Капустин.

Дыркин ничего не сказал; он внимательно вглядывался, точно признавал Растегина; старое, сморщенное лицо его изобразило почти испуг, верхняя губа приподнялась, и появились из-под седых усов желтые зубы.

Экипажи тем временем подъехали; Семочка Окоемов сидел прямо на дне тарантаса, в сене; он замотал вожжи на облучке и высунул огромную босую ногу, но, поглядев в окна, тотчас принялся обувать сапоги, которые снимал, чтобы не тосковали ноги.

Александр Демьянович вошел в залу и слегка даже оробел, увидев такое многочисленное общество. «Дворяне, вот они какие»,— подумал он и, еще не зная, как себя повести, на случай несколько раз нырнул головой, как бы кланяясь. Никто на это не ответил. Чувашев подвел его к хозяйке и представил:

— Старинный приятель, приехал по весьма щекотливому делу.

— Насчет мебели,— сказал Растегин. Чувашев же пошел шептать по гостям: «Биржевой воротила, Рокфеллер, приехал деньги швырять».

— А мы встречались, хорошо вас и помню, за картишками... Дыркин, здешний помещик, вот радость не-

чаянная,— заговорил Петр Петрович, когда до него дошла очередь здороваться, и затряс Растегина за руку,— сядем-ка рядом за обедом, очень, ужасно рад...

Тем временем гости пошли к водке, в изобилии стоявшей за отдельным столом, среди закусок таких аппетитных, что про каждую можно было смело сказать — под такую выпьешь море.

Помещики налегли на водку; у братьев Сомовых с каждой рюмкой оказывалось уже не две, а по шести складок на шее; Рубакин, держась за почки, наклонился над закусками, говорил: «Эх, старость не радость!» — и пил под луковый соус; Борода-Капустин наливал себе зелье прямо в стакан, выпивал духом, говорил: «Ух!» — и нюхал корочку; Капустин приналег на коньяк; один Дыркин больше вертелся да расковыривал вилкой паштеты, за что получил от Сомова замечание: «Что ты, брат, все нюхаешь? Ты ешь, а не нюхай». Тараканов, как человек идеальный, к столу не подходил, хотя и смотрел на него издали, с видимым сожалением шевеля короткими пальцами.

С Растегиным происходило странное: едва он выпивал рюмку, она вновь сейчас же наполнялась, но, когда он нацеливался на какой-нибудь пирожок, снедь исчезала и отправлялась за спиной его в чей-то рот; все это проделывала одна и та же рука, грязная и большая, как лопата. «Съесть бы чего-нибудь, не выдержу натощак»,— думал он, и опять его подталкивали под локоть, и голос Семочки Окоемова ревел над ухом: «Ну-ка, последнюю, это вам не Москва, передергивать у нас не в обычае».

Хозяин, Егор Егорович, кое-кого уже оттаскивал за руку от водочного стола, говоря: «Шалишь, брат, ты мне все дело испортишь», и понемногу помещики, вытирая рты, уселись к столу.

Растегин поместился напротив Окоемова, между Рубакиным и Дыркиным. В голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось.

Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетиты; уже старший Сомов грохотал, тряся животом стол; уже Семочка Окоемов потребовал восьмую тарелку ухи, а Дыркин пустился рассказывать вслух такую историю, что помещица Демонова уронила в суп с носа пенсне, повторяя: «Ой, умру!»

Барышни Петуховы мало занимались едой, они делали глазами следующее: глядели ими на кончик носа, закатывали кверху, затем вскидывали их на Растегина.

— Как вам нравится моя дочь? Большая оригиналка, это у нас в роду,— точно сквозь туман и гул голосов услышал Растегин голос Рубакина.

— Страшно нравится,— ответил он, замечая, что у вдовы Сарафановой необыкновенно расширяются зрачки.

— Осторожнее, она вас живо обработает,— шепнул сбоку Дыркин.

— У моей дочери мужской характер; если приглядеться, то она привлекательна,— продолжал Рубакин, печально жуя огурец.

— Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличная тройка,— спросил через стол Тараканов, но, дернутый за рукав женой, сейчас же прибавил: — Извините, это я так!

— Видите, как вам навязываются,— шептал Дыркин,— я здесь никого не уважаю. Вот, видите, Сомов,— у него в кабинете нашли младенца в спирту, насилу замяли дело, а этот, черный, худощавый, Борода-Капустин, жену заморил, честное слово, голодом и живет с цыганкой; вы что — опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуховых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии в камердинерах, оказался большой проказой; смотрите, как у них щеки напудрены. По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать — и лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены,— отказывайтесь наотрез. Верьте моему честному слову, все дрянь, а вот как свалит жар, к вечеру едем ко мне, я вас познакомлю с моей домоправительницей, вот это — женщина, настоящая загадка, прямо Будда или сфинкс.

— Ага, вот они когда! — внезапно закричал Семочка Окоемов басом; перед ним лакей поставил полную миску раков; Семочка крякнул и принялся их грызть, выковыривая, и прихлебывая, и жмуря глаза, причем трудно было рассмотреть, когда он кончал и

когда начинал следующего рака; по рукам его и по безбородым щекам текли грязь и сок.

— Дыркин, замолчи сию минуту, иначе об тебя руку оботру,— сказал он вдруг, и на мгновение его мокрая и непомерная рука повисла в воздухе, затем он опять продолжал прежнее занятие.

Дыркин, только что пустившийся в описание красот домоправительницы, сейчас же замолк и съежился.

— Вот этого черта больше всего надо опасаться,— шепнул он; и Растегину действительно стало казаться, что в этой глуши и его могут слопать, как вареного рака.

Дыркин продолжал:

— Смотрите, это нарочно он раками вымазывается, его заставляют на Рубакиной жениться, так он для отвращения вымазывается. А у самого на уме совсем другое.

Обед кончился. Разговаривать хорошо натощак, а после еды приятно взять подушку, да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. Хозяйка дома, никому уже теперь не нужная, куда-то ушла; Егор Егорович, огорченный, что вот уже и конец обеду, еще подходил то к одному гостю, то к другому, пробуя заговорить, но гость только таращил на него слипающиеся глаза и во всем соглашался. Тараканов, отпущенный супругой, подошел к Егору Егоровичу и проговорил:

— Пойдем, того, в траву.

Либерал Долгов сел на лошадей и уехал; в дому стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые завертки.

Растегин брел по аллее, покачиваясь иногда, и придерживался за березовые стволы; из травы кое-где торчал угол подушки или задранная коленка; Александру Демьяновичу было смутно и тяжко и в теле и на душе; за поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева: они о чем-то точно совещались, хихикали и хлопали друг друга по коленкам. Повалившись рядом с ними, Растегин сказал:

— А я представлял помещичью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борис Мусатов! Раков жрут. Что это за разговор за столом, через

каждое слово — кобыла, овес, рядовая сеялка. Неужто все погибло? я — эстет, мне тяжело, господа.

— Слушай, Саша,— проговорил Чувашев, оглядываясь,— ты прости, пожалуйста, ведь мы с тобой, кажется, на «ты» выпили, так вот что — едем,— делать здесь больше нечего, вышла неприятная история, я тебе по дороге расскажу.

— Я бегу, у меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте, прямо ко мне, Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие,— сказал Дыркин и долго тряс вялую руку Растегина, который, ничего не понимая, тяжело сидел на скамье.

5

— Семен Окоемов самый из них все-таки свежий человек, у него все в избытке — и рост, и брюхо, и страсти; он даже в университете учился, пока тетка не отказала именье, не большое, не малое, а ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее — вволю. А затем появилась у соседа, у Дыркина, домоправительница эта Раиса, женщина плотоядная, чудовищная, с грозовыми эффектами. На Семочку Окоемова подействовала она, как землетрясение, он сразу похудел, затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики — не допускать к Раисе никого, и в средствах действительно не стесняется. Видишь, брат Саша, не увези я тебя вовремя с именин, костей бы не собрал, ей-богу. Одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой? Должно быть, очень хитрое; позвал он тебя ясно для чего: ему деньги нужны до зарезу; у Раисы свои деньги есть, да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянчить: «Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку!» — «Ей-богу, дедулинька, не помню, куда кубышку зарыла».— «А ты возьми и вспомни, подумай»,— и он уж тут от умиления весь даже заслюнявится. «Да где мне вспомнить, а может, злодей какой пришел да выкопал».— «А кто же этот злодей, душа моя? Имечко-то его скажешь?» К этому весь разговор и ведется; злодей оказывается молодым соседом, кото-

рого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем, а на следующий день Раиса выходит в сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее, да ты сам увидишь. Здесь уж кубышечка ни при чем, да и денег, я думаю, у Раисы маловато осталось.

Все это говорил Чувашев Александру Демьяновичу. По ровной степи они подъезжали к плоскому дождевому озеру; по краям его стояли убогие избы, росла большая ветла, на бугорке торчали две мельницы, напротив из-за кущей сада поднимались два синенькие купола. В мелком озере плавали гуси; солнце садилось за соломенными крышами. И представлялось, что избы, плетни, журавли колодцев и две эти ветряки долго блуждали по безводной степи, не находя прохлады, и, устав, присели здесь у дождевого озера кое-как, словно утомленные птицы.

Должно быть, потому село называлось — Птичищи. Никто его не любил. Народ в нем жил унылый. Однажды был приказ: с противопожарными целями вокруг каждой избы насажать палисадник. Но птичищинские мужики по этому поводу сказали: «Бог-ат сам знает, где расти дереву, где не расти», и подали прошение, не разрешит ли его благородие вместо палисадников отсидеть им всем миром в клоповке.

Тележка промелькнула спицами по береговому песку, отразилась в воде. Чувашев сказал: «Я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам; завтра увидимся»,— и приятели въехали в барский двор, расположенный посреди села; здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились, кое-где крыша, крытая соломой, походила на сломанную спину; с крыш, со старых деревьев поднялось множество галок; Чувашев взглянул на часы, наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно; Александр Демьянович вошел в дом.

Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная; она была одета в оборочки и кружевца и казалась очень грязной; высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненном, немытом лице — печальные, совершенно развратные глаза; снимая пальто с Александра Демьяновича, она к нему прижа-

лась; он посмотрел удивленно, она сказала: «Господа давио ожидают в столовой»,— и заковыляла вперед на хромеиькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостииую, Растегин увидел у боковых дверей фигуру ие то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась; после иее остался запах острых духов.

— Наша барыня все спрашивала: скоро ли вы приедете,— сказала гориичная вкрадчиво и отворила дверь в освещеииую столовую.

На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около иего сидел Дыркии, словно пригорюнясь. Ои ие поднялся при появлении Растегина, а только страино посмотрел на него с кривой усмешкой и проговорил:

— Приехали? Раису видели? Чаю хотите?

Алексаидр Демьянович, предупрежденный Чувашевым, повел себя просто, хотя и удивился такому приему: пододвинул стул, развалился и, закурив, зевиул.

— Устал, как черт,— сказал он,— не спал ни крошки. Вы уж меия и ночевать оставьте.

— А вы не хамите,— проговорил Дыркин спокойным голосом.

— Что-с?

Растегии сказал это, сдвинув брови, и сразу, точно просиувшись, Дыркин захихикал:

— Ой-ой-ой, какой порох! Мы люди свои, обижаться ие стоит. Эх-хе-хех! Давайте-ка начистоту да на откровеииость. Стариковское дело, как говорится,— табачок; плохое житье старичкам,— хочется, да не можется, и обидно и терпишь, а если скажу колкое, кто же осудит, кто обидится, эх вы, красота моя!

Растегии даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь лоснился и походил каким-то дивным образом иа большого, старого, лысого паука. С приговорочками и гримасами он описывал свое житье помещика средией руки. Кругом в долгах, в постоянном беспокойстве о векселях и деньгах.

— Не для себя, ей-богу, нет, а лишь для моей Раисы. А я уж сам в таких годах, что вот-вот и осенит меня, и не благодать, конечно, а как бы некое озорство иад собой: уйду в моиастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете, для чего? Люблю,

когда сердце сосет: сладко и тошно, точно женщина тебя гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец! А сейчас у вас хвост трубой, мне и завидно. Что же: ваша взяла! Эх, Ранса, Ранса!

— А так, говоря начистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда не прочь, только надобно ее посмотреть,— сказал Растегин.

Узловатые от ревматизма пальцы Дыркина, который наливал чай, поспешно задрожали. Он живо наклонил голову, и мясистые уши его стали красными.

— Вам крепкого или среднего?— спросил он.— Я крепкого налью, все равно лимон съест.

В дверях в это время появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.

— Ранса, друг мой, подходи, не бойся,—вкрадчивым голоском забормотал Дыркин и засуетился, подавая стул.— Она у нас беда какая робкая... Святая душа, невинница... Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна, а ведь я ее из монастыря украл. Помнишь, Ранса, как по восьми часов службы простаивал! Английским пластырем ссадины на лбу заклеивал... Она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность... А внутри, может быть, адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей! Стал ей письмеца подсылать с разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. Помнишь, Ранса?

Дыркин вдруг выпрямился — сухонький, маленький, жилистый,— закатил желтоватые белки больших оттянутых глаз:

— Ах, Ранса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему ужасно способная. А есть ли у тебя душа, вот и не знаю! Честное слово, мучаюсь давно: есть душа? нет ли души? Верить хочу, верить! Тогда бы днем телесно мы наслаждались, а во время сна отлетали бы, устраивались на облачке и ласкались там с небесным изли-

шеством. Ведь у души моей нет вставных зубов и лысины нет никакой, ведь душой я, быть может, на древнего грека похож!

— Помолчал бы ты, дед,— сказала Раиса нараспев,— при постороннем, а похабничаешь,— она взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы. Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.

В первую минуту Александру Демьяновичу она даже не понравилась, но он смотрел не отрываясь на ее выпуклые, холодные, как драгоценные камни, глаза. Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригорюнясь, над стаканом, Раиса ела варенье. Под столом, свистя шелком платья, двигались ее колени, словно что-то волновало ее, лицо же оставалось матовым и спокойным, ему не передавалось никакое волнение. Растегина прошиб, наконец, пот. Вдруг Дыркин придвинулся к его уху и зашептал:

— Одним чудовищным воображением ее при себе держу, честное слово! Только чуть порозовеет, вот и все. Замечательно! Потребовала раз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки ей — красный зонтик, и так въехали в город. Все рты разинули. В театре ложу тем же бархатом велел околотить,— гляди, мол, какой зверь сидит! Весь театр у нее перебывал; жены взвыли! А ночью велела себя по всем заведеньям возить. Впереди на извозчике еврейчика достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом-румыном, а затем — я, помещики и гимназисты какие-то увязались... Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына, совсем голого.— Дыркин захихикал, вскочил и, проговорив, что идет распорядиться насчет постели для гостя, выбежал мелким шагом.

Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта,— это была круглая ложечка с витой ручкой, держали ее два пухленьких пальца, а пятый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел ей в лицо: оно было мрачное теперь; «батюшки, людоедка»,— подумал он; ее серые глаза точно опутывали паутиной, в них не было ни жалости, ни нежности. На-

конец ему стало не по себе и тесио,— он криво усмехнулся.

— Чего смеетесь? — спросила Раиса громко и просто.

— Так,— ответил ои.

— А зачем бреетесь?

— Так, бреюсь.

— Мужчнна усы и бороду должен себе отрастить,— на что вы похожн?

— Отпустить, конечно, недолго.

Тогда она медленно усмехиулась так, что ему стало сразу н неприлично и свободио.

— За каким делом приехалн,— проговорнла она,— хорош!

Ои живо пододвииулся со своим стулом к Раисе и захватил ее рукой за талню, шепнув: «Чего нам время терять!» — Тогда ее глаза сталн дикимн.

— Это что еще? — прошептала она, отодвигаясь.— У нас ведь работников шесть человек, кликиуть недолго. Дедуля,— обратилась оиа к двери (Александр Демьяиович жнво обернулся и увидел внимательио высовывающегося из соседней комиаты Дыркииа),— кого ты ко мне прнвез? — И оиа подобрала платье н вышла.

Дыркин появнлся из-за двери н после довольио едкого молчания проговорнл:

— Собственно, за кого вы меня принимаете?

— Помилуйте, вы самн давалн намек.

— Намек? На что я вам намекал? Не помию. Вы где? В публнчном доме? Эх вы, молодой кобелек!

Растегин стоял, опустнв голову; он был сбнт с толку, растерзаи сердечно, и уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажинком — естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.

— Идите спать,— проговорил он,— и поминте: только игрой воображения и чувств можно добиться н себе местечка в женском сердце...

Алексаидр Демьяновнч сндел в ннзенькой ветхой комиате у светлеющего окна. Дом спал. Тикали часы. По двору, поросшему подорожником, шлн на озеро белые гуси. Впереди них гусак взмахиул крыльями и загоготал. У полуразрушенных ворот сидела сосредото-

ченная собака с усами; прн виде гусей она поднялась и отошла в сторону. За нзгородью над соломенной крышей поднимался дымок. Понемногу засвистали птицы в саду. Налетел ветер, зашумел листьями, посыпалась с них роса. Осветились вершины лип, и в окошко, гудя, ударилась пчела.

Все это было ужасно далеко от того временн, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз нли досадиое препятствие, он его просто огибал или опрокидывал. Ннчто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем, а здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть, как редьку, выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу, а порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя, или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни и что выдернуть его и выкинуть, как редьку,— нельзя.

Конечно, можно было взять лошадей н уехать в Москву, но в том-то и дело, что сделать это было трудно.

«Боже мой, эта женщина слопает и меня и шесть миллионов,— думал в отчаянье Растегин,— нарядить ее в горностай, в бриллианты, в райские перья — вся Москва сбежится смотреть: на Красной площади показывай! И живет она с этой отвратительной рожей, черт знает что такое! Тоже выдумал, поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные днваны,— сндеть на них, что ли, легче? А вот такая женщина без толку пропадает! Как ухватить? Хлопнуть ее ста тысячами, вот и все. Ведь не пойдет, нет! Ох, боже ты мой, что за женщина!»

Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время; вдруг за стеной раздался обиженный женскнй вскрик. Александр Демьянович вскочил, прислушнваясь, на цыпочках подбежал к стене и различил голоса Дыркина и Рансы.

— Ты чего не спишь? Ты все думаешь, ведьма! — шептал Дыркин.

— Да сплю же я, не щиплись!

— Нет, ты врешь, ты думаешь.

— Вот! Была забота! Привез какого-то бритого, он и посмеяться не может.

— Я тебе скоро офицера привезу, Раиса, в сажень ростом.

— Ох, привези, дедуля!

— Какая же ты все-таки дрянь, и ничему я тебе не верю. Я лучше от денег откажусь, а тебя на весь день запру в спальной, тварь постельная! А его ужо, после завтрака, за ушко да на солнышко, поезжай куда хочешь. Да, так и сделаю.

— Дедушка, а в пятницу по трем векселям платить.

— В саду кубышку поищем.

— Нет, дедушка, искать я не буду.

— Чего же ты от меня хочешь?— взвизгнул Дыркин.— Да ты ему совсем и не понравилась. Разве это мужчина? Износился весь, как старый хомут. Он мне сам сказал: «Мне, говорит, на женщин смотреть противно, а Раиса, говорит, ваша — пучеглазая и дура». Так и сказал.

Но Растегин уже не мог далее слушать. Он ударил кулаком по стене и закричал: «Врет, врет, врет, врет!» Сразу голоса притихли, Александр Демьянович постоял еще и со стоном повалился на постель.

— У меня с Раисой условие подписано, что держу я ее до тех пор, пока сам не изменю с другой женщиной. Да-с. А ночное приключение — не что иное, как блажь. Завтра же она сама руки мне целовать будет. Чересчур полна стала, особенно в груди, вот ее идеи разные и одолевают. Сударь мой, мы, старики, вас насквозь видим: сегодня блажь, а завтра слезы. А я к Раисе моей привык и на новые приключения больше не способен. На любовь же смотрю широко и без предрассудков. И вам искренно желаю успеха, но только условие одно, по-китайски,— пообедал и все там прочее оставил у хозяина, с собой ничего не унес, поняли? Погостите у меня недельку, и хорошенького понемножку. А Раису я не отпущу ни с кем.

Дыркин и Растегин сидели на лавочке в купальне, оба голые. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, порой она уносилась вбок

и вновь останавливалась, переливаясь золотой пылью вытаращенных глаз... «Ах, Ранса, Ранса»,— пробормотал Дыркин. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина, да он их и не слушал и поэтому невпопад спросил, потягиваясь:

— На какую сумму вам по векселям-то завтра надо платить?

Дыркин сильно потер себе волосатые ляжки, опустил на грудь седую голову.

— Тысяч на двадцать пять,— сказал он и, надув желтые сморщенные щеки, выпустил из них воздух.

Тогда Растегин начал торговаться. Дыркин отвечал:

— Нет, не могу, ей-богу не могу меньше.— И вдруг из-под морщинистых век его поползли две слезы.— О чем торгуемся,— сказал он,— я лишь взаймы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. А вы бог знает как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в щелочку да послушать, как вздыхают два любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.

«Фу ты, какой скользкий старикашка,— подумал Растегин,— нет того, чтобы начистоту»,— и ударил себя по голым коленкам. Надо бы лезть в воду. Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади его крякнуло, холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь. Отбиваясь от него, Растегин крикнул:

— Пустите, вы меня потопите!

Но Дыркин, приговаривая: «Нет, я еще сильный, я еще сильный»,— старался засунуть его голову под воду.

— Тону! — закричал Растегин и, уже задыхаясь, стащил с себя старикашку, добрался до мостков и поспешно вылез. Дыркин же барахтался и плавал по воде, как паук.

— Это шутки, это все шутки,— повторял он,— какой вы сердитый! У нас всегда так балуются во время купанья. Вот намедни на меня Окоемов наскочил,— потом откачивали.

Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк.

В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису, она лениво шла, задевая рукой за кашки, обрывая листья; ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками; батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух.

С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.

— Пустите же,— проговорила она медленно и точно с досадой; мягкий ее рот так и остался полураскрытым.

— Пожалуйста, пожалуйста, я схожу с ума,— повторял Растегин.

— А мне какое дело. Ах, да пустите же!

Шепотом, кое-как, он объяснил, что с векселями покончено, что ему разрешено здесь остаться, что времени терять нельзя, что он и все шесть миллионов к ее услугам, что глаза Раисы (хотя и на вершок от его глаз, но все такие же спокойные) не глаза, а бриллианты, бериллы, изумруды и прочее, что у нее не рот, а «безумный цветок», орхидея и прочее, что он, Растегин, убит наповал, погиб, он раб, сошел с ума и прочее и прочее.

Раиса, наконец, освободилась.

— Вы мало папашку знаете,— сказала она,— в том-то и дело, что он меня ревнует, не дай бог; ничего хорошего ждать от него нельзя.

— Раиса, я готов умереть сейчас, вот здесь у ног.

— Это все говорят, миленький, а что-то мне видеть не приходилось, лучше уж и не божитесь, а вот мне большая охота отсюда уехать, богато пожить захотелось. Бога гневить нечего — лучше моего житья здесь нет, всего вволю, и жить просторно, и никто меня за дуру неученую не считает. А у вас в Москве, чай, скажут: «Вот вывез бабу»,— так бабой и прозовут. А здесь — я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. А лежала я ночью и думала: охота мне мотором в Москве народ подавить. Уж не знаю, как и быть-то с вами.

— Раиса, что хотите, что хотите,— требуйте.

— Вот чего я хочу,— начала было Раиса, но вдруг оглянулась, вырвала руку свою из горячих ладоней Растегина и отошла.

По дорожке подбегал Дыркин, засунув большие пальцы в карманы чесучового жилета, рот его был перекошен и плотно сжат. Став перед Растегиным, он закричал визгливым голосом:

— Не доверяю, не верю. Чек, чек на руки сию минуту пожалуйте, и не на двадцать пять, а на пятьдесят, иначе милости прошу искать себе других развлечений.

Здесь же на садовом столике Александр Демьянович подписал чек. Дыркин повертел его, понюхал, поглядел на свет и убежал все так же бодро, заложив в жилет пальцы.

— Дедушка! — закричала было ему вслед Раиса, но он не обернулся. Она задумалась, потом пошла, сопровождаемая одуревшим Александром Демьяновичем, в конец сада и стала на плетень.

— Знаете что,— он к этому черту Окоемову поехал. Ах, мучитель, ах, тиран безжалостный! Уеду я от него, назло. Что за наказанье! — с досадой сказала она, слезла с забора и, дойдя до скамейки, уткнулась лицом в руки, затем вынула платочек из-за шелкового чулка.— Хотела было я над вами только посмеяться, теперь сама вижу — вы очень милый,— она положила руку на затылок Александра Демьяновича и поцеловала его в губы.

Раиса была совершенно непонятная женщина. Растегин ей не нравился, и она решила, что недурно бы за такого выйти замуж; когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его и Растегина: одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, бог знает, до гробовой доски. Ей представилось, что хорошо бы прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми перьями, и чтобы за шофера сидел седой полковник, обезумевший от любви. Она даже видела ясно, как из-под мотора вытаскивают толстую переехавную барыню с покупками. «А не лезь»,— думала Раиса. Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить.

Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые, и все свое хозяйство Раисе, женщине де-

ревенской, дочери писаря из соседнего села, представлялось невозможным.

Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз, обид же она сносить не умела; при этом он уж слишком поспешно выманил деньги у Растегина и, ясно, хотел устроить дебош при помощи Окоемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла.

Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстуке, вытащила ее и стала полегоньку колоть Растегина в нос; он блаженно улыбался.

— Несчастный,— сказала она,— ну чего же вы ползаете по траве на коленках. Идите на конюшню, скажите лошадей закладывать; скорей бегите, а то раздумаю.

Растегин убежал. Раиса приколола булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крылечке, пригорюнясь,— ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.

Внезапно Растегин появился из-за угла дома.

— Мерзавец кучер не дает лошадей,— сказал он взволнованно.

— И не даст, это папашкины штуки,— ответила Раиса и стукнула сердито по чемодану.

— Что же делать?

— А я почем знаю. Вот-вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, страсть!

Все же Раиса очень разгневалась. Она ушла бы теперь хоть пешком из дому. Пока они пререкались на крыльце и спорили, послышался колокольчик и топот бешено летящей тройки.

Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели не ожидаемые озорники, а Чувашев, стоя в коляске.

— Скорее, скорей,— закричал он, выпрыгивая и хватая Раису за руку,— ты ведь тоже едешь? Молодец баба! Я их версты на три обогнал. Едем прямо к дядюшке моему, Долгову. Туда они не сунутся.

Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашев сел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли за ворота, мимо изб, прямо в степь.

Небо заволоклось, погромыхнвал гром вдалеке. Молча сидела Раиса, опустнв голову, завериувшнсь в турецкую шаль. Растегии прнвставал и оглядывался. Позади, иад прнгорком, появнлась пыль.

— Гонн, гонн,— закричал не свонм голосом Растегии, хватая кучера за воротник.

6

В темиоте, в березовой старой аллее, медленно шли Щепкнн и Долгов. Щепкии обиимал друга за плечи; ои был сед, стар и сутул. Оба осторожио ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолкая, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молння. Щепкнн глядел, как свет ее, проиикая под лиственные своды, заливал мгиовенно пегие стволы берез и лицо Долгова; оно было тоже сморщеииое, с длинными усамн, со спутаииой бородой и прищуренным от иеожиданиости глазом. Все это появлялось н вдруг нсчезало, и гром носнлся раскатами над притихшнм парком. И сиова молння вылетела из нагроможденных туч; а вот три огненных столба быстро опустилнсь до земли; вот с севера раздвинулось, раскрылось полнеба; но не было ни ветра, ии каплн дождя.

— Представь себе, ведь я очеиь стар,— говорнл Щепкни,— должно быть, я по рассеяииости позабыл помереть, да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суете. Посмотри,— он подиял палец, и в ту же мииуту в небе возиикли, разорвались, брызнули огнем н загрохотали два огромных шара,— все это лншь пустой эффект, но очень возвышает душу.

— Трахиет вот такой эффект в соломенную крышу — беды не оберешься,— сказал Долгов.

— Иногда есть у меня даже потребность поужниать с друзьямн, выпнть вина, но, конечио, если я нмею право на это. Но я иикогда не мог оправдать ничего из своей жизии, ие хватало дерзости. Ясио тебе? Для меня это ясио. Нынче мииуло пятьдесят лет, как я ушел от Веры Иваиовны. Страино, у меия до снх пор сомиенне — хорошо ли я поступил тогда, пожертвовав моим и ее чувством? Я ие жалею, а раздумываю, нужно ли было все-таки так преиебречь всем

или оставить что-ннбудь и для себя, доставить себе простое удовольствие, раз все пошло прахом. Нехорошо дожить до восьмидесяти пяти лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние, предаешь забвению и жалости все самое высокое. Ты пойми, вникни: у Веры Ивановны были красота н талант, а я был только владетель семисот человеческих душ. Я не мог увезти и заточить ее в деревне, лишить театра н города, я не имел права для своих удовольствий заставнть работать семьсот человек,— каждый из ннх был такой же, как я. Ах, ты еще молод слншком, я тебя уверяю. В то время дворянство сознавало свон обязанности. Оно понимало, какую внну должно было искупить перед народом. Ни одного движення мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А если и делали что-либо по слабости, то очень раскаивались. Мы во всем каялись. Я сказал Вере Ивановне, что мой отъезд в деревню пусть будет первой уплатой долга; я думал, что она будет наезжать ко мне, а пройдет лет десять, и совсем переедет. Она очень плакала тогда... Какая странная и мнлая женщина! Но все же она была у меня только два раза. Город ее соблазнил, в нем слишком быстро сгорают; а я, как старый хрящ, жнву н живу, никому уже больше не нужный. А все — это гроза. Надо же было раздуматься! Посмотрн, там тоже вечная борьба, и молння, н грохот. Мне представляются там темные н белые всадникн, они поражают, топчут друг друга, гремят щнты о щиты, падают копья,—и нет победы никогда, нн на чьей стороне.

— Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало, и сейчас дождик припустнтся, уж это я знаю. Ах ты, господи, весь покос прогннл,— сказал на это Долгов,— ты прости, что я отвлекся, я слушал тебя вннмательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужнкам землю, больше того — пятьдесят лет работал на ннх. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают... Ах, черт, кадку-то я не перевернул...

Последнее восклицанне относилось к дождевой кадушке. Ее нужно было перевернуть и поставить под водосточную трубу. Чертыхнувшись еще раз, Долгов освободил плечи от руки друга и пропал между деревьями в темноте. Щепкин прислоннлся к березе и поднял голову.

Узкое, с горбатым иосом и большими глазамн бритое лицо его то появлялось в свете молнний, точно камеиное изваяние, то исчезало; иачавший налетать ветер приподннмал седые волосы над его высокнм лбом.

«Нет, нет успокоения,— думал Щепкии,— быть может, так до коица н иужно быть смятениым. Но, господи, нужио мне, хочется иичтожной оплаты, хотя бы мннуты высокой радости».

Тяжело ему было иыиче еще и оттого, что на диях состоялись торги на последние оставшнеся семь десятни земли н полуразвалившуюся усадьбу; неизвестно было, где теперь дожнвать днн,— никто ведь не возьмется кормить старого, иегодного мерниа Урагана да еще более древнюю дворовую собаку Жука.

Неподалеку завозился и несколько раз шепотом чертыхнулся Долгов; Щепкин опустил голову и улыбиулся; он очень любил своего друга, хотя и полагал, что у него чего-то не хватает,— крепостн ли нет, нли мало веры, нлн слишком он издерган и вместо главиого заиимается часто пустякамн.

Действительио, ндет ли, иапример, Долгов в коитору к мужикам,— на середние двора остановится и побежит в клеточиых своих брючках иа коиюшню, ио, ие дойдя до коиюшнн, уже лезет через забор н, глядишь, изо всей силы тащит репейник нз цветочной клумбы. И все это делает, иегодуя иа себя, угрызаясь. Поэтому главиым душевиым состояннем его было «самоедство». В кабннете у него на столе, между ворохом книг, счетов, записных книжек, мундштуков, ручек, карандашей и прочей мелочи, стоял хрустальиый стаканчнк, и в нем — дедовское гусиное перо. Этнм пером дед сводил счета — копейка в копейку, ничего не забывая.

Каждый раз, глядя на это перо нлн гусей, что прохаживаются по кудрявой мураве, чертыхался Долгов, понимая, что сельское хозяйство возможно только прн отличио оборудоваиной бухгалтерин.

Но едва ои, надев очки, прииимался за приходорасходные кннгн н счета, как от ничтожиой прнчины — например, прн чтении записи: «Хомутов отдано в ремонт шесть штук рабочнх» — мысль его незаметно перескакивала на нной предмет, и Долгов снлился вспомннть, по какой линии столбовые дворяие Хомутовы с ннм в родне.

А спустя час он уже заставал себя за чтеннем мемуаров; н вновь с пущнм угрызеннем приходилось повторять, что без правильно поставленной бухгалтерии сельское хозяйство продолжать нельзя. Мылся ли он в уборной, копался лн в бельевом шкафу, нли тщетно старался поздно ночью раздеться и лечь спать — все равно приходилось чертыхаться, понимая, что на пустяки времени уходит уйма, а на нужиое н должное его нет.

До сорока семн лет он так н не собрался женнться, хотя в этой областн былн у него самые жестокие коифликты; девица Рубакина в прошлом году прнехала к нему сама н потребовала брака. Долгов, очень этим смущеиный и озабоченный, принялся ее благодарнть (оии гуляли в саду), но иа среднне одного плохо связаиного предложення заметнл, что клумба с петуниями ие полнта, н убежал за лейкой; на полпути он уже отвлекся другой идеей — о выпущенных в огород телятах, побежал на огород, н далее — пошло цепляться одио к одному, как обычно; он вериулся в сад только к вечеру; девица Рубакнна, глубоко уязвленная, давио уже и навсегда покинула его усадьбу.

— Простн, пожалуйста... Я продолжаю тебя слушать внимательно... Эта проклятая кадушка куда-то закатилась,— проговорил Долгов, появляясь нз темноты,— у меня в каретнике течет... Нет, я не то хотел сказать. Понимаешь — Ивановка горнт. Надо бы послать туда машнну... Пойдем, пойдем...

На задием крыльце стоялн бабы н рабочие, на крыше торчали мальчншки, все глядели в стороиу, где, за плетнем и гумнами, над землей танцевалн красные языкн пламеии; не было видно нн дыма, нн зарева, казалось, что здесь, в ста шагах за ригой, появнлось это бесшумное пламя.

Вдруг пошел сильный дождь. Мальчншкн закричалн на крыше, бабы заохали. Долгов влез иа кадушку н повторял: «Ай, ай, ай, вот онн, соломенные крышн»; затем он соскочил и убежал делать распоряжения, крича, бранясь н путая нмена рабочнх.

Дождь пошел снльнее; за его летящей сеткой огоиь казался более красным, н вдруг появнлось сияние. Замолкшая было гроза снова полыхнула над пожарнщем, загрохотала, и вот из огия поднялся высоко шн-

рокий язык и рассыпался искрами. Повалил багровый дым; появились тени на траве. Бабы начали голосить. Вдалеке на дворе бранился Долгов, сидя на бочке.

Щепкин отвернулся и пошел в дом: горело его село, на которое он положил всю свою жизнь; кончался последний акт комедии, догорали карточные домики, и опускался на них дождевой занавес. Щепкин прошел в летнюю, маложилую гостиную, сел на кожаный заплесневелый диван, прислонился щекой к нему и в темноте и тишине натужно, с болью, заплакал.

В то же время Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка: догорали избы, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась еще одна изба — крайняя, и на ярко освещенной с одного бока деревянной колокольне били в набат.

Бочка скакала по сплошной багровой воде вдоль плетней. Вдруг неподалеку послышался отчаянный крик о помощи. Долгов соскочил в грязь, приказал работнику гнать на пожар, сам же побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы, место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озеро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых лошадей и перевернувшийся экипаж; около него возился человек в чапане, другой стоял и кричал: «Помогите!» На кочке, в воде, сидела женщина.

— Что такое, что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где дорога. Черт знает, что такое! — прокричал Долгов, подбегая.

Человек, кричавший о помощи, подошел к Долгову и, не попадая зуб на зуб, проговорил:

— Я — Растегин, Александр Демьянович, дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать и очень сердится; с нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.

Долгов наклонился над женщиной, сидящей в воде, и воскликнул:

— Э, да это Раиса. Опять приключение? Вылезай, вылезай, нечего кобениться. Отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу, кучер дорогу знает...

Раиса от злости продолжала молчать. Ее вытащили из воды, посадили в экипаж и поехали шагом вдоль горящего села в Долговку.

7

Долгов остался на пожаре; Растегин и Раиса только за полночь добрались до его усадьбы. Чувашев же пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича, потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул.

Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда принесли горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, разделась и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелестей, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его не переставая ругала подруга, и лез то с медным тазом, то норовил поцеловать ее в шею, за что получил по щеке.

Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой, думая: «Вот странные люди, даже вода не охладила у них пылу».

Пить чай явился один Растегин в ватном долговском пальто и валяных калошах; Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню, легла на его постель и сказала, что не вылезет из нее, пока ей не сошьют нового платья.

— Что вы, мой ангел,— сказал ей Растегин,— откуда я вам достану здесь платье, нам бы только до Москвы добраться.

— А мне какое дело, доставайте, где хотите, только модное,— ответила Раиса со злостью, и когда было он полез ласкаться, стукнула его коленкой, сказала: — Не встану — год здесь пролежу, и эту рухлядь Долгова еще полюбовником своим сделаю,— затем расшвыркала подушки и легла к стене лицом.

Все это Александр Демьянович объяснил Щепкину за стаканом чая; рассказал также историю похищения Раисы, вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги; они скакали по степи, пока земля не осветилась заревом пожара; около каких-то деревьев экипаж въехал в воду и перевернулся, все полетели в грязь; Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.

— Одного я боюсь, что Дыркин и Окоемов явятся сюда, прибьют меня и увезут Раису; я всего жду от

здешних людей,— сказал Растегин, боязливо оглядываясь на окно, за которым в темноте шумел дождь по листьям.

— Вы, конечно, имеете резон опасаться некоторых из помещиков,— ответил Щепкин,— современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков — крупных простых кулаков и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов, а есть такие, что принуждены продавать своих любовниц, чтобы свести концы с концами; раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание хотя и поспешно, но не лишено основания.

Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу; если бы не поздний час, не потрясения этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.

Александр Демьянович ответил ему, зевая:

— Все это верно: теперь купец пошел — большая сила... Но не в том забота! Ах! Женщины, женщины, знаете! Ну откуда я Раисе платье возьму?

В это время в столовую вошел Долгов в одном полотняном белье, только что смененном; расправив усы, он сел перед налитой чашкой, хлебнул из нее, сказал:

— Сгорело двенадцать дворов; ах, черт, пятый пожар с апреля месяца.— Затем принялся осматривать Растегина, повернулся на стуле и внимательно оглядел своего друга, спросив: — Поссорились, что ли?

— Я приустал немного, что-то у меня с сердцем, я, знаешь, пойду,— ответил Щепкин и вышел, сильно сутулясь.

— Смешной старик,— сказал Растегин.

— Нет, не смешной,— ответил Долгов,— а вот вы смешной.

— Я просто в преглупом положении: заехал с женщиной в незнакомый дом, едва не потонул, не сломал шею, какие-то дикие люди за мной гоняются; а вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Чего считать. На деньгах стоим; а только здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!

— Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным? — спросил Долгов.

— Да, разговор у нас был жалкий, верно.

— Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда,— сказал Долгов, опять залезая в огромную чашку с чаем,— мы вряд ли поймем друг друга; я стар, Щепкин еще старее; лучше мы уж погибнем при своем негодном, а вы живите... Что вам нужно — самое необходимое?

— Платье Раисе нужно да лошадей до вокзала, чего же еще...

— Ах да, платье... К несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты... А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами; я думаю — не разберет Раиса, было бы шелковое.

— Боже мой, да это все, чего я искал! — закричал Растегин.

Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листах опутавшей ее повилики еще горели большие капли. Поваленная пшеница поднималась, а на мелком подорожнике, затененном стеной хлеба, оставались сизые полосы от шагов.

По мокрой траве, часу в восьмом утра, Щепкин шел пешечком из долговской усадьбы в свою.

На нем была люстриновая разлетайка и помятый картуз, из-под которого до плеч висели седые волосы. Наклонив худое и горбоносое лицо, он поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутое в них облако, на полосы хлебов, на зеленые конопли вдалеке и за ними — соломенные крыши Ивановки.

Много лет видел он все это и каждый раз с новым очарованием поднимал глаза, и в него словно вливалась вся эта красота вечным и разумным покоем.

И каждый раз казалось, что вот еще мгновение — и вдруг исчезнет последняя преграда, и, хлынув в него потоком, солнце, небо и влажный свет земли растворят его старое, ненужное тело. Между ним и этими полями осталась последняя тонкая преграда. Она еще мешала радости последнего покоя, будто земной путь не совсем был пройден, осталось совершить какой-то последний утомительный долг. «Вот что значит про-

вести бессоииую ночь,— думал Щепкии, входя в коноплн,— что это за последний долг? Какие у нас долги? От излишией гордости думаем, что должиы кому-то; упал дождик, и просох, был деиь, и нет его, так и я...»

Ои улыбиулся, сорвал метелку коиопли, растер в ладоиях зериа, поиюхал и поглядел иалево, где за колокольией иачииалась куща барского сада. Здесь прожил ои семьдесят лет, и за все эти годы так и стояли коиопли, за иими крыши, колокольия и зелеиый сад. И ему представилось, будто его жизнь проиеслась иад этими местами, как вчерашияя гроза,— прогремела и ушла; земля же, коиопли и крыши остались теми же.

«Все-таки иарод сильио измеиился,— думал Щепкии,— теперь мужичкам иаших чувств ие иужио, без иих обойдутся, умиые стали сами и скрытые; деревия — как маховик: только поверии ее, потом ие остаиовишь».

Ои вышел к плетиям и повериул иа широкую, пустую сейчас улицу, к церковиой ограде. По свежей грязи бежали мальчишки, ржали и брыкались. «Старый тетерев, старый тетерев!» — закричали оии.

«Действительио, я похож иа старого тетерева»,— подумал Щепкии и поклоиился Аитипычу, рыжему мужику в розовой рубахе, заиявшему плечами и головой все окошко в избе.

— Здравствуй, батюшка барии,— сказал Аитип, почесал бороду и перебедиился весь в окошке,— а мы погорели малость, беда такая, уж я до твоей милости — в саду лесиику одиу присмотрел, срубить бы ее, а то зря пропадает.

Аитип был мужик богатый и первый кляузиик иа селе; ои постояиио кляичил всякую малость у Щепкииа, а когда ие кляичил, то судился, и ои же был главиый вииовиик теперешиих торгов. От пожара Аитип ие пострадал иичуть и кляичил сейчас лесиику — так, потому только, что увидел бариина...

— Стыдио тебе, Аитип, вот что,— проговорил Щепкии, затряс головой и постукал тростью.— Подожди, скоро все твое будет...

Ои быстро пошел вдоль изб и в переулке увидел пожарище; ему ие было ии досадио, ии больио, как вчера.

— Мужик прав, ему нужна лесина, а мне не нужна,— повторил он, по обычной своей привычке, вслух; но все же давешний покой пропал, и была потребность хоть немного посетовать.

Через калитку в каменной изгороди Щепкин прошел через аллею на круглый двор. Посредине его, обнесенные чугунной решеткой, поднимались старые пихты и ели; между стволами просвечивало кое-где стекло разрушенных оранжерей.

Вдалеке полукругом стояли ветхие службы, а направо — деревянный некрашеный дом в два этажа. Окна были неровные, одно выше другого, только три внизу и два вверху были раскрыты, остальные зашиты досками, замкнуты ставнями. Парадная дверь открывалась прямо в бурьян, в нем была протоптана узенькая тропинка.

Около двери, обшитой рваным войлоком, стояли Ураган — карий, в шишках, старый мерин, и каштановая собака. Оба они глядели на дверь, из которой каждое утро выходил хозяин, вынося сахар и хлеб. Увидев же Щепкина подошедшим с улицы, мерин и собака удивились. Ураган замотал головой. Жучка широко зевнула.

— Вы уж меня, дружки, извините,— сказал Щепкин,— задержался я по случаю грозы.

Он вынул из кармана сахар и хлеб, отдал их собаке и мерину. Затем еще раз извинился и вошел в дом.

Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар; остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и даже полезным. От мяса же отвык давно. Бывая у Долгова и не желая обидеть, он ужинал иногда, но каждый раз после этого страдал. Одно его заботило — зимние холода, и каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав бо́льшую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных глухих шкафах, ключи от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.

Пройдя сейчас в библиотеку с окнами в сад, он опустился в кресло, вытянул уставшие ноги и положил руку на кипу журналов, заваливших круглый столик.

Здесь были — «Современник», «Сын отечества», «Москвитянин», «Вестник Европы», «Неделя», Герцен, Спенсер, Бокль, Милль, Адам Смит и прочие и прочие хорошие, идейные, верные книги; в них было видно, как за несколько десятков лет бурлящий в идеальной и романтической пустоте дух человеческий осел, наконец, в виде практического и трезвого смысла... Щепкину казалось, что вся его жизнь — мечты, отречения и труд — запечатлены в этих кипах пыльных книг. Он сам пережил и осуществил мечты сороковых годов, и горячую очистительную работу шестидесятых, и тусклое, бездеятельное томление восьмидесятых, и новое, как откровение, ясное, как кирпич в руке,— учение Карла Маркса... Он два раза беседовал с Герценом и портрет Михайловского всегда держал на столе. Трогая и перелистывая старые книги, он точно оглядывался на себя, будто весь долгий путь его иа земле был всегда с ним в этой круглой, уставленной высокими шкафами, покрытой пылью комнате, освещенной солнцем сквозь темные ветви лип.

Увлечение Марксом окончилось у него неожидаино жестокой тоской. Щепкин счел это слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, почувствовал, что нельзя просто лечь в землю, забыть все, покоичить со всем: слишком много было прожито, чтобы все это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. В сущности, живя для других, он жил для какой-то высшей цели, и вот то, что находится в этой цели,— больше всех общественных идеалов, больше, чем вся земля, и это не хочет и не может умереть.

Возмутился Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое зиачение. Ои принялся читать те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.

Сейчас, поглядывая то в окно на запущенный и еще мокрый сад, то на милые книги, то на желтую и костлявую руку свою, лежащую на «Сыне отечества», он думал, что все это придется оставить и почти перед концом приняться за утомительные заботы о желудке, о мерине и о Жуке. «Вот оно, барство, и сказалось,— думал он,— как его ни вытравляй — всегда подгадит. Всем хочется отдохнуть, да не всякому отдых нужен, мне же он, пожалуй, и вреден. Вот я все думал — что мне нужно сделать последнее; теперь знаю — принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться из-за идеи всякому приятно, а вот безо всякой идеи поступлю на двенадцать рублей жалованья, вот это так! В пастухи могу наняться, тогда и Жук и Ураган будут пристроены...»

Но все же ему было обидно, хоть и сдерживался он и попрекал себя, сколько мог...

На дворе в это время залаяла собака и послышался хруст колес по аллее. «Кому бы это быть?» — подумал Щепкин.

Он очень любил гостей: в каждом новом человеке видел единственные, неповторяемые качества, искривления души, новую, всегда бесконечно привлекательную форму. Поэтому он бывал благодарен заехавшему к нему, старался сделать приятное, подарить что-нибудь из вещей и каждый раз, извиняясь за невозможность угостить, трогал холодный самовар и говорил: «Ах, вот досада».

Жук перестал лаять, хлопнула вдалеке дверь. Щепкин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека, сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.

— Где у тебя кованый сундук на трех замках стоит, вот мы зачем приехали,— проговорил Долгов,— я видел его лет десять назад; иди, иди, показывай!

Щепкин стал извиняться за беспорядок, припоминать, где может стоять сундук...

Вдруг Растегин воскликнул вне себя:

— Послушайте, у вас — музей, вы ничего не понимаете!

— Да, это еще крепостные работали,— ответил Щепкин,— вот это Федор, а то сделано Степаном, о

нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь; труда на него положено много, пользы — никакой...

— Варварство! — завопил Растегин.— Целая культура у него в дому гниет, а он говорит о пользе, да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам!

Щепкин испуганно поглядел на Растегина.

— Как, это кресло вам дороже освобождения крестьян? — проговорил он и потер, точно согревая, ладони.

— Фарфор, черт меня возьми, екатерининский: Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод! — уже вне себя вопил Растегин.— Слушайте, я все покупаю, давайте цену... Поскорей показывайте платья, фарфор, бронзу, кружева, плачу за все. Боже мой, это павловский стиль, смотрите, чистая Елизавета...

Его повели в чулан, где он со стоном схватился за голову; открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платья, платки, кружева, истлевшие туфельки; вскрикивая, взглядывая на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обозвал Щепкина телятиной и еще чем-то,— завернулся в персидскую шаль.

— Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену — десять тысяч, пятнадцать, только — чтобы расписка была, чтобы видели, а то, знаете, у нас в Москве ничему не верят...

— В сущности говоря, эти вещи не продажные, это все моей матушки вещи,— заикнулся было Щепкин.

— Двадцать тысяч! — воскликнул Растегин, вытаскивая чековую книжку; при этом он так наступал на хозяина, что тот прошептал, испугавшись:

— Ну, хорошо, хорошо.

Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платья, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы, затянутой паутиной; чек на двадцать тысяч дрожал у него в руке.

«Фу ты, как все это скоро,— подумал он,— что же мне теперь делать с этими деньгами?»

Он подошел к пыльным шкафам, где стоял фарфор; с удивлением, точно первый раз, поглядел на мебель; в раздумье остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.

«Ну, конечно, все это Долгов подстроил,— подумал он,— но зачем же столько было дарить, мне достаточно было и тысячи рублей».

Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и нудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чаек за чтением «Крестового календаря».

— Да, жить можно в свое удовольствие,— проговорил он,— еще лет десять, пожалуй, отмахаю! Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему полсотни на семена, а дети малые ручку будут у дедушки целовать. Где бишь я об этом читал? Именно вот про такого старичка приятного,— всю жизнь он трудился и не роптал, а на склоне лет получил от господа бога милость и благодеяние на радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам! И то, отдам! Что-то уж очень противно.

Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы и, подмигнув Урагану, отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда, и птицы — иволги и дикие голуби — пели в саду райскими голосами.

9

Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами,— скакал во весь дух к железнодорожной станции.

Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях, он поручил это сделать Чувашеву, сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда.

Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегнн вертелся на подушках, вне себя от нетерпения н радости. Поездка удалась, как он и не думал; сердце у Рансы прошло, она была даже приветлива, только иногда глаза ее неподвнжно останавливались на спнне кучера, но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, наклонясь к маленькому уху, он спрашивал:

— Скажн, моя велнколепная, чего тебе еще хочется?

— А я сама не знаю,— отвечала Раиса.

— Ты моя мечта, ты мой эксцесс,— шептал он ей в губы.

— А мне так не нравится, как вы меня называете,— отвечала она, отворачиваясь,— зовнте лучше Раисой!

— Когда ты будешь моей?

— Ишь как торопитесь! Когда захочу, тогда и буду.

— Я не доживу до этого дня.

— Жнлн до сих пор, ну и доживете. Чевой-то, как комары кусаются.

Комары действительно кусалнсь; самые сильные нз ннх и смелые поспевали за тарантасом, впивались в щеки и лоб, пнщали под самым носом, на морщиннстой шее у ямщика сидело их восемь штук.

В острых разговорах, в допытывании взаимностн незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо; точно вымытые вчерашннм дождем, появнлнсь на нем звезды. Невдалеке, в темном поле, показались желые и белые огни станцнн. Тарантас загромыхал по булыжнннку, мнмо крытых дерном погребов, и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, нзо всей силы зевая.

— Бери вещи, живо! — крикнул ему Растегин, высажнвая Раису.

Железнодорожный юноша посмотрел н ушел, ничего не сказав. Александр Демьяновнч покричал сторожа, возмутнлся, но все же ему самому вместе с ямщиком пришлось перетаскать ящнки из тележки в залу I—II класса.

Здесь между двух открытых окон стоял дубовый диванчик, перед ним круглый стол, покрытый черной

клеенкой. На нем горела лампа с круглым матовым колпаком; валялась шелуха от воблы, семечек и крошки хлеба. В глубнне, на прилавке, спал какой-то мужик, завернувшись с головой в полушубок. Раиса прилегла иа днваичнк, Александр Демьяиович сел напротив нее к столу. В открытые окиа влетало и улетало такое миожество комаров, что воздух звеиел от их писка. Раиса медлеиио иатянула на лицо себе платок н, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться. Растегнн прниялся было утешать, ио она ответила: «Оставьте меия, пожалуйста»,— н ои вернулся иа место, ио сейчас же вскочил: комары пропнхивали голодиые носы сквозь пнджак, а ноги горелн, как обожжениые.

Разыскнвая иачальника станции, Алексаидр Демьяиович попал в иебольшую комиату, где тикал телеграф и стояли два красных аппарата вроде турецкнх памятников, у каждого из середины торчала иебольшая трубка с раструбом.

— Эй, где тут начальинк станцин? — громко спросил Растегни,— ои стоял посреди комиаты и прислушивался. Вдруг одиа трубка заревела басом: «У-у-у-у-у», а другая заквакала, как лягушка. В пустой степи какне-то трубкн; Растегииу стало не по себе.— Эй, сдохли бы вы все, что ли! — закричал он злым голосом. Накоиец из малеиькой двери вылез толстый, небольшого роста молодой человек в голубой расстегиутой рубашке; сильно почесывая волосы н щурясь на свет, он подошел к аппаратам; красиые щеки его, губы, подбородок н живот были такне толстые, точио их нарочно оттягивали от нечего делать. Растегин спросил, когда же будет, иаконец, поезд.

— Поезд? — переспросил молодой человек.— Поезд, зиачит, опоздал. Зиачит, это, как его...— Ои покряхтел, затем обнделся и сказал: — Что вы хотите? Сюда посторонним лнцам вход воспрещается. На семь часов опоздал. Ах ты, пропасти на инх иет,— н он опять ушел в малеинькую дверку.

Растегни в отчаяиин вериулся к Раисе.

— Так ты за этнм меия сюда прнвез? Комаров кормнть? — сказала оиа ему из-под платка.— Ах ты бессовестиый!

В тоске Александр Демьянович то вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на перрон. Здесь было еще гаже,— темно, сыро, далеко до рассвета, в небе торчали все те же звезды, на земле блестели две пары рельсов. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожи, хоть бы накричать на нее со злости.

Часу во втором утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящиков, просматривал старый альбом с незнакомыми фотографиями давно умерших людей. Услышав колокольчик, он сказал:

— Раиса, голубушка, приободрись немного. Вот еще кто-то едет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом.

Неожиданно Раиса не только приободрилась, но, словно с большим волнением, приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился и спросил поспешно:

— Что такое?

Раиса опять закрылась платком, вся вздрагивая, но, должно быть, не от слез на этот раз, а от смеха. Колокольчик прозвенел близко, бешено зазвякали подковы, затрещали колеса. Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Окоемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дыркин.

— Папашка,— закричала Раиса со смехом,— я здесь, ей-богу! — Она сидела на диване, упершись руками в коленки и смеясь во весь рот.

Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Окоемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот, встряхнул один раз, спросил:

— Ты будешь к нам ездить? — тряхнул другой раз, повторил: — Будешь к нам шататься, чучело бритое? — тряхнул в третий и, ничего более не прибавив, повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона...

Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел, как в одном освещенном окне

обннмалнсь то Дыркин с Рансой, то Окоемов обнимал Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станцин в голубой рубашке.

Затем через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все шесть ящиков с фарфором и старнннымн вещами. После этого зазвенел колокольчик, протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затнхли. Небо засерело у краев н зазеленело. Александр Демьяновнч, опустив голову, сидел на ящике, ожидая поезда.

«Попадись теперь мне Опахалов, мазила несчастный,— думал он,— я ему покажу двадцатые года! Тоже — стнль выдумали, бездельники проклятые!»

Издали за лесом заклубился белый дымок, н долетел протяжный свист поезда.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащнй тайные, чрезвычайной важиостн военные докумеиты, был передаи Никите Алексеевнчу Обозову,— и передача докумеитов и посылка Обозова произошли втайие.

Порученне — долгая и опасная поездка за граиицу — обрадовало его; штатское платье, зелеиый, иа трех языках, паспорт, чемодан, бойко под коиец укладки щелкнувший замком,— все это были вестиики чудесных дией (оии иаступят — это ясио, когда в руке плед и чемодан).

Раио утром Обозов прнехал на вокзал, выпнл кофе и, ие беря носнльщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сиачала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложнл парусииовый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепнл его английскнмн булавкамн и с удовольствнем растянулся на бархатиой койке. Под боком лежали дорожиые киигн и журналы; он перелнстывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько страи и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндин, еще покрытых сиегом. В назначеииые часы в вагоие появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, прндерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежиую пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столнк и оглядывался.

Вот семейство простоватых аигличаи с тремя белокурыми девочками и ияией-японкой,— семья едет из Владивостока третью иеделю. Вот четыре чериобородых фраицуза, иизенькне, багровые; оии спросили бу-

тылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины, конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидал ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вына-

щив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее... Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении и безделии следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза,— у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь

этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любопытства, но внимательно,— мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, огибает север Норвегии и быстро растет: у Мурмана она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы,— и подняла на него мрачные ясно-серые глаза.— Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

— Отчего так? — затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу.— Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности.— Я ненавижу Россию, правда, правда,— и она засмеялась, держа не донесенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено,— говорила дама,— если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане, существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визг-

ливым голосом, ежеминутно наклоняя к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта,— уж, конечно, не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен,— и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: — Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это — не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немоглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика,— и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость,— ответил Никита Алексеевич добродушно.— А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали?! — спросила дама, немного слишком поспешно...

— Что вы так... для забавы...

— Я — одинокий человек,— помолчав, проговорила она и опустила глаза,— мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно.— Она передернула плечами.— Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь...— Она грустно улыбнулась.— Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдемте.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан — весь ее багаж,— усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки,— сказал он,— встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекати-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь,— проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы,— сказала она.

— Да, вы правы.

— Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили,— она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком.— Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо.— Никита Алексеевич рассмеялся.— Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблучок потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с норовом»,— и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том,— сказал он душевно,— я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя,— попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так раз-

махнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите»,— на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

. . . .

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то за-

носчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен.

Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

. . . .

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов вгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стишки даже читал... Фу!

Он крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее,— крикнул он,— здесь сугроб,— и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала,— проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окру-

жены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

. . . .

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя:

— Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой, чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно»,— подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» — и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно....

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство, конечно...— прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно опустилась.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла,

боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза — пропадал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышином жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас.— Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

. . . .

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня.— Положите пиджак,— сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

— Вам придется сойти на первой же станции.

Оиа ответила шепотом:

— Спасибо...

— Подождите,— резко перебил он,— я вас не пущу; сами поимаете — не я, так другой попадется. Сидите!

И оиа сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда ои, совсем уже ие зная для чего, спросил:

— Зачем вы врали?

— Я ие врала... Я вас люблю....

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поияв, что ои иичему теперь ие поверит, все же повторила чужим, иевериым голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точио соиным голосом она проговорила:

— Ударьте меия или убейте, не все ли равио. Когды вы меия поцеловали в сиегу — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дия. Ни одии человек не был мне так дорог. Я продажиая, воровка, я шпиоика. Вы моей жизни ие зиаете. Но перед вами я ии в чем ие вииовата. Милый, любимый, страсть моя...

У иее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикиул он, сжимая кулак.

Людмила Степаиовиа опустила голову, и ои услышал звуки,— оиа глотала слюну...

— Вы не одиа, с вами спутиик? — спросил он. Оиа кивнула.— Вы должиы были передать ему украдениые докумеиты? Ои в иашем поезде? Мальчишка в вязаиой шапке? Я так и зиал.

Он иарочио спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было иечем в купе. От сиието иеясиого света Людмила Степановиа, сидящая комочком, казалась еще меиьше и беззащитиее... Откашлявшись, ои сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, коиечио, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто — ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, иепоправимо! Уф!..» Бормоча и

спотыкаясь, ои пошел подальше от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, ие церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйте, вяжите меия, и был бы прав».

С площадки иеожиданио открылось Никите Алексеевнчу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склои гориой гряды, лежащей подковой, н глубоко виизу, куда отвесио падали скалы, расстнлалось огромное и длиииое озеро, залнтое луниым светом. Круглая луиа невысоко висела иад щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались чериыми и ослепительно-сиежиымн планамн.

Вдруг вагон иырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич иевольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, н в это время крепкие руки сзади охватнли его шею н с снлой прнгиули вииз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, иаваливаясь, и пальцы его с бешеной тороплнвостью мялн и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознаиие, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другой шарнт в кармане. Ои крепко схватил эту руку выше запястья, свериул, н она хрустиула. Нападавший замычал и рваиулся, увлекая за иоги и Никиту Алексеевича. В темиоте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входиой решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидио, у иападавшего была повреждеиа рука, ои слабел. Тоииель так же виезапио окоичился, и сильный луниый свет ударил в лицо. Обозов увидал зиакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда крнчншь и ие слышишь крика, когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба, так и сейчас ои приподнял противиика, швырнул его спииою о железиую решетку и разжал рукн. Юиоша ахиул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхвачеиное землей, перевериулось, подскочило и уже иеживым мешком покатилось по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел иа иего. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился иа разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон, дверь купе была открыта. Люд-

мила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

. . . .

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетавших лебедок, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпили кирок, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедок, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, ко-

паться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степановной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится,— думал он,— либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику. «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала,— до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйте за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь за медную штангу,— и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота.— Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю,— проговорила она хрипловатым голосом,— сядьте в ногах. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ногах, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да,— она подняла руку и погрозила,— я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, еслн бы не я. Вы все это н без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лнцо покрылось потом. Никнта Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщнна,— сказал он,— я не могу вас любнть. Ннчего у нас не выйдет.

— Вы не смеете так говорить о любвн.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово.— Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмнла Степановна, цепляясь за его рукав.— Почему вы меня разлюбнли? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотнк сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевнч глядел на нее. Она была слншком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну прощайте,— сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленькнй револьвер,— он дрожал н вертелся у нее в пальцах,— прнподнялась и стала целнться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечамн.

— Подымнте предохраннтель.

Тогда Людмнла Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубамн. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прнкрыл углом тнгрового одеяла ее ногн н вышел.

. . . .

Когда на следующее утро пароход подвалнл к пустынной набережной Нью-Кестля н нз ворот железного амбара вышлн агенты полнцнн, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увндел в толпе пассажнров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробнралась к трапу; здесь ее остановили, н чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделнлись два

равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» — пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк,— и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу. Когда вам понадобятся деньги — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

МИЛОСЕРДИЯ!

1

Когда после супа подали горошек, Софья Ивановна сказала, что больше ничего не будет, и ее припудренный носик, ушедший в щеки, глазки, когда-то хорошенькие, теперь совсем круглые и выцветшие, прядь волос, висящая из прически,— прядь, когда-то непокорная, теперь просто непричесанная,— все это задрожало в негодовании и в страхе непонятного будущего.

Владимир, гимназист, младший, с еще детской кожей, испачканной чернилами, взглянул на мать и покорно взял тарелку.

Николай, старший, тоже гимназист, усмехнулся и дернул костлявым плечом. Его большой нос, уже лоснящийся, и тщательно приглаженный пробор, и жилистые, почти мужские руки, и длинные рыжие глаза выражали полное недоверие и семье и всем вообще пережиткам, еще таящимся в таких затхлых углах, как квартира присяжного поверенного Шевырева, что по Сивцеву-Вражку. Николай взял горох, сказал: «Благодарю, мать», и съел его со вкусом.

Сам Василий Петрович сидел, наморщив большими складками лоб, и, не спеша, с точностью, повертывал в изящных пальцах стеклянную подставочку. От гороха он отказался, задумчиво покачав головой. Ему было все теперь безразлично: и испуганная глупость Софьи Ивановны, которая, спустя девять месяцев революции, продолжала по всякому поводу восклицать, сжимая полные ручки: «Ужасно, послушайте, это же ужасно!» — словно где-то еще в пространстве маячила смущенная фигура попранной справедливости; безразличны рыжие глаза и самоуверенная усмешечка Николая и вялый и безвольный Володька.

Семья, сидевшая за обеденным столом, между буфетами из мореного дерева, была обломками когда-то хорошо оснащенного суденышка; подхваченное зловещим ветром, оно заплясало на одичавших волнах, потеряло руль и паруса и выкинулось на мель.

Сейчас сидели на мели,— это всем было ясно.

Вне всякой связи с предыдущим, Софья Ивановна покраснела и, отодвинув тарелку, сказала:

— Володенька всегда был плох в орфографии, а с этим новым правописанием просто ужасно!

В ее руках появилась откуда-то снизу тетрадочка; она порывисто перелистала ее. Володя с сожалением видел, что тетрадь помята в судорожной материнской ручке и сейчас будет замазана соусом. Василий Петрович пожал плечами, подумав: «Наплевать». Николай, вычерчивая вилкой на клеенке буквы, сказал:

— То, что тебе кажется ужасно, мать,— через десять лет будет не ужасно. А ужасно то, что мы безо всякого здравого смысла расходуем время и память на пустяки. Это мое мнение.

Василий Петрович быстрее завертел подставочку. Николай бросил вилку и осторожно почесал пробор.

— Люди, переставшие расти физически и умственно, судорожно цепляются за всякий пережиток, хотя бы он был совершенно глупый.

На это Василий Петрович отвечал:

— Ты осел.

Но цели не достиг. Сын сейчас же выговорил с большим удовольствием:

— Благодарю, папа.

— Перестаньте, боже мой, как это ужасно!

— А я говорю, что он уже давно наглый осел!

— Я в этом не виноват, папочка.

— Виноват!

— Колечка, не спорь с отцом. Василий Петрович, Коля сказал только свое мнение...

Выпучив на сына большие глаза, Василий Петрович сильно барабанил пальцами; кровь приливала и отливала от его щек.

Вошла с чашками кофе горничная на таких высоких каблуках, что ноги ее точно не сгибались; поняв, что ссорятся, удовлетворенно поджала пухлые губки. Софья Ивановна сказала поспешно:

— Придется пить с медом. И говорят — меду совсем не будет.

Молча выпили кофе. Обед кончился. Гимназисты ушли: Володя — медленно, точно тянулся на резинке, Николай — решительными шагами, хотя было очевидно, что всего-навсего завалится на диван с книжкой. Софья Ивановна потопотала где-то по комнатам и затихла. Василий Петрович пошел в кабинет, закурил и стал у окна.

Стоял ноябрь тысяча девятьсот семнадцатого года, холодный, страшный. За мутноватыми стеклами неохотно падал редкий снег. Крыши, покатые, длинные, крутые, устланные белым снегом, во множестве уходили до мглистой полоски Воробьевых гор. Тени становились синеватыми, сумерки застилали очертания. Летали галки, прощаясь с белым светом, пронеслись у самого окна плотной стаей и рассыпались, взмыв в вышину, точно их швырнули.

Напротив, на гребень крыши, рядом с трубой, села ворона, такая большая, что казалась почти с трубу, и, перегибаясь, стала кланяться, открывать клюв,— каркала. «Вот разжирела ворона, должно быть, ей лет под пятьдесят, не меньше»,— подумал Василий Петрович.

Среди этого угасания, когда на крыши и улицы, на застывающее от тоски сердце неохотно падал снег, хороня и город и землю, как похоронил уже не один город, не одно царство,— в эти сумерки жирная, головастая ворона, похожая на переодетого черта, утешала немного Василия Петровича: все-таки что-то еще осталось от жизни.

Он закурил вторую папироску и стал ходить по ковру. Делать было нечего.

Делать было нечего не по его вине, конечно. Окончательно нечего делать, и за последнее время, с горькою усмешкой, Василий Петрович решил следующее:

— С юности я воспитывал себя для общественной жизни, мечтал стать полезным членом общества. Мои планы рухнули, мои способности и знания не нужны. Я вышвырнут из общественной жизни. Будем жить для себя! Вы этого хотели? Вы этого добились! Превосходно!

Это был вызов. Решительно порвав со старым, Ва-

силий Петрович обратился к самому себе, но и тут неожиданно получил щелчок.

Оказалось, что «я» Василия Петровича, некоторая первоначальная сущность, ему одному принадлежащая, пребывающая в его упитанном теле, одетом с утра в синий пиджак и золотые очки,— не признаваемая Дарвином, а тем более всей этой непонятной дьявольщиной, происходящей в стране,— душа Василия Петровича оказалась смятенной и малой до жалости. Не душа, а эмбрион.

Оставленный сам с собою, Василий Петрович растерялся. Действительно было из-за чего: культурный, умный, значительный человек превращался в пар, как снежная баба. Знания, воспитанность, вкусы, идеи, нравственные задачи — все это оказалось не нужно, даже враждебно сегодняшнему дню, даже преступно, так же, как год тому назад казалось преступным и враждебным отсутствие этих качеств.

Это значило, что эти качества относительны,— пар. А сущность, неизменная и вечная, та, что отличает Василия Петровича от всех других людей, была, как уже сказано, в зачаточном, почти полудохлом состоянии.

Его сущности не хватало: зубов и когтей, чтобы защищаться, отваги, чтобы быть безрассудной, и хитрости, чтобы вовремя прекратить безрассудство, мимикрии, чтобы, меняя цвета и форму, прятаться от опасности; не хватало зоркости, ловкости, быстроты и, главное, звериной, непоколебимой, пышущей жаром любви к себе, чтобы жить.

Он стиснул зубы: нужно бороться. Борьба за самого себя! Борьба во имя самого себя!

Он опять остановился у окна. Вдалеке в большом доме светом заката пылали, точно полные углей, множество стекол. Два купола Христа-спасителя протянули над городом два жарких луча.

И там, и там, между крыш, загорались иголки и луковки церквей.

Скрестив на груди руки, мрачный и нахмуренный, Василий Петрович глядел на город. Отсвет заката, ползя по стене, коснулся его лица, и лицо стало зловещим и багровым. И головастая ворона, казалось, двусмысленно кивала ему в окно с мерзлого сучка.

2

Софья Ивановна, сидя в гостиной на неудобном атласном креслице, под большим кружевным абажуром, штопала белье. Настали такие времена, что приходилось не только штопать, а выгадывать лоскутки, даже самые маленькие. Ее пухлые пальчики проворно втыкали и вытягивали иголку; время от времени она поднимала голову и оглядывалась.

На стене висели эстампы в дорогих рамках, в углу — мраморный бюст Карабчевского, патрона дома, карельская мебель — под старину, с бронзой, рояль, прикрытый занавесом из парчи. Все это было знакомо, дорого, пережито. И все же сейчас было что-то странное во всем, дикое.

Столик с инкрустацией перестал быть просто редким столиком,— он, словно исподтишка, четырьмя своими ножками норовил лягнуть революцию,— в нем было недоброе начало; рояль был слишком богат, занимал много места; в лакированных рамах, бюсте, в люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним временам; вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им несвойственный: они стали опасны.

И Софья Ивановна чувствовала себя в чем-то виноватой. Покосится на канделябр и сейчас же начнет извиняться мысленно: во-первых, стоил он недорого — по случаю, а главное — все своим горбом нажито, да и вещь-то в конце концов не особенно ценная. Сидеть и шить было жутко и неуютно. Софья Ивановна погружалась в хозяйственные соображения, не менее горестные. Мелькала иголка. За стеной Володя зубрил алгебру, ясно, что плохо ее понимал бедный мальчик. И принесет ли ему счастье в жизни эта алгебра? Нет ли и в ней какого-нибудь тайного и опасного умысла?

Порывшись в кошельке, Софья Ивановна отложила Володе два рубля на кинематограф. Вошел Василий Петрович, тщательно причесанный и в сюртуке: куда-то собрался, на ночь глядя, в такое время.

— Ты что делаешь? — спросил он.— Я ухожу, вернусь поздно, можешь не беспокоиться. Да, вот что: передай, пожалуйста, Николаю, что я на него сердит. Мальчишка слишком возомнил о своем уме. Взял со мною недопустимый тон, как равный. Прощай.

Проходя по коридору мимо двери Николая, Василий Петрович остановился, поморщился, поправил очки, проговорил сухо: «К тебе можно, надеюсь?» — и вошел.

Сын валялся на диване с книжкой; около, на стуле, лежали папиросы и фотографическая карточка; он поспешно перевернул ее лицом вниз и приподнялся на локте. Василий Петрович затеребил бородку, покашлял и чрезвычайно неприятным голосом сказал:

— Ты много куришь, это вредно.

— Я не особенно много курю.

— Вот видишь, Николай, за обедом мы поссорились. Скажи, пожалуйста, откуда ты взял право иронически относиться к матери и ко мне в конце концов? В нас ты нашел что-нибудь смешное? Нелепое?

— Нет, по-моему, в вас ничего нет особенно смешного. Дело в том, что мы разно смотрим на вещи...

— Виноват, твои политические убеждения — просто чушь! Мальчишка в семнадцать лет не имеет права лезть вперед со своими идеями. Побольше бы надо скромности! В наше время решительнее поступали с такими клопами.

— Ты напрасно раздражаешься,— поспешно проговорил Николай,— может быть, мои убеждения и не мои и не умны,— но мне нравится их иметь, вот и все.

— Да, но мне это не нравится!

— Прости, здесь я бессилен. К сожалению, я живу не для того, чтобы тебе нравиться.

С большой быстротой в памяти Василия Петровича прошли все способы отцовского воздействия, но все они были уже неприменимы. Николай зажигалкой закурил папиросу, вытянул ноги по дивану и сказал:

— Если ты внутренно признаешь за мной право быть самостоятельным, то, думаю, что мы будем друзьями. Отчего же.

Василий Петрович спросил тихо:

— Ты, послушай-ка, собственно говоря,— кто?

— Левый эсер, папа.

Василий Петрович развел руками. Семнадцать лет он вбивал в эту голову, с большим носом, просветительные идеи, и вот они привились. Черт знает что такое!

Выпустив из надутых щек воздух, Василий Петрович сказал:

— Да, если так, извини,— удаляюсь.

3

Выйдя из зашитого досками подъезда, охраняемого в этот час членом домового комитета, преподавательницей пения, скрывающей дорогой мех шубы под оренбургским платком, повязанным по-деревенски, буркнув ей: «Благодарствуйте, Анна Ивановна»,— поскользнувшись на обледенелом тротуаре, подхваченный снежным ветром, Василий Петрович оглянулся направо и налево.

В облаках мелькнул зеленоватый свет трамвайной искры. Мирно светились окна высоких домов. Все было тихо, путь свободен, и Василий Петрович побрел посередине улицы, заранее готовый добродушнейшей улыбкой встретить опасность, откуда бы она ни появилась.

На Арбате было людно, шумно. Шли и шли с Брянского вокзала, кучками и в одиночку, бородатые солдаты, согнутые под тяжестью самодельных сундучков и котомок. Иные несли пилы, инструменты. Один тащил несколько ружей, обернутых в тряпки. Солдаты шли по тротуарам, посреди улицы, бежали за трамваями, глазели на Москву, спрашивали дорогу на вокзалы,— грязные, усталые, озабоченные.

Прижавшись к стене, Василий Петрович пропустил мимо себя человек пятьдесят, валивших кучей, и подумал: «Хороший все-таки, добрый народ, эх-хе-хе».

Навстречу ему не спеша прошел военный из писарей, грызя подсолнухи и со скукой рассматривая окна. За военным шла девица, с простуженными щеками, в косынке.

— Сами вы ничего не понимаете,— говорила она плаксиво.— И вовсе она не красивая, а красивые у нее ботинки, и те не красивые, а тонкие.

Вертелся под ногами один из тех особых мальчиков, с опухшим лицом и пронзительным голосом,— они появились с первого года войны,— газетчики. Сбоку тротуара разносчик, засунув рукавицы за кушак, по-

трясал грушей перед сморщениым личиком какой-то старушки, говорил с досадой:

— Вам ие грушу иадо, гроб осииовый.

Проходили нагружениые людьми трамваи, с тем же толстомордым мальчишкой сзади, на буфере. Потрясая землю, прокатил воеииый грузовик. Высоко у электрических шаров крутились белые мухи. Василий Петрович свернул в темный переулок и позвоиился у подъезда.

Три мужских лица, принадлежавших члеиам домового комитета, прильнули к стеклышку, вделаииому в дверь. Василий Петрович, доказывая свою благоиамереииость, выиул платок и высморкался. Лица посоветовались и впустили.

В зеркале лифта ои виимательио огляиул свои порозовевшие щеки, стряхиул сиежок с усов и бороды и тщательио поправил складки галстука.

4

На турецком дивайе, среди шелковых подушек, лежала Ольга Аидреевиа; дымок папиросы подиимался от ее худой, покрытой кольцами руки. Облокотясь, запустив пальцы в сухие, соломеииого цвета волосы, Ольга Аидреевиа читала переводиый ромаи.

Комната, как и все комнаты, где обитает холостая жеищина, была чрезмерио переполиеиа лишиими и иеиужиыми вещами. В углу горела керосиновая печка, отчего было жарко и сухо, и левкои, стоящие перед зеркальиым шкафом, завяли.

Услышав звоиок, Ольга Аидреевиа одериула юбку, подобрала иоги и посмотрела иа дверь; затем, потяиувшись через весь диваи, потушила в пепельиице папироску и, уйдя поглубже в подушки, опять иагиулась иад книжкой.

Ей было двадцать семь лет. Муж ее, помощник Василия Петровича, был убит в начале войны. От круппа умер двухгодовалый сыи. Ольга Аидреевиа, сопровождаемая сожалением и слезами зиакомых дам, уехала в саиитарном поезде иа фронт. Время от времеии оиа появлялась в Москве, погрубевшая, в кожаной куртке, смертельио усталая. Помимо сожалений, ее нагружали посылками и письмами, и дамы ездили

провожать ее на вокзал. Затем прошел слух, будто она в плену,— пропала без вести.

Осенью жена присяжного поверенного, госпожа Кошке, собственными глазами увидала на сцене, в представлении какой-то восточной пьесы, Ольгу Андреевну: во время пира, в третьем акте, она подносила индийскому владыке большое блюдо, говоря: «Вот дичь».

Дамы, не поверив Кошке, пошли в театр и действительно видели и слышали, как Ольга Андреевна, с голыми плечами и пестрым шарфом, завязанным ниже живота, говорила: «Вот дичь».

Дамы раскололись, и одна часть решила у себя Ольгу Андреевну не принимать. Но она и не появлялась у прежних знакомых. А вскоре исчезла и из театра.

К этому приблизительно времени нужно отнести ее переезд в Арбатский переулок, в комнату у вдовы статского советника, Бабушкиной.

Ольгу Андреевну стали встречать на Арбате, очень похудевшую, в обезьяньей шубке; видели у Сиу, как она задумчиво тянула кофе через соломинку; видели в Литературно-художественном кружке за столом, вместе с каким-то сизым человеком в перстнях.

Присяжные поверенные, оставшиеся в Москве, находили, что Олечка похорошела и появилась у ней особая, чрезвычайно волнующая черта — прозрачный, равнодушный блеск глаз.

И понемногу доска на двери: «Н. А. Бабушкин, с. с.» — приобрела несколько иной смысл. С ней связывался ряд представлений: гремящая цепочка, черненькое, умильное личико горничной, говорящей: «Пожалуйте, пожалуйте, дома», длинный, дурно пахнущий коридор, красные и пыльные портьеры в столовой, откуда каждый раз выглядывала вдова статского советника, чрезвычайно уродливая; дальше — большие, затхлые гардеробы и, наконец, комната; она называлась «рай»,— комната, пахнущая гиацинтами и еще чем-то очень не домашним.

Здесь забывали о войне, о политике, шутили и остроумничали, точно мир действительно и не перевернулся кверху ногами,— здесь был райский уголок, оставшийся от огромной разрушенной жизни.

Ольга Андреевна всем говорнла «ты», прииимала, не благодаря, все, что ей дарили, одевалась в чериое, ие носила корсета, душилась так, что... словом, здесь был рай.

Василий Петрович крепился дольше других. Заходнть — заходил, не один, конечно, но держал себя строго, в карты ие играл, а больше посижнвал в углу, в кресле, со стакаичиком вниа в кулаке. Однажды он даже выразился про «салон» Ольги Аидреевиы так: «Всякое время н всякая жизиь пускает свои пузырн».

За последиюю же неделю почему-то у иего из ума ие шла светлая Оленькиия головка и прозрачиые, равнодушиые глаза. Ои думал: «А давнеиько я все-такн туда не заглядывал». Затем ему стал представляться длииный, волиующнй и проинкиовеиный разговор большой важиости, и, иакоиец, точно осеиило: только такая же, как ои, бездомная, опустошеииая, тоскующая Оленька может сейчас поиять его тоску и сказать какое-то необыкиовеиное слово. Василий Петрович все еще вернл в слова.

Когда ои осторожио постучал в дверь и вошел, Ольга Аидреевна встретила его чуть-чуть нзумлеииым взглядом. Васнлий Петрович нспытал легкое сердцебиеиие, поцеловал руку н сел иа иизеиькое плюшевое креслице:

— Вот, забежал иа огоиек,— прииимаете?

5

— Скажите, Ольга Аидреевна, вы миого читаете, я вижу кинжку,— после нескольких покашливаиий в руку проговорил Василий Петрович, потянулся н троиул киигу мизиицем.— Это что-иибудь современное,— стихн?

— Нет, роман фраицузский, ерунда какая-то.

— Да, французы умеют писать. Раскрываешь кинжку и сразу чувствуешь себя подтянутым, в обществе тонкого и умиого собеседника, прежде всего прнзиающего твой ум, твой вкус.

Василий Петрович посмотрел на иогти:

— У иас почему-то прииято вндеть в чнтателе идиота или дикаря. Я не могу открыть кинги, чтобы меня там ие иачали учить нравствениости нли простой

порядочности. Кончая книжку, я чувствую себя оплеванным. Позвольте! Я тоже культурный человек... И так во всем: писатель считает меня идиотом, народные комиссары едва терпят мое существование... Для родины я, оказывается, враг... Я — враг!..

Он вдруг задышал носом. Разговор, так ловко заведенный об изящной литературе, сорвался.

— В общем, все — более чем скверно,— проговорил он с гримасой.

Ольга Андреевна вздохнула, опустила глаза и из черепаховой коробочки вынула папиросу.

— Одно время я боялась выходить на улицу. А теперь все стало безразлично.

— Третьего дня я вас встретил, Ольга Андреевна, и кланялся, а вы не заметили.

— Я стала очень рассеянна. Устаю ходить, устаю читать. Устала переживать государственные перевороты. Третьего дня где же я была?

— Вы заходили в перчаточный магазин.

— Какие там перчатки! Москва стала запустелая, грязная, и уехать некуда.

— Да, ехать сейчас некуда. И нет хлеба, сахара. Идет чума.

— Боже мой!

— Надвигается. Курить можно?

Ольга Андреевна протянула ему черепаховую коробочку с душистыми и слабыми папиросами:

— Курите. Вы не были на «Итальяночке» в Новой Комедии? На послезавтра у меня два билета. Говорят,— очень славно. Пойдемте?

— Слушаюсь.

Василий Петрович положил ногу на ногу, прищурясь, потрогал бородку.

— Вам не покажется странным, Ольга Андреевна, если я скажу, для чего пришел? Представьте, что я уменьшился ростом, а платье на мне осталось прежним, на большой рост. Вот так я себя сейчас ощущаю. Какое-то странное состояние... Вернее — совсем себя не чувствую...

Он до невозможности сморщился, стараясь быть понятным. Ольга Андреевна с остановившейся улыбкой глядела на него. Василий Петрович сидел в черном

сюртуке, в крахмальной тугой рубашке, красный, серьезный, поблескнвал очками.

Тогда она внезапно рассмеялась, даже колени ее вздрогнулн под шелковым платьем. Василия Петровича бросило в жар.

— Чрезвычайно трудно выразнть это,— пробормотал он,— чувство очень сложное.

Ольга Андреевна спроснла:

— Хотите чаю?

— Да, пожалуй. С удовольствнем.

— Позвоннте трн раза.

И когда он, потирая ледяные пальцы, вернулся от дверн, она сказала:

— Садитесь рядом. Суньте подушку под спину. Рассказывайте.

И она, подобрав ногн, вннмательно, нсподлобья, стала разглядывать Васнлия Петровича, затем сняла пушинку с его рукава:

— Почему же вы все-таки ко мне прншлн? Вот этого я не пойму.

— Именно к вам, потому что...

— Взяли и решилн броситься в омут головой.

Она опять усмехнулась длинной улыбкой. Василий Петровнч не ответил. Отвратительный холодок против воли пополз по спине. Стало совестно своих глаз, всей стороны лица, повернутой к Ольге Андреевне. Впору слезть с дивана н уйти, но все тело грузно, неуклюже сидело, прндавив пружины. Ни уйтн, ни отвернуться. И всего хуже, конечно, было это молчание, подтверждающее самые гнусные предположения.

— Я не хотела вас обидеть,— Ольга Андреевна коснулась его плеча,— простите, что я засмеялась.

— Нет, пожалуйста, отчего же...

— Не сердитесь на меня, голубчик. Говорите все. Я слушаю вас очень вннмательно.

Она даже закрыла глаза. Ее лицо стало точно у спящей. Нежная кожа щеки, тонкий, с горбинкою нос н чуть-чуть приоткрытые для дыхания губы — были совсем рядом, близко и так покойны,— вот взять их в ладони, прижаться поцелуем.

Василий Петрович стиснул челюсти. «Этого еще не хватало! Поцеловать, схватить за плечи, целовать в глаза, в рот, в горлышко... И потом взъерошенным, с

кривой улыбочкой, стоять над разрушенной красотой! Утвердить самого себя! Все это бред! Невозможно!»

Упершись кулаками в диван, он поднялся, застегнул сюртук:

— Позвольте откланяться.

— Куда же вы?

Он взглянул на часы:

— У меня заседание. Разрешите зайти как-нибудь в другой раз. Я соберусь с мыслями.

И, не глядя в глаза, он поцеловал руку, извинился несколько раз, обещался зайти в среду — сопровождать Ольгу Андреевну в Новую Комедию, если не помешает какое-нибудь восстание, задел по пути плечом дверь и вышел.

На улице, сдвинув шапку, он долго тер лоб, не в силах прийти в себя от стыда, растерянности, негодования. «Как это все вышло — черт знает как...»

6

Дома, в углу большого кожаного дивана, где когда-то происходили жаркие споры на общественные темы, Василий Петрович устроил все, что нужно человеку: стакан воды, папиросы, Владимира Соловьева, низенькую лампочку. Занавеси на окнах задернул: с утра было ветрено, и в стекла лепил мокрый снег.

Разумеется, на душе скребло: там, за толстыми шторами, содрогается в предсмертной муке Москва, Россия, весь мир. Страдают добрые и злые, сильные и слабые, и те, кто хотят счастья другим, и те, кто хотят счастья только себе. А здесь, наплевав на все, утверждается человек наедине с Владимиром Соловьевым!

Были, были такие мысли. Но Василий Петрович, пофыркивая, покусывая ноготь, гнал их прочь. Нужна цельность, нужна жестокость! Путь добра бесконечно более жестокий и кровавый, чем путь зла,— в этом пришлось теперь убедиться всем. И, кроме того, в противопоставлении себя миру в такое время Василий Петрович находил что-то трагическое, и роковое, и очень острое. Так ему казалось.

Он надел теплую куртку и теплые высокие туфли; у домашних потребовал покоя. Никого не видеть, затво-

риться, думать! Прочтя несколько страниц, он отложил книгу, откинулся к диванной спинке и закрыл глаза:

— Бессмертие души. Да. Вот стержень всех дум. Если нет бессмертия, я — случайно возникшая частица космоса, вовлеченная в круговорот вещей, чтобы барахтаться и погибнуть так же бесцельно, как и возникла. А если я — бессмертен? Я — божество среди таких же божеств? Мои страдания и вся бессмыслица нужны мне, и я их благословлю. И благословлю еще потому, что не могу уклониться от них. Когда страдания становятся невыносимыми и бессмысленными,— я задумываюсь о бессмертии души; мне нужно во что бы то ни стало, чтобы она была бессмертна.

Василий Петрович тонко усмехнулся: «Нет, голубчик, на мякине не проведешь. Верю в бессмертие? — не знаю. Верю в бессмыслицу? — не знаю. В себя верю? — не знаю. То-то и оно-то...»

Но честность, как и всегда бывает с честностью, не дала нравственного успокоения. Одной ее оказалось мало. Василий Петрович курил папиросы, и ему начинало казаться, что путь размышлений — почтенный, но в нужных случаях жизни — плохой путь.

Далее, несмотря на запрещение, в кабинет проникла Софья Ивановна. Покраснев, она проговорила осторожным голосом:

— Я тебе помешала, прости,— на минутку отвлеку. У меня, Василий Петрович, вышли все деньги. Предлагают в домовом комитете черного мяса. Я уж не знаю, как же...

— У меня денег нет.

— А три тысячи?

— Их невозможно получить, ты же знаешь. Иди, Соня, я занят.

Софья Ивановна ушла. Она уходила совсем неслышно, только раз скрипнула кухонной дверью, чтобы сказать, что домового мяса брать не будем, и где-то села и затихла; и все же Василий Петрович чувствовал через три комнаты, как она покорно моргает ресницами. Он швырнул куртку, оделся и вышел из дому, думая: «Умолял хоть несколько дней покоя. Потом для вас буду вагоны выгружать, лед колоть, в швейцары поступлю».

Проблуждав часа полтора, он занял у присяжного поверенного Кошке пятьсот рублей и вернулся домой к чаю. Все было как всегда. Софья Ивановна вытирала с испуганным видом чашку. Володя со скукой рассматривал искусственных куропаток, что висели по сторонам буфета. Софья Ивановна очень любила этих куропаток и так их из столовой за всю жизнь и не убрала. Николай, конечно, читал книжку. Услышав, что входит отец, шумно перевернул страницу.

Василий Петрович бросил на стол деньги, сел, морщась вытащил из кармана вечернюю газетку, затем, читая, стал приговаривать: «Черт знает что такое! Черт знает что такое!» Словом, после кораблекрушения в этом доме снова начал расцветать быт.

Николай, не поднимая глаз от книги, спросил:

— Кстати, папа, что завтра идет в Новой Комедии?

Василий Петрович медленно опустил газету. Василий Петрович видел, как Николай сунул книжку за ременный пояс, вытер губы и, сказав матери: «Спасибочки», вышел. Через некоторое время Василий Петрович послал Владимира за братом, чтобы привести его в кабинет.

Николай явился одетый, в картузе, с трудом застегивая пуговицу на стареньком гимназическом пальто:

— Ты звал меня, папа?

— Звал. Сядь. Нам нужно объясниться.

— Прости, но я тороплюсь; у меня пленарное заседание. Если ты сердишься — мне очень жаль, но я, честное слово, против тебя ничего не имею. Да, пожалуйста, не забудь, что завтра Ольга Андреевна просила тебя заехать в половине седьмого.

— Откуда ты это знаешь? — свистящим шепотом спросил Василий Петрович.

— Говорил с ней по телефону.

— Зачем?

— А ты зачем был у нее вчера?

— Николай! Она твоя любовница!

— Ну, знаешь, отец, тебе нужно просто принять валерьяны.

Николай вышел, хлопнув дверью. Василий Петрович опустился на диван. У него голова шла кругом... Он повторил в уме все слова, сказанные сыну, его ответы, и,— когда дошло до валерьяны,— Василия Пет-

ровнча бросило в жар. Забилось сердце. Он расстегнул куртку, взял Соловьева и долго глядел на страницу. На ней появились буквы. Он прочел:

«Если человек как явление есть временный и преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим».

— Единым и многим,— повторил он, поднимая голову,— боже мой, как я ужасно неумел и несчастен!

7

Пешком вдоль стен, по осклизлым тротуарам, на извозчиках, ныряющих в хлюпкие ухабы, изредка на темных внутри автомобилях, в темноте, под сырой, бьющей с ног непогодой двигались городские обыватели к едва освещенному одною лампочкой подъезду театра, где ветер трепал на двух колоннах мокрые афиши.

В низких тучах мерцал тусклый свет электричества, кое-где зеленоватой каплей светил газовый фонарь. На лесах уже давно брошенного строиться огромного здания еще виднелись облезлые от времени рекламы. Эти изображения беспечного господина в струях дыма, силача, разрывающего шину, красавицы в одном корсете,— были из другого, разрушенного, теперь непонятного мира.

Прохожие пробирались молча. Где-то в стороне Садовой, Трубы и Тверских переулков хлопали одинокие выстрелы. Стреляла ли то стража по ворам, или воры по страже, или отстреливался одинокий пешеход — не все ли равно,— обыватели, не оборачиваясь, упрямо пробирались к темному и грязному театру.

К семи часам скудно освещенная зрительная зала была полна. Несколько полных женщин, одетых с умеренной роскошью, торопливо прошли в первые ряды, капельдинеры в потертых сюртуках запирали боковые двери; осветилась рампа; партер затих, стремительно пробежал инспектор театра и сел где-то, и пыльный занавес, заколебавшись, раздвинулся.

В ненастоящей, ярко раскрашенной комнате, залитой ярким, ненастоящим солнцем, на картонном балкончике итальяночка вытряхивала пеструю юбку. Густо-синее небо, красные крыши вдали, смуглое личико,

наклеенные ресницы, платочек пестрый,— все, все это итальянское, веселое, и все, что здесь произойдет и чем кончится, будет весело, легко, ярко.

И пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые молодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвигаются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаются страсти сокрушительной лавой, пусть завтра будет конец или начало нового мира,— здесь за эти четыре часа итальянского обмана бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук не больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, отогреется.

Прогремят события, прошумят темные ветры истории, умрут и снова народятся царства, а на озаренных рампою подмостках все так же будут похаживать итальяночки с длинными ресницами и итальянцы с наклеенными бородами, затягивая, заманивая из жизни грубой и тяжкой в свою призрачную, легкую жизнь.

8

Дернув за рукав, Ольга Андреевна спросила:

— Вы купили афишку? Дайте-ка.

Она сидела, слегка закинув высоко причесанную голову, опустив руки на сдвинутые колени; по внимательному, даже нахмуренному, ее лицу скользили отсветы рампы,— улыбки, испуг, ожидание, радость.

Там, на сцене, шла какая-то милая, непонятная чепуха. Но милее и непонятнее было Олечкино лицо. Один раз она обернулась, прошептав сердито:

— Почему вы не смотрите на сцену?

Каким образом Василий Петрович попал в театр и теперь сидит с нею рядом,— разобраться было нельзя, слишком сложно. Еще вчера и мысли не приходило об этом, а если и приходила, то казалась совершенно нелепой. Сегодня в половине шестого он решил уехать в Америку, жить здоровым физическим трудом, начав хотя бы с чистки сапог (эх, если бы не семья), а без четверти шесть спешно брился и сломал ноготь, надевая чистый воротник. Сейчас хотелось только одного: бесконечно длить эти фантастические, долгие минуты.

Там, у пестрой итальяночки, появился одетый в белое растакуэр,— сделал гнусное предложение; италья-

ночка дала пощечину и бросилась на грудь к другу-красавцу, не имеющему средств, чтобы жить. Занавес задернулся.

В партере поднялись. Ольга Андреевна вздохнула, повернулась к Василию Петровичу и подала ему карамельку:

— Вы все еще сердитесь, что поехали в театр?

— Я сержусь?

— Почему же все время молчите? Пьеса такая милая. Вот и видно — не любите театра.

Она произнесла первое попавшееся на язык, а глаза равнодушно разглядывали; лоб наморщен, между белыми зубами, хрустя, поворачивалась карамелька.

— Конечно, молчите, меня разглядываете. Ну, какой! А вон, видите, у той толстой дамы вся челюсть вставная. На военного как она смотрит, вот смешная. Так вы не сердитесь на меня? А я вас позвала, сама не знаю зачем, а потом думаю — не хочет идти, и пускай пойдет, и сыну вашему звонила, чтобы напомнил папаше. Батюшки, на деревянной ноге идет! Как я таких жалею! Вам, может быть, курить хочется? Я посижу одна, идите.

Карамелька была съедена; антракт кончился; раздвинулся занавес, и вновь лицо Ольги Андреевны затеплилось, разгладился лоб, расширились подернутые влагой глаза. Василий Петрович, нагнувшись к ее уху, проговорил:

— Мне хорошо с вами.— Она не повернула головы.— Немножко думайте обо мне, прошу вас.

Она, глядя на сцену, ответила:

— Не мешайте слушать.

Итальяночка попадала в скверную историю: растакуэр не побрезговал гнусной клеветой, и вот красавец друг подозревает, и она не может сказать правды, она боится. Друг говорит гневные слова, сверкая подведенными глазами, широко шагает по сцене. Итальяночка прикладывает к носику платочек, дрожит, как птица: «Хорошо, хорошо, друг мой, ты мне не веришь, и я не имею других доказательств, кроме любви». И опять в дверь лезет гнусная рожа растакуэра.

— Господи, какой же он подлый, хоть бы убили его,— шепчет Ольга Андреевна.

Василий Петрович спросил улыбаясь:
— Вам ее жалко?
— Да, да, да.
— Но ведь все хорошо кончится.
— Ах, не в этом дело.
— Вам жалко ее любви?
— Да. Мне жалко всякой любви. Любви нет, понимаете, нет совсем. Ах, не мешайте же мне смотреть.

В антракте Ольга Андреевна сидела сутулая, опустив голову, покусывая губы. Конец пьесы досмотрела без внимания и еще до занавеса поднялась и, когда Василий Петрович подал ей шубку, закуталась вместе с носом в обезьяний воротник; дернув, надвинула на брови шапочку.

При выходе ветер, трепавший афиши, хвосты лошадей, юбки и шубы дам на мокром асфальте, дыхнул подвальной, подземной стужей в лицо Ольге Андреевне. Она сказала:
— Как холодно! Поедемте.

Сели в санки, потащились по булыжникам, по ухабам, по слякоти. Василий Петрович, охватив спину Ольги Андреевны, чувствовал под пальцами ее ребрышки. Они были какие-то совсем плохо приспособленные к ухабам, к непогоде, к тому, чтобы охранять живое, отбивающее секунды жизни, беззащитное сердце. Ребрышки клонились, вздрагивали под пальцами, Все лицо ее до бровей было спрятано в воротник. Василий Петрович чувствовал, как через эти тонкие ребрышки, что двигаются под его пальцами, в холодной темноте, в отсветах задуваемых ветром фонарей, сквозь шубу коснулась, кольнула в сердце грустная жизнь, тепло и жалость. Наклонившись к ее воротнику, он хотел сказать про это, но губы, остуженные непогодой, едва выговорили какие-то жалкие слова. И эта искра внезапной жалости, скудный огонек любви, двигалась вместе с двумя сидящими в санях фигурами по темному, воющему всеми проволоками и простреленными крышами, мрачному городу. Где было ей уцелеть!

У подъезда он говорил:
— Сегодняшний вечер очень знаменательный для меня, Ольга Андреевна. Я давно не чувствовал в себе такой уверенности, что все-таки нужно, нужно жить.

Как ее ни гни, а ведь пробьется она, как озимь. Право, совсем не так плохо. Что-то есть, что-то есть.

Двери отворили. Он протянул руку. Ольга Андреевна, не замечая протянутой руки, вошла в подъезд, затем обернула голову, ее глаза были строгие.

— Зайдите, ведь еще не поздно.

9

Они сели на диван. Ольга Андреевна положила обе ладони под щеку и совсем ушла в подушечку, был виден только ее открытый широко глаз. На кухне, должно быть, вдова Бабушкина спрашивала у кухарки:

— Кто пришел?

— Да вот этот, шут его знает, в понедельник-то заходил.

— Ах, вот как. В очках?

— Ну, да.

Потом стало тихо. Затикали где-то близко ручные часики.

— Она знает, как вас зовут, сколько у вас детей, все знает,— проговорила Ольга Андреевна.— Очень противная особа.

Опять помолчали. Василий Петрович, улыбаясь, разглядывал пепел папиросы.

— Странно подумать, что отсюда придется идти на улицу, быть опять одному. Бррр...

— Вам не хочется оставаться одному?

— Вообще, быть одному невозможно,— сказал Василий Петрович.— Быть самому с собой — это другое дело. Ну, а теперь самого себя я и не чувствую. Я совершенно один, абсолютно. И вот в такие минуты думаешь: большое чувство к женщине может заполнить эту пустоту, связать с жизнью.

— Какой бедный,— проговорила Ольга Андреевна,— как же мне вас теперь отпустить одного?

Василий Петрович хихикнул и спохватился... Она растормошила подушечки, устроилась половчее.

— Не хочется — и не уходите. Оставайтесь.

Тогда он повернул голову и вдруг густо, так что очки запотели, побагровел. Ольга Андреевна вытянула руку и худыми пальцами, покрытыми перстнями, взяла его за отворот сюртука:

— Вы такой милый. Вы такой милый были весь вечер. Неуклюжий, неумелый, страшно милый.

— Не шутите со мной, Ольга Андреевна.

— А я не шучу.

Тогда он проговорил не своим, а каким-то итальянским, незнакомым самому себе голосом:

— Дело в том, Ольга Андреевна, что я люблю вас.

— Ну,— сейчас же протянула она,— ну, вот, зачем вы так говорите. Меня вы не любите, сейчас только вам и показалось...

— Клянусь. Вы не знаете, что я переживаю... Эти дни, как помешанный... Я не мог решиться...

Тогда она перебила с досадой:

— Послушайте, Василий Петрович, а я не люблю нечестных людей. Дайте-ка мне носовой платок. Вон там, на туалете.

Он подошел к туалету, опрокинул какую-то жидкость, сказал: «Фу, ты», споткнулся об угол ковра и присел у ног Ольги Андреевны. Было ясно, что он плохо соображает. Она сказала:

— Вот так-то почтенные люди кидаются в омут головой.

— Верьте мне, ради бога.

— Ах нет. Лучше скажите мне что-нибудь веселое.

— Не мучайте меня.

— Это — я-то мучаю? Изо всех сил стараюсь доставить ему как можно больше удовольствия. Ах, Василий Петрович, Василий Петрович, поймите же: вы весь крахмальный, рубашка на вас крахмальная, сюртук крахмальный, голос крахмальный. И весь вы каким-то коробом топорщитесь.

Она вдруг засмеялась, нагнулась стремительно, схватила Василия Петровича за уши, закинула его голову и поцеловала в нос.

— Пуц,— сквозь смех едва проговорила она.— Пуц из породы глупых. Какой славный!

И сейчас же от смеха опрокинулась на спину. Василий Петрович просунул руки под ее плечи, усатым ртом искал губ.

Смеясь, царапаясь кольцами, она увернулась, перебралась на другой конец дивана; проговорила, задохнувшись:

— Нет, нет, нельзя.— И, как кошка, стала оправ-

лять платье.— Теперь мне стало весело, и больше нельзя. Поняли? Откройте шкаф и достаньте коньяк.

— Скажите — любите меня? — пробормотал Василий Петрович.

— Нет, совсем не люблю, в том-то и дело.

— Вы издеваетесь!

— Вот неблагодарный человек! Я же предлагала вам остаться.

— Молчите! Я не хочу, чтобы вы глумились над чувством.

— Глумиться над вашим чувством! Над каким? Я вам совершенно добродетельно, из одного доброго расположения, безо всякой выгоды, предложила остаться. А вам, оказывается, мало этого! Я еще должна переживать ваши чувства!

Ее лицо вдруг стало острым и злым.

— Не верю вам, поняли? От ваших переживаний мне скучно и кисло — оскомина. Пошлость!

Она ударила кулаком в подушечку.

— Вы еще в понедельник мне не понравились. Пришел, сидит, сети расставил. Добрый, пресный. Упырь, прямо упырь. Своего-то нет ничего. Пришел напиться. Боже мой, какая тоска! Уйдите, уйдите сию минуту, господин... Не блестите на меня очками... Вы какой-то весь медный.

Она поднесла руку к горлу. Рот ее пересох, глаза ввалились.

— Уходите же, я говорю. Придете в другой раз. И тогда скажете точно и ясно, что вам нужно от меня.

Василий Петрович сидел на другом конце комнаты, спиной к зеркалу; несколько раз он повторил, словно про себя:

— Вы не правы, нет, не правы.

В дверь постучали, Ольга Андреевна не ответила. Вошел Николай.

10

Ольга Андреевна вскрикнула:

— Коленька! — вскочила, взяла его за руки.— Какой же вы славный, что зашли. Дайте поцелую в лобик. Хотите чаю?

Николай сдержаиио и иежио отстраиил Ольгу Андреевну, сел иа стул у стеиы и покосился иа отца, ио ие усмехиулся, как обычио, взгляиул сурово.

— Я предупреждал Ольгу Аидреевну, что зайду часам к одиииадцати,— сказал ои,— иу что, хорошо было в театре?

Василий Петрович, виимательио разглядывая взятую с туалета брошку — птицу со стрелкой в клюве, подумал: «Вот черт, уйти сейчас — иевозможио; ответить — иет, иет; иакричать иа мальчишку — выйдет глупо»,— и ои промолчал, только прищурился, подиеся к свету птичку.

У Ольги Аидреевиы поблескивали глаза; сидя иа краю диваиа, оиа поворачивала голову то к отцу, то к сыну,— слова так и готовы были слететь с ее губ. Николай сказал:

— Холод сильиый, а мие жарко. С Нижией Якиманки бежал бегом. На мосту остаиовили солдаты, хотели в воду бросить. Отругался. Вот так случай.

— А что без вас тут было,— проговорила Ольга Аидреевиа,— какие страииые разговоры. Мы чуть было ие поссорились. Говорили все о любви.

Оиа протяиула руки, впустила пальцы в пальцы:

— Любви ему иужио... Видите... Я говорю: Василий Петрович, ио мы, жеищииы, ие верим в любовь. У иас, у каждой, было столько своего, окаяииого, что любовь иикак ие получается. Вот вы и рассудите иас с вашим папой. Ои сейчас обижеииый. А иа извозчике мы ехали, шепиул — или мие показалось это, Василий Петрович? — иет — шепиул такое хорошее что-то, иежиое. Господи, думаю, иеужели забыл человек о себе, иа одиу секуиду почувствовал за другого? Неужели чудо случилось?

Оиа ие спеша вытащила из-за пояса юбки платочек, приложила его к иосу, точио актриса, и бросила. Николай, охватив голову, упершись локтями в колеии, глядел в пол. Василий Петрович слушал, как медлеиио, с силой, ударялось сердце.

— Очеиь жалею, Василий Петрович... Вы уж простите меия... Колеиька зиает, что меия ие иужио тревожить: у меия целая кладовая мусора жеиского. Сама бы рада вам весь мусор отдать... Вот Колеиьку я за что люблю? — для иего я всякая хороша, и то хорошо,

что путаюсь черт знает с кем, и что один мерзавец на моторе ко мне ездит, теперь пешком бегает, боится. Со всем мусором мила ему... Правда? И, вы думаете, он жалеет меня? — нет. Коленька мальчик здоровый, у него от бабьей духоты голова болит. А любит меня попросту, как себя любит, как товарища какого-то. И товарищам рассказывает: «Ольга Андреевна — милая, добрая душа, настоящая женщина, без фасонов-фасончиков...»

— Врете, этого я никогда не говорил,— мрачно произнес Николай, не поднимая головы.

— Люблю его за жестокость. Сильный, жестокий мальчик. Чего, в самом деле, бабьей духотой дышать! Открыть форточку — вот и хорошо. А за меня убьет кого угодно. Вот какой!

— Помолчали бы лучше, Ольга Андреевна, до ерунды договоритесь.

— Сейчас кончу. Вы о своем несчастье хлопочете, Василий Петрович, а я о своем. Не знаю уж, как мы сговоримся... Я вот вся — как ящерица раздавленная. Все слезы в одиночку выплакала. По этому дивану каталась. Теперь выпотрошенная,— весело! И поклялась,— что бы ни было,— не любить, не чувствовать. Не могу больше! Не хочу страдать! И вы совсем напрасно ждете от меня... Хотя немножко добились. Вот, глядите, приятно? Нравится?

У нее вдруг покатились крупные слезы. Николай поднялся, одернул кушак:

— В общем, вы все это страшно зря. Перестаньте, Ольга Андреевна. Я уйду.

— Коленька, подождите, не уходите... Замолчу. Мне только страшно. Он молчит. Я кричала ему, чтобы ушел. Нет, сидит. Почем я знаю, что он думает? Мне показалось одну минуту, что влюбилась в него. Ну, простите, простите меня, знаю — ужасно. Но мне больно от каждой малости, от пустяка, от царапины, так больно...

Николай снял с плеча ее руки, посадил Ольгу Андреевну на стул и, подойдя к отцу, все так же неподвижно сидящему у зеркала, проговорил:

— Папа, ты бы ушел, в самом деле,— видишь, что с ней.

Василий Петрович поглядел на рыжие, злые глаза сына. Николай проговорил трясущимися губами:

— Если ты не способен ничего чувствовать, лучше уйди. У тебя грязное воображение, больше ничего. Мне очень стыдно за тебя, отец... понимаешь?..

Тогда Василий Петрович привстал и неожиданно ударил Николая по лицу. Постоял, сопя, сжимая и разжимая кулаки, нагнул голову и вышел, оставив дверь раскрытой.

11

«Домой? Нет, нет!» — Василий Петрович застегивал крючок шубы; натянул перчатки, глубоко надвинул шапку и продолжал стоять на ступеньке захлопнувшегося за ним подъезда.— «Куда?»

В этот час было совсем тихо,— ни шагов, ни звуков копыт. Тишина. Но вот в воздухе повис унылый свист поезда. Как волновал, бывало, этот протяжный звук! Точно приносил вести издалека,— жизнь казалась долгой, радостной, неизведанной.

Василий Петрович, спрятав подбородок в мех воротника, пошел по переулку. Грязь и вода была под ногами, сырость струилась со стен, над крышами повисло небо, насыщенное ледяной влагой, изредка падающей каплями.

Опять раздался свист. Это поезд, набитый солдатами и мужиками, подходил на разъезженных колесах и взвывал диким воем: хлеба, жизни, милосердия!

Василий Петрович, приподняв голову, слушал. Представились темные, голые, брошенные поля,— огромные пространства, и редко на буграх торчащие, с разметанными ветром крышами, полусгнившие избы, и какая-то высокая фигура в платке, идущая, махая рукой, с бугра на бугор, по полям. Все это ясно представилось глазам, как видение, возникшее из протяжного свиста.

Сзади хлопнула дверь; кто-то, поспешно выйдя, осмотрелся и повернул вслед за Василием Петровичем. Шаги стукали за спиной: тук, тук, тук. И то приближались, то западали. В этот час было закрыто все,— весь город, наглухо запершись на замки, спал. Куда идти? Василий Петрович свернул направо, налево, потом опять направо. Сзади раздавались шаги — топ,

топ — в башмаках без калош. Близ Никитских ворот он остановился. Стал и тот неподалеку мутной фигурой.

— Ах, черт,— прошептал Василий Петрович, вглядываясь. Фигура заколебалась, приблизилась и вошла в неясный свет, падающий из окна. Это был Николай. Обе руки его глубоко засунуты в карманы, лицо зеленоватое, худое, незнакомое.

«Мальчик, родной сын,— подумал Василий Петрович,— а ведь был кругленький, теплый».

И он проговорил хрипловатым голосом:

— Это ты, ну, хорошо,— и пошел дальше, держась у стены, а Николай — рядом, с другого края тротуара; нога его то и дело соскальзывала в канавку. Затем оба они сразу остановились.

— Я тебе не намерен отдавать никаких отчетов, слышишь! — крикнул Василий Петрович.— Сам виноват! Заслужил. Я давно собирался тебя проучить. И теперь очень рад. Все. Можешь идти домой.

Выкрикивая эти самому себе противные слова, он, не отрываясь, глядел на руки Николая, сунутые в карманы очень узкого пальто.

— Слышишь, вся эта история мне гораздо более противна, чем тебе, быть может. Мне больно, что мой сын... Николай... Слушай... Я тебя повалю... Вынь руки... Не смей!.. Что ты делаешь!

Вздохнув, не то застонав, Николай потянул из кармана правую руку, точно в ней была страшная тяжесть. Василий Петрович быстро зажмурился, втянул голову в плечи. Все тело его ослабло, осело, привалилось к стене. Пронеслась, как искра, мысль: «Только скорее». Потянулась секунда такого молчания, такой тишины, что слышно было, как упала капля, точно камень. Затем он услышал горячий шепот Николая:

— Отец, папочка, милый, не бойся...

Далеко отведя револьвер, Николай другою рукой что-то выделывал пальцами очень жалобное, бормотал, и лицо его все смеялось плачем, все было мокрое.

— Хорошо, хорошо, Коленька, иди, родной, я сейчас вернусь.

И Василий Петрович, не оборачиваясь, зашагал по лужам. Перешел улицу. Остановился. Перед ним возвышался огромный остов дома. Сквозь пустые, обо-

жженные окна видны были летящие облака. Идти дальше не хватало сил — так дрожали иоги. Василий Петрович облокотился о полуразрушенное окошко, достал папиросу и держал ее незакуренной между стиснутыми зубами.

— Мальчик хотел меня убить, вот история,— и он сдерживал изо всей силы подкатывающий к горлу соленый клубок.— Совсем плохо, значит, совсем дело плохо.

В отверстиях окон подвывал ветер; погромыхивая, скрипели вверху листы железа. Говорят, где-то с той стороны еще курилась с октября тлеющая куча щебня и мусора.

Он стал глядеть на тучи, на трамвайный столб, простерший на тучах сухую перекладину.

Было так трудно, что Василий Петрович опустил голову. Среди посвистывания ветра до слуха его дошел чей-то голос, точно читавший:

«Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана, господи, упокой... Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана...»

Он вытянул шею. Говорили неподалеку, за углом. Он пошел на голос. Со стороны бульвара стояла высокая женщина в платке, сложив руки на животе, приговаривала «за убиенных» и кланялась на груду мусора сожженного дома. К подходившему она повернула большое лицо с крупным носом:

— Каждую ночь воют,— нехорошо, очень плохо.

— Кто воет?

— Убиенные... До свиданьица, барин,— торопливо сказала она, наспех перекрестилась и пошла прочь, и скрылась за углом. По всему видно, что была сумасшедшая.

Василий Петрович во всю грудь захватил воздуху, закашлялся и, уже не сдерживаясь, стал глухо лаять... Слезы полились из-под золотых очков... О ком?.. О сыне Колечке... о сумасшедшей бабе... о замученной Оленьке... о нелюбимой жене, только и умеющей хлопать ресницами в ответ на все непомерные события... И о себе, раздавленном и погибшем, плакал Василий Петрович, спотыкаясь и бредя по трамвайным рельсам в непроглядную тьму бульвара...

ПОРТРЕТ

1

Я разбирал старую библиотеку в Остафьеве, родовом, теперь оскудевшем именье графов Остафьевых, последний потомок которых мотается еще где-то по свету.

Среди исторических и масонских книг попалась мне тетрадь из голубоватой бумаги во всю величину листа. На заглавном листе было выведено: «Дерзание души, или Правдивый дневник...» Дальнейшее оказалось записками крепостного человека Ивана Вишнякова, посланного в Петербург преуспевать в художестве, ибо с малых лет он оказывал в этой области отменное дарование...

Срок петербургского учения положен был три года, в конце его Вишняков должен был написать портрет самого графа за глаза, по памяти...

«Сия задача,— пишет Вишняков,— коварна и хитра; господин желает знать, сколь благодетельный образ его отпечатан в моем сердце и какие чувства питает в себе раб, отошедший на мнимую и недолгосрочную свободу».

Денег на дорогу и ученье «выдано Вишнякову шестьдесят пять рублев», коих хватило лишь на два месяца в Петербурге, где и начинается этот дневник.

Вначале Вишняков рассказывает, как поселился он на Грязной улице (ныне Николаевской), как познакомился на мосту с одним франтиком, показывавшим ему издали академию и затем ловко выманившим у него трешницу,— последнее, что было в кармане... Как, дежуря у ворот академии, Вишняков увидел, наконец, ректора, быстро вышедшего из подъезда прямо в сани;

Вишняков без шапки побежал за его санями, и уже посредине Невы ректор, отогнув воротник, покосился на бегущего; как тут же на льду принял он прошение и рисунки; как спустя неделю страшного ожидания Вишняков был зачислен в натурный класс...

С Грязной Вишняков переезжает на Васильевский, к немцу Карлу Карловичу — подрядчику, и добрый немец учит скромного жильца писать вывески, получая с мясной вывески послужившее моделью мясо, с зеленной — фрукты и овощи, — словом, платой служили изображаемые предметы.

В работе этой и в посещении натурного класса проходят три года. Дневник наполнен рассуждениями вроде: «Во сне мы видим формы и линии, а краски только чувствуем; на картине же, наоборот, видим краски, а формы и линии чувствуем; но между искусством и сновидениями несомненно существует связь...»

В конце третьего года Карл Карлович, посвященный во всю жизнь Вишнякова, настаивает, чтобы жилец его начал, наконец, графский портрет.

Вишняков с неохотой берется за работу и, начиная после долгого перерыва вспоминать знакомый образ, чувствует себя вновь крепостным, рабом, человеко-животным...

Сама рука выводит на полотне крупное старческое лицо, крючковатый нос, отвислые щеки, морщины своеволия и гнева... Весь опыт художника и хладнокровие изменяют ему, Вишняков со страхом видит, как на образующемся, будто чудом, страшном лице все яснее выступают беспощадные, выпуклые, в кровяных жилках, живые глаза...

И Вишняков заносит в дневник:

«Это не портрет, а чудовищная карикатура. Я не могу найти в нем ни одной благородной черты. Одно спасение — правдивый вопль души, быть может, граф поймет... Когда я уезжал, он раскрыл окно и крикнул: «Помни, на три года даю тебе свободу; коли употребишь ее с толком — тогда посмотрю, подумаю... а без толку — пеняй на себя...» Зачем он дал мне эту надежду... Я скован и как в бреду...»

Отсюда привожу подлинные его записки, касающиеся неожиданной и роковой для него встречи.

2

«Карл Карлович зашел ко мие сообщить, что иа Морской требуется вывеска в гастроиомической лавке. Сказав, Карл Карлович затянулся из фарфоровой трубки, иа височках его появнлнсь добрые морщиикн, подмигув одиим глазом, он удалился иа скрипучих, опрятио иачищениых сапожках...

Добрейший, милейшнй Карл Карлович! Если бы я только не был так угнетеи, чего бы только ие сделал в благодариость за все твои заботы!

Я разложил иа лавке горшки с красками, олифу и кистн и, поставив все это на голову, поплелся в город. Проходя по Нниколаевскому мосту, я замечтался, созерцая величие рекн с опрокннутымн в ией дворцами, скользящнми баркасамн н парусиымн кораблями у гаваии, и, ие заметив, свернул иа набережную, где постовой загородил дорогу: «Сворачивай на Коииогвардейский, маляр». Восхнщеиный, я глядел на перспективу иабережиой, где, удаляясь, шел какой-то сутулый человек в цилиндре и поношеиной шииели.

На Морской я сразу нашел лавку и оклнкнул хозяииа, который повел меня к стойке, предложив, довольио грубовато, выбрать фрукты для иатюрморта, прнчем подсовывал попорчеиные, ио я выбрал шесть фраицузскнх яблок, шесть груш, аиаиас, три кисти вннограда и лимоны — все без пятнышка, уверив, что могу рисовать только с доброй натуры, н, захватив все это, ушел на двор, где была уже приготовлеиа вывеска.

Двор в этом доме проходиой; под воротами крнчат татары; приииматся нграть шармаищнк, наводя тоску. С теиевой стороиы в раскрытых окиах лежали, переговариваясь, квартнраиты, ио я увлекся работой, думая лишь об одном: иайтн в стоящей передо мной горке фруктов нетленную красоту,— она н в сладком соке яблока, и в запахе ананаса, н в линиях жеиского тела, и в мечте художиика — одиа. Вдруг я почувствовал, что за спиной остаиовнлся кто-то; я огляиулся и узиал того господииа с иабережиой. Ои был темно-русый, сутулый, в складках его капюшоиа забилась пыль. Правую руку с вытяиутым пальцем ои подиял, словио призывая ко вниманию, черные, как маслнны, продолговатые глаза его так н горели от удовольствия.

— Отлнчно,— сказал он глуховатым голосом,— одна прнрода нстнна, н, боже мой, как она хороша...

Я покраснел от удовольствня; незнакомец поднялся на цыпочкн, отступнл, слегка нагнув голову и вннмательно осматрнвая меня.

— Вы ученнк академнн? — спроснл он.

— Точно так,— ответнл я,— а это лншь заработок; за вывеску я получу всю горку фруктов, которые и продам.

Незнакомец щелкнул языком:

— Вот, вот, это мне н нужно. Мне хочется зайтн к вам, посмотреть работы...

Я жнво поклоннлся и поблагодарнл, прося не побрезговать моей скромной комнатой...

Незнакомец засмеялся н отошел, крнча:

— Так я прнду.

К вечеру я окончнл вывеску, отнес фрукты знакомой булочннце, взял у нее денег, купнл свечей, снтннку и в сумерках прнбежал домой. Из комнаты пршлось выместн пропасть мусору н вытереть повсюду пыль; нз-под днвана я вынул этюды, положнл нх на край стола н к свече поблнже пододвннул мольберт с портретом его снятельства... Гость так и не прншел, н я весь вечер проглядел на портрет.

Ах, пусть он знает, что я не скрыл от него нн еднной мыслн. Какимн же, как не ужаснымн, должны быть его глаза. Я помню, когда в гневе онн останавлнвалнсь на провнннвшемся,— ннжнее веко, дрогнув, забега́ло на зрачок, верхнее покрывалось бровью, поджнмались углы у внсков. Однажды провиннлась моя мать; он так поглядел на нее, что она, крнча, упала на землю. Знаю — что бы я нн сделал, куда бы нн скрылся, глаза всюду отыщут н покарают... Я не могу нзобразить нх спокойнымн... Онн, как живые, самн раскрылнсь на горе мне.

Я заснул головой на тетрадн. Свеча нагорела грнбом... В полночь я проснулся, снял со свечн, задул ее н лег, зная, что до утра будут мучнть сны. Ведь сколько угодно я могу вндеть себя во сне свободным, вндеть себя славным другом самого Иванова... Тем хуже будет пробужденне...

Карл Карловнч разбудил меня рано н позвал пнть кофе. Я рассказал о вчерашнем незнакомце, н добрый

немец посоветовал не ходить пока в академию, а писать портрет, чтобы показать гостю хорошую работу,— товар лицом. Я так и сделал. Незнакомец тогда восхищался моим натюрмортом, и я вознамерился вложить яблоко в руку графа, для чего надо было приподнять его руку, согнув в локте. Но скоро веселое мое настроение пропало, когда я увидел, что рука графа не хочет подниматься и брать яблоко... Проработав до вечера, я все вновь написанное снял ножом и, уже при свече, поставил руки на место... И мне показалось, что упрямые руки графа будто вцепились в раму...

Гость все же пришел однажды около полудня. Приветливо поздоровавшись, сел на диван и начал с любопытством оглядывать комнату; когда он заметил портрет, лицо его выразило такое удивление, даже испуг, что я спросил в ту же минуту:

— Ужели так плохо?

— Удивил, батенька, право, удивил,— проговорил гость,— а ведь он живой; конечно, эти глаза видят и следят. Кто он?.. Почему вы его пишете? Вы боитесь его?..

Гость задал пятьдесят вопросов, и я поспешил рассказать свою жизнь и прочел отрывки из дневника. Когда окончилось чтение, глаза гостя были обращены к окну, словно не видя ни окна, ни комнаты, ни меня. На лукавых губах его играла усмешка... Мы долго сидели молча. Наконец он поднялся, рассеянно пожал руку и вышел, сказав уже на пороге:

— Я еще приду.

...Портрет следит за мной, глаза его всегда находят мои зрачки, куда бы я ни отошел. При свече они так пристальны, что я повернул портрет к стене, но тотчас поставил обратно, думая, что он обидится. Прошла неделя. Я не могу работать, он мучит меня даже ночью. Вчера, закрывшись одеялом, я долго лежал без сна... Мне казалось, что он высунется из рамы.

Я решил уничтожить его: все равно так жить нельзя... Я взял нож у Карла Карловича, на цыпочках вошел к себе и, стоя около портрета, попробовал на пальце лезвие... Ножик упал, разрезав мне сапог... Я не могу, я уверен — он узнает, что я покушался на него, как вор, как убийца...

Вчера около полуночи я проснулся. Сон слетел с меня, сердце стукало, поджилки тряслись, как мышь... Он вылез из рамы и, огибая стол, подходил ко мне. Когда он сел на диван, я живо подобрал ноги...

— Где спички? — спросил он.— Я набил себе шишку.

Я живо соскочил и взял свет,— на диване сидел мой гость в пыльной шинели, в руке он держал сверток.

— Он все еще здесь? — спросил гость, глядя в темный угол на портрет.

Я поспешил выразить живейшую радость его приходу, но гость перебил меня:

— Вы послушайте первую часть повести, она еще переделается много раз...— Насупившись, он поглядел на меня, пододвинул подсвечник, кашлянул и прочел глухим голосом: — «Портрет»... «Портрет»,— повторил он, чудно усмехаясь.

«Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавкою на Щукином дворе. Для меня до сих пор загадка — кто поставляет сюда свои произведения, какие люди, какою ценою...»

Я слушал повесть стоя и глядел на гостя, на длинный, почти в половину лица его нос, тень от которого падала до конца острого подбородка, а по сторонам усмехались приподнятые углы губ; по мере чтения прядь напомаженных волос сползла на глаза, и голос его стал ясный и выразительный... А потом я начал понимать и содержание повести...

Гость кончил, когда свеча догорела, свернул медленно рукопись.

— Вот,— сказал он и, помолчав, спросил сердито: — Нравится? — Я прижал руки к груди, глаза мои были полны слез...— Ну то-то,— уже мягко проворчал он,— видели, какие чудеса бывают...

И, уже уходя, надев цилиндр, он остановился перед портретом, рукопись торчала у него из кармана сюртука... И вдруг, глядя на его длинноносый профиль, на цилиндр и оттопыренный сзади карман, я вспомнил всем известную карикатуру и, страшно испугавшись, понял — кто мой гость...

...Сейчас посыльный принес письмо от графа. Граф прибыл на днях и требует к себе меня вместе с портретом и дневником».

Здесь рукопись кончается словом «Аминь», а дальше следует приписка:

«Граф потребовал заполнить последнюю страницу. Я никогда не забуду, никогда не пойму, как все случилось... Я пришел к его сиятельству на Сергиевскую к восьми поутру и до двенадцати ждал на кухне. Лакеи, заходя, заговаривали со мной и на мои ответы покатывались со смеха... Наконец один из них вбежал, запыхавшись, и потребовал к графу дневник и портрет, а мне приказал ждать... Я сидел у окна и ожидал, что вот услышу громовой голос графа, тяжелые, как смерть, его шаги... К вечеру я очень ослабел и попросил напиться... Из лакейских разговоров узнал, что граф уехал в театр. Прислуга легла спать, оставив лампадку, а я продолжал сидеть, уж не боясь, потому что стало все равно... На колени мне прыгнул кот, я погладил его, он ткнулся мне в шею и обнял лапами...

Тогда я стал плакать про себя... Наконец в доме вновь захлопали двери,— граф вернулся и лег спать...

Наутро тот же лакей, что относил портрет, опять запыхавшись, вбежал и крикнул:

— Вишняков, к графу...

Граф в нижнем белье стоял у печки, грея зад... Рассматривая с большим любопытством, он подпустил меня на пять шагов и сказал басом:

— Хорош! — Я молчал, опустив голову.— Изуродовал меня навек, злодеем выставил для потомства,— продолжал граф.— Вчера в театре Николай Васильевич Гоголь на меня пальцем указал. А ты понимаешь, что даже государю известно, чей портрет описан в повести у Николая Васильевича. А?.. По-твоему, мне теперь нужно глаза себе выколоть. А? — грохнул граф... Наступило молчание. Затем лиловые губы его брезгливо усмехнулись, и я увидел, как он медленно потащил из-за спины мою тетрадь.— Ступай и допиши,— сказал он.— Потом зайдешь в контору, получишь вольную, а тетрадь оставишь мне...

Ноги мои подкосились, я подошел к графу и поцеловал ему руку».

ТРАГИК

А. В. Кандауровой и К. В. Кандаурову
в знак дружбы

Заблудился я потому, что ямщик, старый солдат, служил когда-то в Ташкенте и ходил на Амударью. Всю дорогу, повернув ко мне прикрытое чапаном костлявое равнодушное лицо, пытался он рассказать про давнишнее. Но из всего припомнил только, что на песках растет куст саксаул, такой твердый — ногу напорешь.

Должно быть, ему и самому было обидно, что забыл он про чудесную страну, разъезжая на облучке в февральские вьюги, и на мои вопросы отвечал со вздохом: «Запамятовал, барин, а видел много всего».

Когда же вокруг стемнело и я сказал: «Послушай, мы, кажется, без дороги едем»,— ямщик долго молчал, потом ответил: «Темнота; где ее тут разберешь, дорогу». И уже долго спустя, когда появился впереди нас красноватый огонек, ямщик сказал еще:

— Выбились, а я полагал — замерзнем.

Завязив лошадей и перепрокинув сани, мы подъехали наконец к балкону с колоннами и двумя полукруглыми окошками наверху, откуда шел заманивший нас свет.

— Ах, про́пасть! Это, барин,— Чувашки. Доведется нам гнать до села! — проворчал ямщик, слезая с облучка.

— А здесь разве нельзя переждать?

— Можно, отчего нельзя.

Я вылез в снег, а ямщик, сняв рукавицы, захватил из саней сена, отнес на балкон, отпряг коренного, ввел его по ступенькам и за колоннами привязал к дверной ручке.

— Он у меня зябкий: пристяжных у саней можно

оставить, а коренной очень обидчивый,— сказал ямщик.

— Как ты так распорядился, веди лошадей на конюшню.

— Нет,— ответил он,— не поведу; в усадьбе один конь, и того в дому держат — конюшни провалились. Да вы не сомневайтесь, заходите, погреетесь.

И он повел меня между высоким сугробом и облупленной стеной к небольшому крылечку, через которое мы зашли внутрь, в темноту. Я передвинул кнопку электрического фонарика, и белый, овальным конусом, свет открыл передо мной длинный штукатуренный коридор и в глубине ударился в стеклянную дверь, всю в инее.

— Идите прямо,— сказал ямщик,— за дверью там у них лесенка устроена. Прямо к Ивану Степанычу попадете, а я около коней покручусь,— и, уходя, он добавил: — Разве мыслимо этакий дом натопить? И так половину сада спалили...

За стеклянной дверью нашел я винтовую лесенку и, треща морозными ступеньками, поднялся наверх в круглую залу с мозаичным замусоренным полом, полуколоннами, подпирающими шатровый потолок, и хрустальной люстрой, задрожавшей от моих шагов.

Освещенные фонариком, появились между колонн шкафы, полные книг; дверцы одного были раскрыты, и на полу валялись несколько томов: должно быть, их вытаскивали охапкой и они падали по пути. Пока я оглядывался, в глубине левой анфилады комнат хлопнула дверь, раздался гулкий голос, навстречу мне понеслись мягкие поспешные шаги, и я разглядел человека небольшого роста, без шапки и в пальто; ладонью он заслонял на бегу свечку, и, когда остановился неподалеку, свет озарил бритое его оплывшее лицо и черные круглые глаза.

— Вот обрадовал! — воскликнул он необыкновенно задушевным голосом, назвал мою фамилию и принялся трясти свободной рукой за руку.— Скучища невероятная, и все печи развалились,— ючусь в угловой, топлю книжками; представьте, бегу сюда, и вдруг встреча. Пожалуйте, дорогой мой...

Я извинился, объяснил, как попал сюда, и попросил ночлега. Взяв под руку, незнакомец повел меня

через парадные комнаты, иногда останавливаясь и поднимая свечу...

— Стиль Людовика,— говорил он, все время обрывая нервный смешок,— как вы думаете? А впрочем, наплевать, все это сгнило, плесень... И, знаете ли, сова даже завелась. Я мышей наловлю в мышеловку и даю совушке. Вот она, смотрите,— прошептал он, приседая, и указал на верх изразцовой печи, где сидела сова. А с боков печи на облезлых стенах висели портреты, запушенные инеем.

— Предки-с! — радостно воскликнул он.— Часто беседую с ними от скуки. Этот вот генерал — петербургская штука, поглядите...

Он быстро потер ладонью по полотну; из-под нее выступила красная грудь мундира, перехваченного лентой ордена, потом бритый подбородок и губы, тонкие и кривые, как у незнакомца.

— Андреевская лента, честное слово... Генерал Кривичев. Предок... Глаза удивительные; я их бумажками заклеиваю... до того неприятны... И похожи на мои. Я ведь — тоже Кривичев... Иван Степаныч...— Он помолчал.— Слыхали, наверно,— актер. У нас теперь тяжба с Бабичевыми,— он ткнул пальцем на другой портрет,— вот с этими. Не можем именья разделить. От Кривичевых сижу я доверенным лицом, не допускаю. А от Бабичевых,— он втянул голову и хрипло прошептал: — ведьму прислали, следить за мной... Я ее гвоздем к стене приколочу... Шуток над собой не допущу. Пусть она помнит, кто я...— Он вдруг посмотрел на меня, улыбнулся добродушно и потащил через залу в коридорчик, где шепнул: — Тише, не стучите, не разговаривайте...— И, уже толкаясь, пробежал к дверце, проскользнул вместе со мной внутрь, щелкнул ключом и, ставя свечу на комод, воскликнул радостно: — Проскочили!

В комнате было жарко. Я снял с себя тяжелую одежду и огляделся. Комната была низкая и длинная, с двумя полукруглыми окнами в конце, на подоконниках стояли ведерные бутылки с наливкой. К потолку была подвешена простая лампа, освещая рваные ковры на одной стене; напротив — большой стол, заваленный пестрой, странного вида рухлядью: банками, париками, цветной обувью, медными шлемами, рукоятка-

ми мечей; и тут же лежали книги (Иван Степанович, очевидно, жег их все-таки с разбором); в дальнем же углу стоял помост и висела черная, с цветочками, занавеска...

— Рабочий кабинет,— потирая руки, сказал Иван Степанович и указал на стену, где один над другим висели пестрые костюмы, латы и плащи... И, видя, что я все еще недоумеваю, он повторил: — Вспомните-ка,— Иван Кривичев — вместе на пароходе ехали из Рыбинска.

И тотчас я вспомнил деревянный театр, полуоткрытый сзади, и у тусклой рампы, перед намалеванными кустами,— коротенькую фигуру короля, в картонной короне, в шелковых отрепьях, с пучком соломы в руке. И как вслед за свистом плохо сделанной бури раздался откуда-то сверху уверенный и наглый свист... И как Лир приподнял брови и кивнул головой, словно говоря: «Ну да, пожалуйста, дайте уж кончу...»

— Так вот как! Вы, значит, Кривичев, трагик,— сказал я.— Как же сюда попали? Странно.

— Странного ничего нет,— ответил Иван Степанович, подошел к окну, нагнул бутыль, налил два стакана; один предложил мне, другой сейчас же выпил, не вытирая губ.— Во-первых, милостивый государь, я люблю уединение. И потом я не желаю расточать себя на грязных подмостках. Чего они стоят? Четыре часа безумия, когда сердце готово лопнуть,— и за это платят деньги. Нет, я — артист, а не актер. Прошу различать. Актеру — венки и пошлые рукоплескания, а мне — лишь потрясение души. К чему зритель? Я давно покинул толпу. Играю для себя... Вот здесь!..

Он отдернул ситцевую занавеску. За ней, на двух сходящихся стенах, было написано: извергающийся вулкан, два дерева с фонтаном и луна...

— Между страстью и меланхолией лежит весь миллион переживаний,— сказал Иван Степанович.— Вот мой театр. Играю один классический репертуар... Располагайтесь удобнее... Кажется, я вам еще не надоел.

Иван Степанович мимоходом выпил еще наливки, сбросил пальто, сел, застенчиво улыбнулся и принялся стаскивать панталоны...

— Только не обращайте внимания,— сказал он.— У меня — небольшой подъем сейчас... А я люблю, признаться, эти минуты.

Он поспешно натянул трико, ботфорты, накинул поверх коричневой своей фуфайки бархатный плащ...

— Ни одного бурана не проходит, чтобы кого-нибудь не занесло... Иначе совсем капут... Ведьма заела... Вы еще ее не знаете,— он вдруг оборвал, подкрался к двери и прислушался.— Молчит... боится... Я ее сегодня отбрил...— прошептал он и уставился на меня со страхом.— Вы что подумали? Бритвой отбрил? Пожалуй, черт знает что еще подумаете...

Он закрыл глаза, вздрогнул, словно от озноба.

— Внизу стряпуха живет, на ночь запирается, такой на нее нападает страх... Очень у нас нехорошо. Никакого нет порядку. Я говорил братьям: «За какие такие грехи отдуваться я должен у вас в пустом дому? За то, что неудавшийся актер, что ли? За это жалеть надо...» А они разочарованного, без участия, без ласки, заперли на смех... Какова человеческая жестокость!.. Да ведь промотался я для искусства... Двадцать два года играл... А знаете, почему оставил сцену? Я трагических любовников играю, а на самом деле не любил ни разу... Вот и решился сначала полюбить, а потом изображать любовь... Я братьям написал: двадцать два года, мол, ошибался, теперь я нашел себя, могу играть... Я пробовал... На этих подмостках до обморока сам себя доводил... Пусть только денег пришлют на выезд.

Иван Степанович надвинул шляпу с пером на глаза, оперся на эфес шпаги, локтем откинул красный плащ и сердито поглядел на меня.

— Думаете: вот влюбился старый дурак, заперли его с ведьмой, так он и в ведьму влюбился. Я бы вас посадил на денек с этой женщиной. Глаз с меня не спускает. Я — слово, я — шаг,— она все в журнал записывает. Исключительно для надругательства. У нее ничего человеческого нет,— провались она пропадом. Через нее и пью! Пропита! Прожита! Опоганена вся душа!..

При этих словах Иван Степанович швырнул шляпу, взъерошил полуседые волосы и ступил к подмосткам.

Я молчал. Все это вышло у него плохо — неестественно. Он и сам это заметил. Покачал головой, усмехнулся.

— Наигрываю. Сорвался с тона. А?..— сказал он.— Я лучше из Шекспира что-нибудь...

Он взошел на помост, задумался, схватив подбородок, и потом проговорил странным, иным голосом, от которого у меня сразу закололо по спине:

— Офелия, иди в монастырь! Иди в монастырь. Не отпирая дверей...— Он страшно поднял брови и зашептал: — А если он, со зверской лаской, ворвется в девичью обитель, ты шаль свяжи на девственной груди и тайно в узел спрячь иглу.

Иван Степанович вдруг надул щеки, выпустил воздух, сел на ступеньку, уронил голову на руки и заплакал.

— Забыл... Все перепутал,— проговорил он.— Какая досада!

Вдруг постучались. Иван Степанович сорвался с помоста и, навалившись на дверь, едва проговорил:

— Кто здесь?

— А я это,— ответил ямщик,— промерз.

Иван Степанович впустил его, совсем уже обсосуленного и запушенного снегом.

— Погреться хотел в кухне, а прислуга не отпирает, боится, что ли,— проговорил он, переминаясь.

— Так пей же, пей, пей! — воскликнул Иван Степанович, суя бутылкой в ямщика.

Тот степенно посторонился и попросил стаканчик и хлеба. Подав все это, Кривичев вытолкал ямщика и глядел в дверь, пока тот не скрылся совсем.

— Я думал, это полиция,— сказал он наконец, подойдя ко мне.— Случилась небольшая неприятность. Впрочем, не стоит. О чем бишь я начал? Да. Хотите на коньках покататься? Внизу в зале я отличный каток устроил. Сам воду носил — поливал паркет; покатаешься, потом из окошка прямо в сад и на речку. Очень удобно. Впрочем, сейчас снегу нанесло. Снег — как саван,— заметет, засыплет, и следов нет. Например, человека положить с вечера под пригорком, а ут-

ром занесет его ровненько, и так до весны никто не узнает. Я давно об этом все думаю. Так вам не понравился Гамлет? Впрочем, я не играл. О господи!

Иван Степанович взялся за голову, словно неотступная какая-то мысль гнела его, отпустила на минуту и накидывалась с новой силой.

— Она совсем не ведьма,— сказал он неожиданно,— она хорошая. Я все вам наврал. Ее сюда из Петербурга прислали. Во избежание скандала. Понимаете ли, из дому ушла с одним актером. С подлецом. Вроде меня. Родила в больнице. Вернулась в Петербург, но домой не пошла, а прямо на улицу. Захватил ночной обход. Личность выяснять принялись. Оказывается, родитель-то ее на самых верхах. Вот с урядником и прислали сюда. И пятьдесят рублей каждое первое число выдают. Какая девушка! Какая жизнь разбита!.. Ох, попался бы мне этот актеришка. Знаете что? Пойдемте лучше к ней.

Иван Степанович схватил меня за руку, и в глазах его появился как будто ужас. Мне стало неприятно, а он тащил меня со стула, и мы, отворив осторожно дверь, высунулись в коридор. Наискосок была другая двустворчатая дубовая дверца; в щель у пола оттуда шел желтоватый свет; указав на него, Иван Степанович прошептал, тиская мою руку:

— Видели... Я так и не потушил... Пусть горит...

— Что с вами? Что вы тут наделали? — закричал я, вырывая руку, но он вцепился, повис на мне, прилип, приговаривая:

— Не кричите... Не уходите... Не догадывайтесь... Все равно не выпущу... Вы доносить поскачете... Какое вам дело?.. Мы промежду себя разобрались... Я все объясню... Она меня видеть не могла... Один мой вид ее в истерику приводил... И над искусством издевалась... Я читаю,— она же у двери висит — покатывается... Мне потрясения нужны... Величайшие трагедии души... Надо на самом деле увидеть, как под ножом содрогнется... обожаемое существо. Иначе искусства нет... Кабы не ее злоба... я бы никогда не решился... А теперь я — артист... Я — гений... Я пешком в Петербург пойду... Я им покажу, как играет Иван Кривичев...

Я вырвался иаконец, отбежал, помия, что иадо захватить шубу, но Иван Степаиович ничего не заметил: потиый, красиый, маленький, в волочащемся плаще и шляпе, огромиая теиь от пера которой прыгала по стене, ои размахивал кулаком, ходил вправо и влево и выкрикивал уже совсем бессвязное...

Накоиец блуждающие глаза его остаиовились на дубовой двери... Ои присел, подкрался и, сделав трагический жест, иалег иа ручку; ветхие половиники, тресиув, разъедииились, и раскрылась дверь... Я отвернулся. Но вдруг из глубииы послышался усталый, раздражеииый голос:

— Полно тебе, Иваи Степанович, вот дверь сломал... Хоть бы чужого постесиялся...

И иа пороге появилась девушка, высокая, очень худая, с длиииым измучеииым лицом; покатые плечи ее были закутаиы в ореибургский платок; волосы на затылке завязаиы просто, и только пепельиые круги под глазами и длиииые, еще не иаглядевшиеся иа свет глаза ее были прекрасиы...

Иваи Степанович сморщился, засопел и стал придвигаться к своей двери... Девушка мие сказала:

— Вот так каждый деиь... Напьется, и у него идея такая, что он меня зарезал... И дождусь когда-иибудь. Неудачник ои — вот все и вииоваты... А когда трезвый — хороший, застеичивый...

Девушка улыбнулась невесело и сказала Иваиу Степаиовичу:

— Ну, уж иди ко мне чай пить... И вы пожалуйте. Я до утра ие ложусь.

— Машеиька,— проговорил Иваи Степанович,— ты пойми... как я мог удержаться... Вот свежий человек,— и он обратился ко мие: — оиа у меия милая, иесчастиая...

— Иван Степаиович! — перебила Машеиька строго.

— Да, да, да... Замолчал, замолчал...— Иваи Степанович притих совсем. Последовал за иами в Машенькиию комиату — белую, чистую, строгую, с хорошим запахом сухих трав. На столе стояли свечи и самовар. Иван Степаиыч, сгорбясь, сел в тень и скоро заснул. Машенька с улыбкой взгляиула на него из-за самовара.

— Не может отвыкнуть; очень любит свое актерство,— сказала она,— уж чего он только не выкидывал. Пусть поспит. Не будите его.

В это время вошел ямщик и сказал, что буран полегчал и кони зазябли... Я простился, поблагодарил Машеньку и закачался снова в маленьких санках по ухабам и неверному снегу. В открывшихся тучах стояла круглая луна. Впереди лошадей бежал заяц.

— А я маленько соврал,— сказал ямщик, оборотясь,— в кухню-то достучался... кухарка щами угостила и кашей. Рассказывала: шибко она боится у них жить... Вчера, говорит, барин за барышней с ножом по всему дому бегал... Барин, говорит, у них раньше человеком был, а теперь трагик...

НАВАЖДЕНИЕ

Был я в ту пору послушником в Спасском монастыре, пел на клиросе тонким голосом. Зиму пропоешь — ничего, а после великого поста — маета: от плоти кожа останется на костях. Стоишь, стоишь всю ночь на клиросе,— и поплывет душа над свечами, как клуб ладана... И сладко и, знаю, грех. А за окнами березы набухли, ночь звездная,— весна к самому храму подступила. Мочи нет!

На Фоминой уходил из монастыря иеромонах Никанор к печерским святителям за благодатью. С ним я и отпросился. Трое суток у кельи архимандрита на коленях простоял, побои принял и брань; говорю — душа просится, отпусти. Молению моему вняли.

И вышли мы с Никанором из ворот, прямо полем на полдень в степи. В траве и в небе птицы поют. Теплый ветер треплет волосы. Верст пять отошли, разулись и опять побрели вдоль речки. Никанор мне и говорит:

— Вот так-то, Рыбанька, и в раю будет.

Был у нас тогда царем Петр, нынешней государыни родной отец. Чай, слыхали? С великим бережением приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили драгуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением — не беглый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. Ну, откупались: кому копейку дашь, от кого схоронишься в коноплю.

Добрели мы так до Украйны. Земля широкая. Коегде дымок виден, чумаки воза отпрягли, кашу варят; кое-где засеки от татар. Кругом трава, да птицы, да облака за краем, да каменные бабы на курганах.

Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой, что везли вместе с солью из Перекопа. Везли не спеша: верст десять отъедут и заночуют; разложат костры из

сухого иавоза, сядут вокруг, поджав по-турецки ноги, глядят иа огонь, курят трубкн.

И иаслушались мы рассказов про Рим и про Крым, про Ясняиьскн корчмы, н про гетмана, и про такие вещи, которые и вспоминать-то на ночь ие совсем хорошо было.

Ближе к Диепру хутора стали попадаться чаще; заходили в иих иочевать Хрнстовым имеием; пускали всюду. И здесь стало мие много труднее.

Видим — плетеиь, иа нем горшки, рубашкн сушатся, за ивами — белая хата, кругом подсолнухи стоят. Прибежит, забрешет собачка, н на голос выгляиет из-за угла девица нлн бабеика, такая лукавая! Богом прошу Никаиора:

— Бей меия посохом, без пощады!

Зайдем в клеть, рубаху задеру: бей, говорю, бей, а то боюсь, ие дойду до Киева, брошу тебя.

И хотя побои прииимал великие, ио помогали оии мало. Так добралнсь мы до Батурииа; постучались иочевать в самую что нн на есть плохонькую избеику, на краю города, у старой старушки. А чуть свет — вышлн на базариую площадь, что у земляного вала. Купнлн калача н тараии. Селн на лавочку н едим. А рыба солеиая.

Смотрю — Никанор все иа окошко коснтся. В ием толстый, опухлый шинкарь глаза трет, зевает. Никаиор мие н говорит:

— Рыбаиька, поди попроси у шннкаря вина на копейку,— так бог велит.

Я подошел к окиу, показывая копейку. Шиикарь повертел ее, положнл за щеку, вынес нам вниа штоф. Мы с молитвой хлебиулн, н еда миого спорее пошла. Никанор жмурится. Тут солнце встало над степью, и начал народ прибывать. Кто колесо иовое катит, кто тащит лагуи с дегтем; цыгане проехали иа лошадях, до того чериые, кудрявые, как черти страшиые; в балаганах корыта, железо разное, шапки — хороши шапки! — горшки расписаниые, дудки, польские пояса,— чего только иет в Батурии! Век бы так просидел, иа лавке!

Подходит к иам казак небольшого роста, худощавый: сел рядом иа лавку, глядит, ус начал жевать. А виия у иас в скляике еще половина осталась.

— Вы,— спрашивает казак,— не здешине, москали?

Я ему отвечаю тонким голосом, вежливо:

— Совершенно верно; мы из Великой России, странные люди; идем в пещеры, к святителям.

— А вино,— спрашивает казак,— вы почем у шинкаря брали?

Тут ему Никанор отвечает еще слаще:

— На копейку брали, сынок. А ты не томись, откушай с нами.

И подает ему вино и рыбью голову пожевать.

Казак до донышка склянку вытянул, стряхнул капли в траву, рыбью голову пожевал и подсел ближе!

— Вижу я,— доподлинно вы люди духовные, обычай у вас не воровской, не тяжелый. Надо бы вам к нашему атаману зайти. Он до странных людей милостив и подает милостыню.

— Что же, если милостив, можно и зайти к атаману,— говорит Никанор.— Собирай, Рыбанька, крошки в мешок.

И повел нас казак Иван через город на атаманову усадьбу. Подходим не без опаски: у ворот пушки стоят. В траве спит сторож с тесаком. На дворе службам — числа нет, все белые, выбеленные; атаманов дом длинный, низенький, с высокой соломенной крышей, и весь деревьями заслонен. Вдалеке виден храм о пяти главах. Место дивное. Подивились мы и на птиц, что, не боясь, ходили между кур и собак, раскрывали хвосты как лазоревый куст; подивились и на коней,— вывели их жолнеры чистить: ногайские иноходцы, горбоносые скакуны с Дону, рейтарские вороные жеребцы на цепях — таково злы.

Великим богатством владел пан Кочубей, наказной атаман, генеральный судья...

Иван оставил нас у людской, велел ждать, а сам ушел. Спешить некуда,— сели мы на крылечко. Никанор и говорит:

— Про Кочубея сказывал мне наш архимандрит,— он сам из здешних, не то из Диканьки. Думать надо, Кочубей хочет ему письмо послать или поклон.

И стал переобуваться, лапти новые приладил, ношеные спрятал в суму, косицу заплел, и руки вымыл, и мне то же велел сделать.

К вечерне пришел Иван и повел нас через сад в церковь. Что за сад! Густой и прекрасный. Вдоль до-

рожки стояла сирень, до самой земли легла цветами: такая пышная. От духу ее Никанор носом повел и ткнул меня ногтем в щеку:

— Запомни, запомни сей сад. Когда помирать будешь — оглянись!

И вот уже смерть моя скоро, и я не забыл этих слов и того прекрасного сада.

После вечерни вышла к нам атаманова жена, Любовь, и расспрашивала, и Никанор ей отвечал. И она велела нам идти в дом ужинать. Сели мы в беленой большой кухие за двумя столами. Никанор — к малому столу, под образами, а я — ближе к двери, с челядью, казаками и Кочубеевым сыном. Сидим, еды не касаемся. Вдруг слышу — двери в горницах захлопали, идет человек, по шагам слышно — властный. Я вытянул голову из-за кривого казака, что локтем придавил меня к стене, вижу — вошел Кочубей, приземистый, широкой кости мужчина, горбоносый, и голова не бритая, как у казаков, а курчавый, седой, с седыми же усами ниже плеч.

Вошел, на нас из-под бровей посмотрел и к образам повернулся. Мы поднялись и запели вечернюю молитву и «Отче наш». И я, к слову сказать, глядя на могучий затылок атаманов, соловьем залился,— до того угодить захотелось такому дородному боярину. Отпев, сели. Молодая женка, стряпуха, поднесла каждому по чарке горилки, поставила щей в мисках, и я оскоромился.

Напротив меня сидел молодой казак. Смотрю — потупился и не ест, мосол положил, и кровь у него так и взошла на щеки. Эти дела я очень понимал в то время. Опять выглянул из-за кривого,— за малым столом сидит Кочубей, рядом с ним Никанор жмется, напротив — Любовь, атаманша, черноватая старуха, к слову сказать, мало похожая на боярыню, а вроде ведьмы, про которую нам чумаки рассказывали, и спиной ко мне, на раскладном стуле,— когда она вошла, сам не знаю,— сидит женщина молодая или девица, на руку облокотилась, голую до локтя, в парчовом платье не нашего крою, перетянутая, с пышными рукавами, и две темные косы у нее вокруг головы окручены. Слышу, говорит ей Любовь:

— Ты нос не вороти от отцовской пищи, для тебя, матушка, отдельного нынче не варили.

Пожевала губами и — Никанору:

— Вот, отец, послал нам господь за грехи горе с дочерью.

Но тут ей Кочубей басом:

— А ты, Любовь, помалкивай, лучше будет, да...— И дочерн пододвннул локтем миску с варениками.— Ешь, ешь, Матрена!

Она взяла спицей вареник, вижу — скушала и опять подперлась. Но тут н на наш стол подали вареников шесть мисок, кривой казак засопел, заложил усы за уши и так затеснил меня, что за его спиной я так больше и не увидал красавицы.

Когда все разошлись, Иван позвал нас в горницу. Там сидел Кочубей на подушке, сосал трубку, отдувался.

— Вы,— спросил он,— в Киеве недолго задержитесь? Оттуда прямо домой?

— К жнитву надо быть домой,— отвечал Никанор.

— В Москву заходить не будете?

— Нет, в Москву нам заходить большой крюк.

— Ну, ну,— н полез Кочубей в шаровары,— вот, отец, отнесешь в монастырь два рубля — жертва, а это тебе ефимок, а это товарищу твоему,— и подает мне семь алтын.

Мы благодарить стали, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дарами: по холсту нам польского полотна, да по два полотенца, да пирог большой на дорогу. Дары положнла на стол. Мы опять благодарим. Она говорит:

— Переночуйте у нас, странные, у нас хат много. Завтра обедню отстоите, пойдете.

А Кочубей все трубку сосет шибко и поглядывает на нас. Потом взял ковер с лавки н прикрыл дары на столе. И нас отпустили.

Тот же Иван отвел нас в пустую хату. Никанор сейчас же заснул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песни поют.

Поворочался я под армяком — тоска, сердце стучит, н вышел, будто по своему делу, нз избы на волю. Ночь светлая; у конюшни в траве лежат парни. Один поднялся и побрел, бегом побежал, гляжу — за деревьями девичья рубашка белеется, он — туда, и сели в

траву. А мне-то что же делать? Подошел к парням, они спрашивают:

— Что, москаль, не спишь, или блохи заели? — и смеются.

Потоптался около них, побрел к воротам, на лавке сидит казак и с ним женка, та, что нам ужинать собирала. Обернулись ко мне — зубы скалят. Обошел кругом весь двор,— где что зашуршит — так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть!

Дошел я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях и гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущи темные, пышные. На высоких тополях листы блестят. И тихо, так тихо — слышно, как на реке Семи ухают лягушки.

И во мне,— в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где дыхание,— музыка началась. Будто слышу я — пение множества голосов и слышу колокольный голос, веселый и частый, и хор то покрывает его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слезы душат.

И будто пение слышу я из храма. Обернулся — на двери висит большой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, заутреню служат?

И так мне стало страшно,— сполз с паперти и побежал по саду. А сирень мокрыми кистями — хлысть, хлысть по лицу!

Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, и боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, а за ними — окошко и в нем сидит женщина и смотрит на меня, в лунном свету, вся белая, только брови темны, да глаза — как две тени. Узнал ее — Кочубеева дочь, Матрена.

Она спрашивает тихим голосом:

— Кто это?

Я молчу.

— Подойди ближе.

Я пододвинулся.

— Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да нечем; сама, как пленная, у батюшки живу.

Лицо у нее строгое, брови темные, монашеские, а губы как у дитя. И все ее точно прядка волос щекочет — проводит пальцами по щеке.

— Ты зачем к нам в сад забрался? — она говорит.— Вот пожалуюсь батюшке — запорют тебя казаки плетями.

И сама усмехается. Я гляжу на ее красоту, н в дыхании моем все затихло: как ночь стало.

— Как тебя зовут? — она спрашнвает.

— Трефнлием.

— А в миру как звалн?

— Тишкой.

— А не грех тебе по иочам с девками разговаривать? Ведь девка такого наскажет,— потом иа коленках не замолншь.

И опять засмеялась.

— Ушел бы ты от греха, право. А то и тебе грех и мне грешио. Кабы ты был монах старый. Уйдешь или нет? — Тут она вздохнула.— Скажи, Тнхон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать не дает? Скажи — большне нам будут муки или все здесь на земле простится? Подойдн ближе.

И я совсем уже рядом стою, чувствую, какая она сидит горячая, усмехается. А глаза темные, мрачиые, не иа меия глядит... Вот грешная!.. Вот грех-то!.. И говорю ей:

— Отпустн. Я уйду.

— Монашек,— оиа говорит,— кабы ие бог — кто бы тебя привел под мое окошко... А ты бежишь...— Положила руку мне на плечо, и чувствую на затылке ее пальцы. И клонюсь, покуда лицо к ее лнцу не подошло... Губы ее, вижу,— дрогнули, раскрылись... Отвернулась оиа немного и говорнт:

— Помоги мне. Спаси меня. Погнбаю. Приведи мне коия. У коновязн всю иочь оседлаиные коии стоят... Отвяжн двух, приведи к церквн и жди... Приведешь?.. Не сробеешь?..

Нагнулась быстро и губами тронула меия, как углем... Соскочила с подоконннка и шепчет нз темиой горинцы:

— Идн, ндн... Торопнсь...

Тут взял меня такой озноб, такая радость... Ничего не понимаю,— одно: коией привестн...

— Ладио, ждн! — говорю, н побежал.

На дворе все спать полеглн; месяц закатывается, виден над самой крышей; тнхо: только за воротамн сторож колотит в колотушку.

Я крадусь от дерева, внжу — коновязь, кони хрустят сеном. Только вышел на открытое место — однн

повел глазом, обернул ко мне морду н заржал звонко, протяжно.

И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне, в иаваждении. Крещусь, бормочу: «Да воскреснет бог...» И слов не слышу, одно чувствую — иа шее пальцы Матрены, точно в печь огненную тянет она меня.

Понемногу обошелся, отпрукал коней, кннулся жнвотом на одного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади — как заржет конь в другой раз, и собака завыла.

Я доскакал до сада и только свернул иа дорожку,— иавстречу бежнт человек, раскрыл руки и крнкнул:

— Трефнлий!

Гляжу — Никанор. И сила во мне вся опустнлась. Он подбегает, ухватнл за ногу, тащит с седла:

— Слезай, вор! Слезай, погубитель! Убью зажнво!

А на дворе уж голоса слышны, погоия, конскнй топот.

Ннканор поволок меня через кусты в сад, в самую глушь, повалил лнцом в землю.

— Молчн,— говорит,— молчи! Найдут — жнвыми не быть! Ах, вор! Ах, небитый!

И таскал меня за волосы, однако не делая большого шума.

А когда погоня затихла, прнвел обходами в нзбу, толкнул перед образом на колени и начал допытывать. Я молчу. Он опять за свое — за волосы таскать.

Я молчу, он передохнул да как урежет посохом меня по крыльям: «Сыну, говорнт, желай добра — ломай ребра».

Тут сердце во мне закипело и отошло: разжал зубы, залнлся слезами и рассказал все, не утанл нн крошкн.

Ннканор испугался:

— Вот беда, сынок! То-то в народе говорят недоброе про Кочубееву дочь. Ах, ах! Да знаешь лн, куда она скакать-то хотела с тобой? Уходнть нужно отсюда. Бог с нними, с дарами!

Этой же ночью мы тайно ушли со двора. На рассвете добралнсь до рекн Семн н сели на бережку, дожидаемся перевоза, молчим.

Утро ясное. Над рекой, в камышах, туман курнтся. Свнстят кулнчкн. Небо просторное. Земля широкая и вьется Семь синей водой далеко по степи.

Я лежу на спине, н будто не мое это тело, ие моя душа. Уйду, думаю, лнбо на Дон к казакам, либо за море, награблю золота у татар или у персов, вернусь к Матрене как женнх. На что мне душа, еслн нет ей погнбели?

Вдруг видим, скачет верховой и нам колпаком машет. Никанор мне тотчас скороговоркой:

— Рыбанька, если что,— отрекайся и отрекайся, будто мы — и не мы, знать ничего не знаем.

Подъезжает казак Иван н начал нам выговаривать — зачем ушли, и даров не взяли, и не прощались. А про давешиее не упомяиул. Хлестиул плетью по оводу.

— Атаман,— говорит,— честью вас просит вернуться, а невежества не потерпит.

Делать иечего. Вериулись мы на усадьбу. Никаиор к обедие ушел, а меня запер в избе, велел читать Исусову молнтву и углем отмечать, сколько раз прочитаю.

В избе сухо, жарко, сверчки трещат. Я стою иа глиняном полу, иа коленях, повторяю: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помнлуй меня, грешиого...»,— и чнркаю угольком по стене. И не то, что греха своего ие чувствую, не поннмаю святых слов — более того: все, что было и что помию,— степи, и чумаков, и степиых птиц, и хутора иад Днепром, и Кочубеев сад, и храм, полиый ангелов, и ангелы, как птицы над куполами, и Матреиу в окошке, и губы ее, и дикие глаза, и белая рука у меня на затылке, и конь ржущий,— все это закружнлось перед глазами. И точно ветер прошел сквозь мое тело. Такая радость — свет божнй! Слава тебе за жизнь и за свет, за тело и за дыхание. И слаще всей радости одолел меня сладкнй сон. Заснул прямо на полу. Потом слышу голос:

— Трефилий, а Трефилий, будет спать-то!

Смотрю — у стола сидит Никаиор. Перед иим лежат дары.

— Вставай, беда случилась.

— Какая беда, батюшка?

— Извет. Государю иашему донос. Кочубей сказал за собой слово иа гетмаиа Мазепу.

И Нниканор стал рассказывать, что было. После обедни подходит к нему казак Иваи и говорит тайно:

«Кочубей-де велел тебе быть в светлице. Когда увидишь, что у светлицы его людей не будет, иди в горницы, и двери за собой затворяй, и затворы накладывай, и так дойдешь до светлицы, где атаман живет». И Никанор пошел, и двери за собой затворял, и накладывал крючки. В светлице с голландской печью, с коврами и седлами на стенах, встретил его Кочубей и спросил Никанора, какой он породы, и спросил, можно ли ему верить в тайном слове. И Никанор сказал — верь! И целовал крест наперсный. В то же время вошла Любовь, принесла благословляющий крест, деревянный, с мощами. И они дали Никанору тот крест целовать, и целовали сами. И Любовь сказала: «Гетман Мазепа, Иван Степанович, вор и беззаконник,— дочь нашу родную, Матрену, свою крестную дочь, хотел взять замуж. И они ее не отдали, потому что она ему крестная дочь. Он же зазвал ее хитростью в гости и испортил, и она теперь женщина, и живет как безумная и порченая, едва силой удерживают, чтобы не бежала к нему, к Мазепе. За это Мазепа на них зол и грозится головы оторвать, оговаривает, будто они с мужем тайно переписываются с Крымом». Кочубей в это время ходил по горницам, смотрел — крепко ли затворены двери, нет ли кого из челяди, и, вернувшись, сказал:

— Гетман, Иван Степанович Мазепа, хочет государю нашему изменить, отложиться к ляхам и пленить Украйну и государевы города.

И велел Кочубей идти Никанору в Москву — донести об этом боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, не теряя времени, чтобы успеть гетмана захватить в Киеве.

Шутка ли — идти в Москву с доносом! Хлебнешь горя на допросах, не поверят — пытка, а поверят — все равно на цепи целый год будут держать.

Измучился я, слушая Никанора. Вспомню вчерашнюю ночь, и так злобой и зальет меня,— горло бы перегрыз старому погубителю, распутнику, вору! Надвинул колпак и говорю Никанору:

— И думать нам нечего. Хоть умереть, а государя известим об измене. Идем в Москву.

И пошли. И промаялись мы всю осень и зиму до великого поста. Таскали нас по приказам. Возили в кандалах в Смоленск. Никанору ноги поморозили,— сов-

сем старичок ума решился. А я терпел. Как тогда окамеиело сердце — так н лежало камием. Пытки принимал без крнка. Многое передумал, лежа в подвалах на гнилой соломе. Так и положил — быть греху с одной Матреиой, а не быть — замучаю сам себя. Молод был, горяч и обет свой монашский не нарушал.

Государевым прнказом дело велено было прекратить. Выдали нам пачпорта — отпустили на четыре стороны. До весны прожилн мы в Москве за рекой Яузой, у стрелецкой вдовы, а чуть стало теплее — поклоиился я Ннканору в землю, попроснл благословения н ушел по Курской дороге. Шел — всё песни пел.

Около Курска меня поймалн драгуны как бродягу н забрилн в солдаты. Сначала бегал, конечно,— ловилн и пороли сильно. Только от злостн и жив остался. Потом попривык н научнлся грамоте. В то время можио было нз простых в люди выходить, и я первую иашнвку получил в баталин, когда билн мы генерала Левеигаупта.

А месяца за трн до этого послан я был в Борщаговку в гетмаискнй обоз за порохом. Подъезжаю иа вечерией заре. Смотрю — за селеиием иа поле стоит высокий помост, кругом — в две шеренги солдаты при оружии и с барабаном. За ннмн казаки, бабы, простой народ. На помост вводят двонх, развязалн им рукн, они крестятся.

Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь... Господи, Кочубей!.. Старый, седой, бородой оброс, голова трясется. Палач схватил его за курчавые волосы, прнгнул к плахе н ударнл топором по шее, как мясо рубят...

У меня глаза закатнлнсь, закачался в седле. Народ валит назад, расходнтся... И мимо меня иа вороном жеребце едет шагом худой, носатый старик в белом кафтане, лнцо землнстое, глаза наполовину закрыты, на шапке дрожит, сверкает алмазное перо. Проехал, н вином от него сильно запахло.

Да... знать бы тогда мие в лицо гетмана Мазепу,— не разговарнвал бы с вамн сейчас!

А Матреиу, говорят, казаки в обозе задушили попонами в ту же ночь.

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят — решетом не покроешь. Одолели смертные мысли, взял страх,— волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем бог меня вразумит.

Как вешним водам сойти,— послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей копченых, полбочонка меду да бочонок яблок моченых, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видели грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то,— господи боже. Плюнул, положил тетрадь за образ заступницы: дрянь люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но, отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта. Его еще и по сию пору помнят в нашем краю.

. . . .

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе материн дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал псалтырь, и был в

дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, при церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой,— либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в городах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непролазной стеной.

Старики говорили,— велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню,— уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод,— с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города,— кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде средн пуста — заколоченных лавок, бурьяна на огородах — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гуляй-города да казенные ямщики.

В пустом городе — скука. Одни галки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, что на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву,— дикие звери белым днем драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончание веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, нечесаные, и бра-

нятся материо, а иные борются н на кулачкн дерутся. Я их срамить. А одии мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть иам под Борисом нельзя,— мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, к атаману Вороиу Носу. Вы еще нас попомните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужииали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрясника полбока выдрано,— тело видно. И стал ои говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышалн — скачут коии, а ии коией, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместиый, протопоп мие по шее дал: «Николай-чудотворец, говорит, н без тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку бараиью,— я уйду в степь — воровать. А не дадите мие шапку да полушубок — иаложу на вас епитимью,— я еще не расстриженный, — нли еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас диа иет.

Сейчас же далн полушубок, н шапку, н пирогов иа дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатиый, говорит, раз». Глаза кулаком вытер крепко и ушел — бухнул дверью. И слышим — засвистел в темиоте, на улице, нз слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала,— так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более года. Голод, слава богу, кончнлся, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на площади у пустого гостииого двора, н пойдут разговоры: никому не до торга. Собьются в круг и слушают рассказы: про то, как зиающие бабы вынимают человеческий след, н след тот сушат в печи, н толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыии колдуиы, разбрелись по русской земле,— иапускают порчи, засушье, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем колдуиам велел польский король, и про то, как по деревиям шатаются

лихие люди — скоморохи и домрачеи,— бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рогожиую палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд — бездна. Так все село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и пол-языка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Димитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — идти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-чудотворца,— звонили хорошо, уныво. Денек,— тоже помню,— был серый. За рекой галки летали: подымались под небо и тучей падали вниз, на черные избы,— птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идет, руками болтает,— прямо к площади, где толчется народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц:

— Глядите,— кричит,— воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный! — шапку с себя, войлочный колпак, содрал,— народ православный!.. Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, за-

шумел, сбнлся кучей к столбу, н дьячок Констаитннов стал читать:

— «Во имя отца н сына и святого духа. Не погнб я воровским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвел руку убийцы, зарезали иного отрока, ие меня.

Ныне я собрал иесчетные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истиииую веру н за Бориса ие стоять, а кто захочет — бегите к казакам иа Дон».

Тут все сразу увндели, что прелестная грамота была от царевича Днмнтрня. В народе закрнчалн: «Постонм, не выдадım!» — н шапкн кверху началн кндать. И шапки летят, и вороиы летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольннк Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велнт стрельцам иарод разогнать. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводнному коню. «Говори, кричат, правду: кто истиниый царь — Годунов илн Димитрий?.. Животы хотим положить за истнниого царя».

Дьяка Грязного стащнлн за ногу с верха, и бнли безвинно топтунками, и волокли по навозу,— хотели топнть в полынье под мостом. Воевода воровства не унял,— ии с чем уехал на свой двор, велел затворнть ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забнл набат. Говорилн потом — колокола самн звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Виделн — снег был красный, как кровь. Птнцы — вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнем. И еще виделн в иебе, иад дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у нее торчали дыбом, на руке держала она мертвого младенца.

В ту же иочь стрельцы разбили воеводииы ворота и бегали по двору, ругаясь матерно, искали воеводу убнть н, ие найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, н пнлн сами и понли земскнх людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший иа торгу прелестную грамоту. На другой день коломеиские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместиый поп. А его н след простыл, ушел и увел с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободскнх ребят. Ушлн оии на телегах, взяли с собой наряд — едииорог — и двухфуитовую пушку, пушечного зелья и рухлядишки, что успели награбить.

Еще миiуло более году. Всех бед н не запомиишь. Царь Борис умер: сел ужииать, и лопиула у иего утроба, нзо рта потекла грязь. Воевода Басмаиов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкии, читали перед иародом грамоту,— сулили великие милости. Народ взял тех послов, повел иа Красиую площадь, н там оии читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иваиович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кииулись в Кремль, побили кольями стрельцов у Красиого крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Федора с царицей и поволокли через крыльца н переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красиой площади. Грабили лавки иа Варварке, и иа Ильиике, на Маросейке. На плавучем мосту через Москву-реку резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Миого было разбито кабаков, выпито вина. И такие последиие людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы,— московский народ только крестился, плевался, дивился много: иу, и иечисть!

На другой деиь приехали от царевича киязья Голицын и Масальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу-мать, и народ выкрикиул царем Димитрия.

Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломие. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно и в ироде шатость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Димитрий своих людей сторонится и зиается больше с поляками.

В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растет скудно. На самое Крещенье, на Москве-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Димитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над русской землей?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее надоумили протопоп от Николая-чудотворца и толстая попадья — бить государю челом на деревнишку,— просить землишки, черных людишек и животов, и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний,— смотрю,— Наум, я сразу его узнал, в черном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный,— едва сидит в седле.

— Эй, дьявол! — кричит Наум.— Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки,— отвечает,— можно, любезные, пиво у меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня,— сел на бревнышко у крыльца.

— Из Димитриевых али за истинного царя? — спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду.

— Мы люди посадские,— отвечает,— мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты сума переметная, сукин ты сын! — говорил ему Наум.— Да разве Димитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мел. Я-то уж знаю,— я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушел он в степь,— конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по железному колпаку,— всего окровавил... Господи прости, сколько мы русских людей побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придешь в кабак, из-за стола тебя выбивают вои... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо,— сказал ему Баулин,— поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди,— ужотка вам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам,— только пыль да куры полетели в стороны.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор,— кланяться, просить заступиться перед царем за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярнн-князь Василнй Иваиович Шуйский вышел к иам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомек нам было, что уже ие киязь — плотный, инзенькнй старнчок в собольей зелеиой шубе — стоит перед иамн, а без двух дней царь. Борода у иего была редкая, мужнцкая, лнцо одутловатое, щекой дергает, а глаза — щелкамн — большого ума, ие давал только в иих взглянуть.

Сказал иам боярни-киязь тоикнм голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужио за твое снротство, матушка княгння, ио обождн, обождн, ох, обождн. Ныие все мы под богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтня Туренева, помию хорошо,— при царе Федоре он на три места нньке меня сндел: я, да киязь Мстнславскнй, да князь Голнцын, да Тверской князь, Патрнкеева рода, а после него место Туреневу, и ему воеводой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьнм воеводой. Мальчнку-то вели это заучнть.

Князь погладнл меня по голове и отпустнл нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там — ие протолкаться. Народ так и лезет стеиой,— боярские детн, стрельцы, персюки, татары — в пестрых халатах, полякн — в голубых, в белых кафтанах, ниые с крыльямн, а нашн — в зеленой, в коричиевой,— все в темной одежде.

По бревнам громыхают телегн. Или проскачет боярни в медной греческой шапке с гребешком,— впереди него стремяиные расчищают плетьми дорогу,— опять давка.

У кремлевской стеиы стоят пнсцы, кричат: «Вот, иапншу за копейку!» Попы стоят, дожидаются иатощак — кого хоронить илн венчать, и показывают калач, крнчат: «Смотрн, закушу». Кричат сбнтенщнки, калачннкн. Дудят на дудках слепцы. Между иог ползают безногне, безносые, за полы хватают. А в палатках понавешено товару,— так и горнт. Из-за прилавков купчншкн высовываются, крнчат: «К нам, к нам, боярни у нас покупал!» Пойдешь к прнлавку,— вцепнтся в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйтн ин с чем, начннает ругать н бьет тебя куском полотна, чтобы купнл. Подале, иа Ильиике, на улнце, сидят иа лавках

людн, на головах у них надеты глиняиые горшки, н цыгаие стригут нм волосы,— Ильннка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясеине в ногах. Вериулись мы иа подворье н рано леглн спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прнбегал, велел схорониться: говорнт, чье-то войско на Москву идет, уже в город входят».

И мы слышим — топот миожества иог и скрип телег многих, а голосов ие слышно,— входят молча. Вдруг застучали в ворота — отворяй. Матушка меия схватнла, спряталнсь мы на сеновале н до утра слушалн,— нет-нет да и ломятся к иам иа двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемиадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж буит — стрельцы жалованья просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя к Голицыну, н Шуйскнй будто сказался больиым, а ииые говорят,— видели его ночью у Арбатских ворот иа коне.

В самый завтрак к иам иа подворье забежал божий человек, голый, в одиих драных портках, иа шее у иего, иа цепи, висят замки, подковы и крест чугуиный. Матушка взгляиула иа иего,— вся в лице переменилась и положила ложку. А божий человек смеется, морщится, шею вытяиул —и иачал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Зиаете?.. Его же, и ныие его зарезали, сам, сам видал,— вот она.— И протягнвает тряпочку, всю в кровн.— Поиюхайте, ие жалко, царская кровушка медом пахиет... А когда еще раз, в третий раз, резать-то его стаиете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась иа скамейку. Спрысиули ее с уголька, она вскииулась.

— Царя убилн! — кричит.— А вы тут ложкамн стучите... Идем, идем скорее.— И тащит меия за руку нз-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота иас ие пустили,— в воротах н у моста через Неглииную стоялн казацкие воза, кони у

коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди,— крик, давка, визг бабий... Смотрим,— сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зеленые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка,— Лобного места,— кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно,— на лицо надета овечья сушеная морда — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребята, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушел...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мертвому телу,— гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волоса — растерзаны.

— Вот вам крест святой,— закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма,— этот на лавке лежит царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо еще мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашеная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот,— хотел, видно, засмеяться,— но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, отворились ворота, и выехали бояре,— впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробились мы к Москве-реке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба,— казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от поборов, от кормовых, от государева тягла разбредались розно — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Дмитрию, он тогда из Москвы ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховский, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась мордва на Нижний Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шел он из литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был

у князя Телятевского, и бежал, и попал в плеи к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Веиецию-город, а оттуда пробрался иа Русь, будь ои проклят... И иыие кидает по городам воровские письма.

Болотиикова прелестиые письма протопоп показывал иа торгу и читал их:

— «Во имя отца и сыиа и святого духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр и жеи их, и вотчииы их и поместья брать иа себя. И велим вам, слободским тяглым и чериым людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жеи их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безымеииым людям, хотим давати боярство и воеводство, и окольиичество, и дьячество...»

На святки иочью ворвались в Коломиу воры иа ста двадцати саиях. Матушка услыхала иабат, оделась, одела меия, сияла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луиа высокая, ясиая. Мимо, по улице, скакали саии, полиые воров. На ворах шубы, иа иных ризы. Хлещут по лошадям, иоги задирают, орут — все пьяиые... У Николая-чудотворца часто-часто страшио били в большой колокол. Воры доскакали до площади и сбились у воеводииа двора, стучат в ворота, ломают ставии. Мы с матушкой вериулись в избу.

В избе даже иашей было слышио, как иачал кричать человек иа площади. Ах, душегубы... Толстая попадья иам потом рассказывала,— сама видела, как вытащили воры воеводу из избы иа сиег, одиорядку, рубаху содрали и иожами резали у иего из спииы ремии,— допытывались, где казиа зарыта.

Ворота мы так и ие заперли,—все равио воры выломают. Матушка поставила иа стол образ заступиицы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим иа лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел сиег — идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меия Христа ради,— сказала матушка, перекрестила и прижала меия к себе.

В дверь ударили иогой, в избу вошли воры. Впереди — Наум. Шапки ие сиял, ие помолился и говорит застужеиным голосом:

— Ну, поели иашего хлеба досыта,— ступайте...

— Наум,— спрашивает матушка со слезами,— ты ли это?

— Звали Наумом. Ныне я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твое, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословенными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не впускали, потом, глядим,— над воротами высовывается растрепанная голова. Это был сам протопоп,— узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопопа в черной подклети. От горя, от дыма горького, от черствого хлеба столько слез пролили — на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозваным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка,— погуляли, потешились в свое время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве воздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор — никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с боем овладеть Москвой,— подбивали его к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни Иваньково, дрались на Яузе, на Ходынском поле, захватили у москвичей Гуляй-город, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Троицу. Сапега разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север — грабить северные города.

В Москве опять начался голод, а в Тушине — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за простыми потянулись служилые и дворяне — просить у вора деревнишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и Хворостин, и Плещеев, и Вельямннов. Вор жаловал — иным вотчины, иным окольничество, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кланяться вору на деревнишке:

— Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитем, как обкошенный куст.

А ехать было страшно. Как тогда весной Болотникова разбили,— Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в окрестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень,— тогда они сделают пустоту.

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поляками, зажег Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушином и пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги тоже пошел на Москву и стал в селе Коломенском. Такая поднялась смута — разобрать ничего было нельзя.

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник с гусарами, дворы, что остались целы, выграбил, много народа порубил, посек и порохом взорвал городскую стену. Мы в погребе отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят,— Христовым именем.

Помню,— поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под горой, вьется лазоревая река, и на реке, на зеленых холмах, стоят храмы, белые и златоглавые, три стены идут кругом города, за стенами — сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Матушка глядит на Москву, молчит, и слезы у нее полились.

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки, стрельцы, и посреди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в черной однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, на шее жилы надуты. На весь народ человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушином лучшие русские люди побиты. Долго еще нам терпеть?.. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь нужен молодой,— простой царь. Чтоб он лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царем за веру православную, за русскую землю души наши положить. Храмы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жен наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел народ.

Матушка спрашивает у одного посадского,— кто таков человек — кричит на возу?

— Да ты разве не видишь,— отвечает,—Прокопий Ляпунов.

В тот же день,— мы узнали,— народ ссадил Шуйского, ссадили, и пошла резня. Черные люди хотели вора на царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые люди — Михаила Романова, бояре — королевича Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаяли все тогда,— скоро смута кончится. А она только еще разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять — и думать было нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел,— рукой махнули: хоть черта царем.

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскворечье добрые люди. Мы видели, как вошел в Москву гетман Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Нижнего и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским,— осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по

ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь,— как на семя-то осталось русского народа.

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, ие на что надеяться. Ожесточились сердца. И русские люди взяли наконец Москву и вошли в опоганеннный Кремль. Я сам видел, как со стеиы скидывали в Москву-реку бочки с человечьей солониной. А когда в храмы вошли — только рукой махиули, заплакали. Смута кончилась. Но радости было мало: кругом, куда ни поезжай,— ии сел, ии городов,— пустыня, погост.

И еще помию я, как в осеннюю ростепель, в ветреиый, серый денек, вышел народ на московские заставы в поле и стоял без шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге ехал возок. Тяиули его две пары разнопегих лошадок к веревочной сбруе, с подвязаиными хвостами. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драиый, угрюмый иарод глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязио было прииимать венец Михаилу Романову, тяжко, уныло.

Вдруг к возку кинулся человек в рубище,— упал в грязь иа колеии и грудь себе ногтями рвет... Вижу,— опять это Наум. Возок проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от иего до самого Кремля... Бежал, выл,— юродствовал.

С Романовыми были мы в дальием свойстве, матушка била молодому царю челом иа деревнишке, и царь пожаловал нам сельцо Архангельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как на верную смерть, по всему северному краю бродил разбойничий атамаи Баловеиь с черкасами, литовскими и русскими ворами, никому не давал пощады: поймает человека, набьет ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олоицу и всех истребили на заоиежских погостах, самого Баловня привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратига Михаила после обедни, позвали меня к царскому столу,— в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с детьми дворяискими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь — худощавый отрок — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, все больше на руку облокачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклонялся и шептал ему, царь поднимал лазоревые глаза и улыбался,— и то одному боярину, то другому посылал чашу.

Зато бояре ели сытно,— наголодались, захудели: иной был в нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скоморохов и дудошников.

Привели скоморохов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю,— один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики,— Наум: сытый, и борода расчесана, а глаза мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует,— кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладиной.

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок никто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год насыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет. Да с тех же дворов сходится на всякий год запасу — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадушек соленых лягушек...

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали бояре,— тряслись на лавках.

Вдруг один дворянин встает и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В прошлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо,— говорит,— мы его возьмем... Я сам дело разберу.— И он опять засмеялся.— Ведь дурак правду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве — всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку. Жили мы большой семьей в орловской вотчине. Царь Михаил умер. Начались опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и палаты, заводили новые порядки. Москва богатела, но в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу,— искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а народ — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять неспокойно,— шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, Христа ради, в Преображенскую пустынь, поклонитесь блаженному Нифонту.

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть,— расскажите иам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был он великий душегуб и злодей. В пустыни принял великий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и божью матерь, и ругается чер-

но, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь — не мог ее выломать, кидался к окнам, к решеткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумен велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколосился,— буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берет их на руки, и целует, и глядит, и глядит им в глаза, и детям оттого легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый петровский пост я с семьей пошел на богомолье. Посетили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной,— покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, в черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто травы не касаясь ногами.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой,— ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак,— превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы — халат из пиренейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери,— Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть,— хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно,— вот так, в тишине,— вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь я — сырой, срамной. Плюй

мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки.. Всего ей мало,— чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я,— закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка,— мы не дети.

Удивительно, живешь и всё больше убеждаешься,— какая сволочь люди,— унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег,— идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье, проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да, к черту...

Французишки тоже хороши: салатники,— покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй,— оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

. . . .

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру. Дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

. . . .

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар [1] во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее бистро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крыши бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов,— Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

. . . .

[1] *Пинар* — дешевое вино. *(Прим. автора.)*

На чем бишь остановился? Да,— мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви — залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки,— дрогнешь, Медея, выставишь еще бутыльмент...

. . . .

...Это всё, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами,— давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина,— как ее, черта, забыл имя,— из театра «Водевиль». Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре — женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрыжка старого,— будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда — владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человечком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной,— видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки — отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

. . . .

...Абажур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул

ваш гуманизм вонью на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни,— покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане — чистые носки и воротничок,— берегу их на особенный случай, в правом — карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва.. Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит, звенит в голове,— пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне — тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В Готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

. . . .

...Друг мой, Михаил Михайлович,— я знаю,— часа уже три бегает по Парижу, прямененький, страшененький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша,— этого бистро вы не знаете. А вдруг — зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне — зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года, в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда летом нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвастовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у

Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За ними шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом,— даже нехорошо,— любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало — заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома,— научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю — у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояля на ковер, расстегивает мундир,—в руках бутылка с коньяком и рюмка,— слушает и раскачивается, припухшее лицо его — бритое и красное — всё смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней,— надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит исступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, разлились дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него — не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми,— всё это важно.

Его род — не древний, от опричнины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры,— зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосья святых отцов, скликал дудочников и скоморохов,— и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака,— как был — в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках,— и летел впереди полка в дикую степь, завизжав,

кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле,— плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков... Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж — он как в бане моется, дрянь из него выходит,— хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят — он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот всё, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах,— премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой,— город одиночества. Идешь в сумерках — дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный,— сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка,— одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет неперестаеваемый поток существ.

А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, всё помнит — и голоса счастья и стоны смерти,— всё сберегает — суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания,— всё запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

. . . .

Всё пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? — только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж,— с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кровушкой,— переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами,— медь о медь,— древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоотверженностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые — самые неостроумные — воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые — остроумные — занимались спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд — это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: всё валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится,— от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, напле-

вать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал самого себя, горел в собственном чаду. Огонек был страненький — шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня — содовой и пикону. Мы курили и пили,— с утра становилось наплевать на всё. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дымим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало,— больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеем,— насладиться мясом и вином. Да, черт,— хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет,— дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел,— блаженно билось сердце.

Падающая и вдалн, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, средн весенней зелени, среди облачных домов,— в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях,— непомерно широкая дорога Елисейскнх полей уходнла в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мнмо меня по торцовой мостовой проехалн гуськом механнческие кресла с безногнми солдатнками. Идноты! Бездарные, жалкне дураки! Я купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпилн коньячку, закурилн. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так,— н зарылся носом в подушку.— Так, так,— подскочил н перевернулся на спину.— Лопнула! Хн, хн. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кнрпнчом ударнло. А Михаил Михайловнч хихикал и дрыгался, как гальваннзированный лягушонок: «Вот тебе Внзантня! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатырн! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи-хи! Еще хуже — духоты напустила. Бум! — колокол Града Кнтежа. Полезлн покойннчкн. Встали покойннчкн от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватилн рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хн».

Черт его знает, что с ним тогда пронсходило: он скрипел зубамн, корчился, омерзнтельно хнхикал. Когда прншла весть об отреченнн царя, Миханл Мнхайловнч сказал: «Сегодня кончнлась история России. Шабаш». Он заставнл меня играть Вагнера «Гнбель богов» н с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахнвая рюмочкой. Мы ужасно напилнсь в тот день.

Парнж был в тревоге и недоуменни. Французы ходнли со строгнми «романскнми» глазамн, топорщили усы. Было от чего топорщнться: русская задннца подпирала их прочно и вдруг — поехала, расползлась. У меня, например, в этн дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обенмн ногами на земле: за спиной — 185 мнллнонов *мужепесов,* нмперня, закон н прочее, вплоть до тетушкн Епанчиной с большнмн рысаками. Всё это я мог поноснть и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спнной — холодок и пустота. Земля уходнт! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска,— красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и,— какой уж там спуск,— даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбегу, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяснил он обуревавшие в его лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы — свободный гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и предана и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин тряхнул стариной, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин ска-

зал, что «пошлем иепременно». Он иосился с баикетов на фроит и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить всё же было можно: жалованье платили, войиа продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших коичать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красиую гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакаи с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Ои был в пиджачке, в надвииутом иа глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?»— спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую тросточку, глядел мне в глаза свиицовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если ои не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два наглейших прошения об отпуске по болезии. Михаил Михайлович показал мие чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня иачалось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспомииать! Было волшебно. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщии, как птиц, согиал сюда грохот войны. Их было миого здесь,— царство жеищин. Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эсплаиаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любовниками.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный ромаи с фаитастической американкой, ие то птицей, не то ребеиком. Я же, из соображеиий практических, искал зиакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шофёрам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит; приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих полушарнях мадемуазель Сальмон,— шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам,— кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребе с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не подинмешь его — проваляется весь день, толкнешь — пойдет. Когда мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция,— я это ясно видел,— кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо,— немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое — Рассея — расползлась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами,— была бы у нас великолепная неметчина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым востор-

гом... А Рассею — загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешись, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пройдет,— увидишь,— хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век,— да, да, именно,— абажура, кофейку, тишины... Отними у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру — кукиш! Ну ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут,— французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя,— били.

Помню,— стоял я на бульваре, читал газету: руки ходуном ходят, в глазах — муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Клочья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что ухватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова,— старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Всё мое состояние — в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я — гениальнейшим, молниеносным прозрением — вдруг отрекся от самого себя: оказалось — зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом,— то есть горлышком разбитой бутылки,— одного русского,

Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, н что со всех русскнх нужно драть кожу... Кляиусь тебе, это было мистическое перерождеине. Уходнл с бульвара уже не я, не Сашка Епанчии, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дия перемеиил несколько гостниц и окоичательно замел след в квартале Сен-Деии, в одиой из стариииых уличек, населеииых проститутками, сочиителями уличиых песеиок, певцами, мелкими ремеслеиииками. Отлнчное местечко. Населеиие в сущиости жило иа улице среди лотков, тележек с овощамн, жаровеи, где пеклнсь каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликалнсь девчоики, полураздетые молодые люди,— пели, пнщалн, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь,— даже войиа с трудом могла омрачить ее.

Я кииулся разыскивать Реиэ — ту малеиькую певичку, которая после Ниццы долгое время писала мие иежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в иебо. Это было раио утром. Реиэ спала в старой деревяиной кровати, под ситцевой периой. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худеиькое и кроткое лицо, у рта — две иерадостные морщиики, на подушечке — крошки хлеба, иад кроватью — фотографня какого-то смазливого солдата в могильиом веночке из сухих цветов: Реиэ была свободна. Но, боже,— какая иищета! Даже дверь из общего коридора в ее комиату не была заперта. Реиэ вздохиула, открыла глаза,— в них появилнсь испуг н изумлеиие. Я броснлся иа колени перед кроватью, схватил руку Реиэ и,— честное слово,— облнл ее слезами.

Я ие стал лгать Реиэ,— я лишь сочииил ей ту историю, какая могла быть поиятиа ее простеиькому сердцу. Но суть оставалась одиа н та же. Я рассказал, что революция убила мою иезабвенную старушку мать: толпа большевнков, от самых глаз заросших бородами, кииулась, держа в зубах иожи, на дом моей матушки, вытащила ее иа мостовую н с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с иадписью: «Так расправляются с друзьями имперналистнческой Фраиции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переменил имя и скрылся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди,— глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов всё свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной шапочке,— он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны

по локоть, лнцо багровое н прокуренное, как чубук. Это н был последний представнтель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Ои мог неограннчениое время курнть трубку и молчать.

Реиэ трогательно объяснила ему нашу просьбу — дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул нзо рта трубку, захватнл горстью бороду, понюхал ее и опять сунул трубку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал нз кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишкамн н через плечо протянул ее Реиэ. В стншках говорилось о том, что «хорошо бы взорвать дннамнтом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролнка». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишкн.

Ренэ выступнла в маленьком кафе с песенками Мистангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писаили мы разрабатывалн его и репетнровалн. Выступилн мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, бнтком набнтом добродушнейшнмн неграми, на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон»[1]. Разумеется, негры сейчас же подхватнлн песню, скалясь и топая пудовымн башмаками. Но вот позади Реиэ появнлся я, в прнвязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел н ругался по-русскн. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрнпел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завылн от удовольствня. Наконец Реиэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступнла мне на спнну и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем н пошел между столикамн. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросалн в шлем монеты. Мы заработалн двести франков.

[1] Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад марсельезу. *(Прим. автора.)*.

После этого мы уехали в провиицию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы ие ровио, но и не плохо. Реиэ иежио любила меня. Обычио, покуда я еще спал, оиа бегала иа рынок и возвращалась с корзииочкой, полной вкусиых вещей. Суетилась и болтала, как птичка. В ией было очарование простого, беззлобного сердца: живем — покуда живем, а маленькое счастье всегда при иас. Странно, изо всей сложной жизни я вспомииаю,— как вспомииают какоето единствеиное залитое солицем утро,— эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейиых. Ей-богу,— человеку нужно немного!.. Да, да,— видишь — чериила расплылись: плачу... Что же из того,— плачу, вспоминаю иаше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Реиэ, запах ваиили от ее платья. Было крошечиое счастье, коротенькое и грустиое... Всё кануло в сииюю бездиу времеии... Сиова иа моем пути появился Михаил Михайлович, и всё запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мие было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меия, когда высоко иад Парижем, под самым небом, в стареиькой постели, положив мне голову на плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиияиый рукомойиик, иа стеие, исписаиной углем, на гвоздике висели привязная борода, красиая юбочка и трехцветиый флаг, да в корзииочке — остатки еды с вечера.

Летом Париж сиова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия иапрягала последние усилия, ио уже отчаяиие овладевало французами. Железиым тараиом иемцы били и били в прекрасиую Фраиццию, хотя уже было ясно, что никакими победами ие оправдать пустыни, покрытой деревяниыми крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мие Ренэ.

И вдруг всё изменилось. Во фраицузские гаваии вошли заокеанские многотысячетоииые корабли. В тучах дыма загрохотали подъемиые краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки,

хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко»,— и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов,— пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ла-Манша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженные войсками.

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно,— так же, как и нашло,— развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир,— зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока,— бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать,— сам всё знаешь. Жил зверь покорно и смирно, вертел жернов,— кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню — я проходил по Новому мосту,— на нем еще Генрих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось — десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости,— вся эта бессмыслица — только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, переулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого.

Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: всё, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно,— мелькают кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Сите́ рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Тереза жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое ничтожество!.. Я — лишь пылинка, жалкая тень в куцем пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

— Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, прямёнький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

— Выпьем, Саша? Пойдем.

— Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней уличке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка,— бритое лицо шелушилось, глаза выпученные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье — грязное.

— Сбежал, сбежал! — повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том — почему и как скрылся,— прерывал со смехом: — Саша, не ври. Всё это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них

святым зверем,— гаф!.. Взвыл, и в одиом пиджачке виз головой — мырь. Очутился за заставой, два месяца иочевал иа природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоиом Утиный Нос,— воровали кур и кроликов иа Версальской дороге. Всё это мелочи. Теперь у меия — покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя иа три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичаиам иефтяные участки в Азербайджаие... Старые связи... Коиечио, я — подлец. Но всё это мелочи... Погляди, ощупай меия... Другой?.. Правда? Во мие всё поет. Помиишь — «преобразилась иеправедиая земля!» и бум,— колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра — голые девчоики, слезы,— ие преобразится иикогда, иет... А теперь, слышишь,— подиялись покойиички: земля больше ие прииимает, такая мука... Подиялись, ухватились за веревку, раскачали и — бум. «Преобразись, иеправедиая земля!..»

Я слушал,— и ие поиимаю, жутко,— с ума ои сошел:

— Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интериациоиал-то?

— Молчи... В тебе иикогда ие было восторга. Ты микроскопическая дряиь. Тебе в бочке иадо жить, в тухлой воде. Ах, не поиимаешь... В России зиаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица — в слезах, в слезах, и — восторг! Берите, всё берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещеиский мороз идут жеиихи в бой, одиа красиая леита через грудь,— голые. По сиегам кровь хлещет сорокаведериыми бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вехи стоят из мороженых мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют коии. Сабельки помахивают. А колокола под землей — бумм, бумм, бумм! Преобразись, иеправедиая земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в портах. Берлии трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит — руки в штаиах,— иаточил иожик. В Лоидоие джеитльмеиы в цилиидрах, в моиоклях, лорды и герцоги — грузят багаж иа вокзалах... Слушай, Саша, слушай,— это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяиыми пальцами мие в руку.

— Саша, я — пьян, убог, гиусеи. Но ведь ои иа зелеиых лугах, на шелковом ковре мед пил нз золотой чаши... Знаешь — с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце — яростное, надмеииое... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу нз золотого ковша... Завтра пойду иефтяиое прошеиьице строчить, разбогатею. Гастона Утииый Нос облагодетельствую, а тебе — шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша... Сел бы я на коия,— крикиуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мие этот крик. Да — ие могу. В жизни ие мог закричать,— только писк мышииый... Я в виие утоплюсь!.. Порода наша коичеиа. Теперь богатыри нужны, а я — пищу. Теперь — ногу в стремя, просиись, душа!.. А у меия, видишь, как руки трясутся... Саша, милый, жнву я в таком восторге... Так упоительио себя иеиавижу... Ведь хоть в этом богатырство мое...

...Одним словом, иичего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего ие вышло. Теперь уже ие я, как прежде, а ои по утрам стал ко мие шататься. Ренэ устраивала иам раиние завтраки: салат, жареиые ракушки, сыр, виио. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коиьяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемириую историю. Выходило у иего так:

Запад, иаследиик Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил в вещи, в камии, в букву. Ои иеиавидел человека, свободу, солице и землю, счастье и созерцаиие. Его разум н воля были направлеиы к позиаиию разложеиия материи н к создаиию нз разложеиия мертвой вещи. Ои упрямо строил камеииую гробницу всему человечеству.

И вот на востоке в полыииых степях, иа плоскогорьях Памира, родился великий гиев и блажеииая мечта: ндтн на запад, к берегам лазуриого океаиа, и там, среди развалнн храмов, пастн стада под звездами. И вот — заскрипели телеги, заревели стада, двииулись на запад пастухи, табунщнки, степиые богатыри. Столетие за столетием набегали и крепли кочевые волиы. Родился Чингисхаи. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлеиием. Затрещали твердыии Запада под ударами хана. Могучие восточные царства

охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана,— конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе,— частоколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная — возникала вновь, как трава после пожара,— крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи,— прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком,— воротимся! Не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком и — посвистывает, запевает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки,— запретить самый язык русский. Действительно, жили,— Рене и я,— безобидные, как воробьи, пришел потомок Чингисхана, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот — кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Рене день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараща друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Рене выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля — Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал

хлеб и мясо своим ножом — *навахой*, выпил одну рюмку коньяку — и то после еды,— от кофе отказался, говоря, что это его *нервит*, и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны, как зяблики,— устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это — чтобы не было никаких законов и — поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на ноготь, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскочил к нему, как тарантул:

— Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы — просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм — от несварения кишок. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит,— анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Всё ваше откровение — жареный каплун да бутылка бургундского. Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и — вовремя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников*, о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об *урагане времени*, о русской революции, сеющей на закате мира семена нового завета. Он показывал разре-

занное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только не заиграла музыка — в кабачке, на перекрестке, на тротуаре,— появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали как загипнотизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость — нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, всё еще мерцавшие в каждых глазах.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом,— через три недели,—конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми записками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась,— чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу, которая привела к единственному живому уголку в моей жизни — под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустнила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему пришпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникин — тогда я опять барин, одолеют большевики — всё равно я — скиф, попиратель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишащими народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки,— казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели,— пялились одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы,— не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно весело»,— и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов

Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспарантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Рене догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около часа мы пробивались к левому берегу, головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля — весь перекошенный, пряменький — и начал выкрикивать лающим голосом:

— ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это — *негритянский рай*... Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб — цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента — на фонарь!.. депутатов — в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. *Карманьолу*... Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку — с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся сначала к нему, затем — бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

. . . .

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу — третий день. Понимаешь: это — в третий день. Смешно?— хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес?— крестом его, поленом, каблуками, а потом — ножки вытри о половичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желаю покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами — во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она существует сама по себе,— не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться,— потухай, мир, черт с тобой. Прищурюсь на Сириус,— ну-ка лопни. Трах-тара-рах,— летит Сириус в клочки, звездный переполох, и — пустая дыра в пространстве. Так-то...

. . . .

...В моем письме как будто незаметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменилось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *беседую с тобой из бистро мадам Давид...* Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши,— пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И — смотришь — возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

— ...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной

ясностью понял, что кочевые костры — не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам,— дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку,— переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклониться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки,— я бросал их в поганое ведро не читая... Однажды прочел... Заметь,— он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане — три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке *новому* адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме — светленькой, в полосочку, в какой баб принимают,— и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежи пошел пар, пахну псиной и чувствую — сейчас завою от обиды.

Мншенька хнхнкал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Мнханлу Мнхайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка н коньячок. Он мне сказал: «Я, дружочек, решил отложнть закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хн, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погаснть в себе ледяной дрожн. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал:

— Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

— Ну что же, Сашура, если растоптал, значит — лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты — жучок, и подожми лапки.

— Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

— Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

— Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

— Подождн, пожнву еще немножко. Смотрн, как у меня уютно.

— Я тебя убью все-таки.

— Чем?

— А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утнный Нос. Клянусь тебе, я не помннл, с какнх пор она завелась у меня в кармане. Миханл Мнхайлович пощупал лезвне.)

— Нарочно ее захватил?

— Не твое дело.

— Это когда мы на койках лежалн, ты решнл?

— Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета, глазамн отыскал мои зрачкн:

— Саша, знаешь,— ведь убнть ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это ннкогда не казалось? Изловчншься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к дверн. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорнл по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лнхорадке на чердаке. Думал: околею, но

только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне,— будто я — поджавший ноги жучок, будто Миша, застилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем — пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходился от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка,— пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак, оттуда к девкам,— старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей уличке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» — и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала саженными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и воизил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею...

. . . .

И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...

МИРАЖ

За окиом вагоиа плыла кочковатая равиииа, бежали кустарииики, дальние — медлеиио, ближиие — вперегоику. Мой сосед сидел, засуиув пальцы в пальцы. Глядел в окио.

Глаза у иего были серые, иавыкате. Ои жмурил их, когда курил папиросу, до половииы покрывал веками, когда глядел иа кочки и кустарииики. Казалось — ои устал от своих глаз, видавших миогое.

За час до граиицы он стал глядеть на лежавший в сетке чемодаи, весь облеплеииый багажиыми иаклейками, и заговорил тихим, глухим голосом.

. . . .

...Я болтался иа юге по холодиым, опустевшим, иеподметеииым городам, по кофейиям с лопиувшими стеклами, где продавались, покупались последиие лохмотья империи. Писал в газетах. Ночью играл в карты. Я пил ие слишком много, кокаииа ие июхал. Зато я хорошо иаучился угадывать дии эвакуации по выстрелам иа иочиых улицах, по тоиу воеииых сводок, по особому предсмертиому веселью в кабаках. Вовремя уиосил иоги.

Я ие был ни красиым, ни белым. Грязь, тоска, безиадежиость. Это было ужасио. Я так брезговал людьми, что иаучился не видеть человеческих лиц.

Накоиец мие все иадоело. Я погрузился в трюм иа грязиый пароход, иабитый сумасшедшими, и уехал в Европу. Не важио — где я страиствовал, как добывал средства иа жизиь. Не важио. Жил скверио. Может быть, даже воровал. Все было бессмыслеиио, растлеиио... Пятиадцать миллиоиов трупов гиили иа полях Европы, заражали смрадом.

Под конец — покойно, с любопытством даже — я стал ждать часа, когда омерзение к самому себе пересилит привычку — пить, есть, курить табак, ходить, добывать деньги и прочее...

Помню, одиннадцатого мая, утром я начал, как обычно, бриться и — швырнул бритву на умывальник. Час мой стукнул: не желаю. Я вышел на улицу и в ювелирном магазине продал часы и кольцо,— все, что у меня было. Затем я сел на улице под лавровым деревцом, выпил кофе, спросил у гарсона пачку юмористических журналов. Прежде чем их читать, я быстро решил: кончу сегодня, на рассвете, на мосту Инвалидов. Первый раз за много лет кофе казался так вкусен и журналы так забавны. Я развлекался, как мог, весь день. Вечером пошел играть в клуб на улице Лафайет.

. . . .

В четыре часа пополуночи я вышел из клуба. Я был в выигрыше — сорок семь тысяч франков. Во мне все тряслось, как на морозе. Утро было теплое, влажное. Я ощупывал в кармане толстую пачку денег,— это были какие-то новые возможности. Это изменило мое решение идти топиться с моста Инвалидов.

Я остановился около огромного окна трансатлантической компании, где была выставлена рельефная, с лесами и горами, синяя и зеленая карта. От материков к материкам тянулись красные нити. По ним шли пароходики со спичечную коробку. На них блестели окошечки из фольги. Я стоял и глядел, дрожа от волнения.

. . . .

Пятнадцатого мая я сел в Гавре на «Аквитанию». Шесть дней пролежал в лонгшезе на верхней палубе, среди шумящих на морском ветру пальм и розовых кустов. Двадцать второго я сошел с парохода на набережной Нью-Йорка. У меня было непереставаемое, восторженное сердцебиение: новый мир, новая жизнь,— Россия и Европа, войны и революции были прочитанной книгой.

У подъезда отеля мои чемоданы схватил негритенок в ярко-голубой куртке. Из зеркального лифта скалил зубы, как клавиши, другой негритенок в ярко-малиновой куртке. На двенадцатом этаже я вошел в лакированную штофную комнату. Я утонул в сафьяно-

вом кресле н закурил зеленовато-влажную двухдолларовую сигару.

Я сндел н повторял про себя: «Ты — в математнческом центре культуры нидивидуалнзма, черт тебя задави». От движеиия мизница растворяются двери, иегры с четырьмя рядами золотых пуговнц на куртках мгиовеиио исполияют желаиия из сказок Шехеразады. Вот три телефоиа — я могу соединиться с магазиином, с ресторaиом, с биржей, с любым городом. Я могу приказать: «Купите Тихоокеаискую железиую дорогу». Через тридцать секуид маклер ответит: «Сделаио».

Я грыз иогтн. Сказка про сотвореиие земли несомнеиио была придумаиа в нищей Европе жалкими пастухами... Здесь, в сафьяновом кресле, у человека в миллиои раз больше возможностей, чем у самого Саваофа.

Обкусав иогти, я спустился в парикмахерскую. Меня прнияли в благоухающий халат, опустнли лицо в паровую ваииу, обложили щекн горячнми полотеицами, душили, расчесывали, затем — предложили морожеиое с персиками, затем — побрили.

Я пошел завтракать в колоиный зал такой величнны, что внутрн его мог бы поместнться уездиый городишко вместе с пожарной калaичой.

Какие там я вндел цветы, ковры, люстры! Какие жеищины завтракалн в зале! Женщины чудовищной красоты: шнроко расставленные огромиые глаза, крошечиые рты, фарфоровые, равиодушные личикн... Такой фаитазни не увидеть н в сыпиотифозиом жару. Куда тут соваться с моими фраиками!..

После завтрака я сидел в холле у камииа, курил чериую снгару. Разумеется, я думал о том, что буду нметь сто миллионов долларов, чего бы это мие ин стоило. Нужио только желанне, желание и желаиие... Я добуду эту роскошную груду долларов... Все их употреблю иа одного себя, до последиего цеита... Моя личиость слншком долго была закупорена... я хочу, наконец,— черт всех задави,— стать личностью с большой буквы, иаписанной золотом. Каждый волосок на моей голове будет священеи... Драгоцеинейший — Я. Обожаемый всеми сегодняшнимн красавицамн — Я. Мон слова, обсосок снгары, огрызок ногтя, слюна нз моего рта — благоговейны... Напрасно, господа, застав-

ляли меня шесть недель валяться на константинопольском тротуаре перед бывшим российским посольством... К черту Европу, войны и революции... Мое отечество — это — здесь, у огня,— кожаное кресло... Сытый желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы.

. . . .

Напротив меня, в кресле, сидел кислый, костлявый человек, видимо, страдающий несварением желудка. После некоторого наблюдения надо мной он сказал:

— Вот уж семнадцать минут вы разговариваете вслух. Во-первых, я вижу, что вы — русский, во-вторых, что вы намерены заняться биржевой игрой. Меня зовут Сайдер. Я могу сделать вам солидные предложения. Вы хорошо сделаете, если не будете мне доверять, но я представлю гарантии. Хотите видеть Джипи Моргана?..

...Наш разговор у камина продолжался два часа сорок минут. Я понял, что нужно играть на понижение,— только на понижение: в этом была историческая, социальная, даже геологическая правда. «Сама земля играет на понижение,— говорил Сайдер с кислым лицом,— там землетрясение, и там землетрясение, там засуха, тут ураган... Вы послушайте — даже климат играет на понижение: когда нужно холодно, то — тепло, а когда нужно тепло, то — холодно»...

. . . .

Утром на следующий день я внес все мои деньги в банкирскую контору, мы с Сайдером пошли смотреть на Джипи Моргана. У гранитного подъезда банка стояло человек пятьдесят биржевых воротил. Они молчали мрачно или брезгливо или коротко лаяли сквозь зубы. У всех выдавались вперед каменные подбородки. Сайдер тоже выпятил подбородок, стал еще кислее. Ровно в одиннадцать из-за угла вынырнул чудовищный автомобиль. В нем сидел щуплый человек с кривоватым носом, с узким, сонным лицом, в котелке, надвинутом на глаза... Это был Джипи Морган.

Все пятьдесят биржевых воротил стали пронзительно глядеть на сигару Джипи Моргана,— в каком углу рта сигара у Джипи (если в левом — Джипи играет на понижение, если в правом — Джипи играет на повышение). Сигара была в левом углу. Сайдер шеп-

нул мне: «В левом, чтоб мне так жнть!..» Автомобнль стал. Джипи распахиул дверцу и перекатил сигару в правый угол. Биржевые воротилы зарычали, сбтые с толку. Все же оин тесио сдвинулнсь к автомобилю и инзко сияли шляпы. Джипн приложнл палец к котелку, прорычал что-то через снгару и прошел в граиитный подъезд...

. . . .

По совету Сайдера я продал иа июнь «Нефтяные Южио-Техасские», которых у меия не было, конечно. Я был в восторжеииой уверенности, что к июию в южном Техасе будет лнбо землетрясеиие, либо сгорят все нефтяные приискн, и я положу в карман разницу. В июие в Техасе было благополучнее, чем когда-лнбо, и разиицу положил в кармаи Сайдер. Тогда я сыграл на «бесс» на австралийском хлопке, и опять разннцу положил в карман Сайдер. Восемнадцатого нюля, в два часа и семь мииут пополудни, я в кровь разбнл ему кнслую рожу у подъезда гостиницы, нз которой уходил навсегда, оставив в иомере чемоданы...

. . . .

Теперь и в голову ие приходило, иапример,— махнуть с Бруклииского моста в воду. У меия начал растн камениый подбородок. Я еще свнрепо вернл в право моей личностн иа сто мнллиоиов долларов.

Полтора месяца я чистил башмаки иа улицах, продавал газеты, стоял в полосатом фраке у входа в кино и золотой тростью показывал иа огнениую вывеску, и так далее... Скучно рассказывать. Я ждал удачи, пнсал пнсьма, бегал по адресам... Накоиец повезло. Я чистнл чьи-то башмаки, поднял голову, и владелец башмаков оказался старым зиакомцем: он держал коитору и ввязывался торговать с Москвой.

В этот деиь я прыгиул с тротуара на двадцать восьмой этаж небоскреба в контору — в две комиаты — «Экспорт-импорт, Гаррн н Воробей, Компаии». Я сел за дубовую коиторку, раскрыл кннгу входящих и исходящих, и абсолютно свободная личиость моя уложнлась в двадцатн семи долларах в неделю. Все мое остальиое оказалось вие котнровки — иепригодиым для «Экспорт-компаии».

. . . .

Шесть дней в неделе были таковы. В половние восьмого утра я судорожно схватываю трещащий будильиик и не больше миуты сижу с вытаращенными глазамн. Одеванне, бритье, чашка шоколада — десять миут. Лифт винз, сто двадцать два шага до подземиой дороги, лнфт под землю, семь станцнй под землей, два лнфта иаверх, иа улнцу, сто четыре шага через улнцу и площадь, затем лифт-экспресс до трндцатого этажа, затем два марша пешком вниз по лестиице,— иа все это — семнадцать минут. Ровно в восемь я сажусь за коиторку, сморкаюсь.

До часу дня я пншу, режу иожиицами, вкленваю. Мой хозяии, Воробей (Гарри вообще никакого иет), читает вылезающую из телеграфиого аппарата леиту. Экспорта, нмпорта у иас, коиечио, тоже иикакого нет (если ие считать ящика с гуттаперчевымн маиишками н воротинками для русских крестьяи). Воробей, поставив одиу иогу иа стул, стоит у телеграфного аппарата и крутит пуговицы иа жилете. Я отвечаю иа письма. Вся остальиая деятельиость коиторы для меия — тайна.

В час я срываюсь с коиторского стула н — в лифт, вниз — через улицу в ресторан. Воробью всегда кажется, что — отвериись ои, и иепремеиио пропустит какую-то счастлнвую котировку каких-то бумаг,— ои остается в коиторе у аппарата, есть саидвичи, тащнт леиту.

В ресторане — длинном изразцовом коридоре — я, проходя, схватываю коитрольиую карточку н подиос. Бегу к прилавку,— иа ием дымятся несколько сот блюд иа тарелках. Указываю на ближайшие. Повар швыряет их мие иа поднос. Юркая барышня ловко пропечатывает карточку. Бегу с блюдамн к свободиому столику. Лакей стремительио ставит предо миой графии с ледяиой водой, хлеб и шевырюшки масла. Ем. Пихаю в жнвот рыбу, говядиину, соуса, пудиигн.

Вдоль нзразцовой стеиы пятьсот конторских служащнх, рабочнх, шоферов и так далее делают то же, что и я. На всю еду — пятиадцать миут. Вскакиваю. Плачу по карточке. Ровно в два я — за конторкой. Воробей продолжает чнтать колоикн цнфр на телеграфиой леите. Весь жнлет у него обсыпан крошкамн, на губах — запекшийся сигариый сок.

Так до шести идет максимальное напряжение трудового дня, не потеряно ни секунды. Воробью удается обычно рвануть с ленты несколько цифр и по телефону продать их, либо купить,— получить разницу: пятьдесят, сто долларов. День кончен.

В шесть я захлопываю книги, надеваю пиджак, рычу Воробью: «Добрый вечер» — и еду домой. В голове трещат, грохочут колеса. Во рту сухо. Под кожей дрожат все жилочки.

В половине седьмого я беру горячую ванну, бреюсь, надеваю шелковую рубашку (я не хам), смокинг и выхожу на улицу наслаждаться жизнью.

Я абсолютно свободен. Обедаю — медленнее, чем днем, выкуриваю сигару. Обдумываю, куда мне деться. Понемногу я начинаю понимать, что меня, несмотря на шелковую рубашку и смокинг, никто сегодня вечером не ждет, никуда не звали, ни одному человеку из этих десяти миллионов я не нужен. Иду в синематограф.

На экране кино суета еще больше, чем в жизни, но зато беззвучно,— это хорошо. А антракте ем мороженое. Курю. Затем — иду домой по улицам, полным таких же, как я, личностей в смокингах. Толкаюсь, глохну от гама и треска, задыхаюсь от человеческих испарений и бензиновой вони, слепну от огненных реклам, пылающих на крышах и облаках.

В двенадцать я — дома. Лежу и курю приторные папиросы. Сна нет. Сердце стучит, как мотор мотоциклетки. Курю, чтобы одуреть. Мозг весь высох. Все чудовищно бессмысленно...

. . . .

Воробей решил продавать советской России лампочки для карманных фонариков и послал меня на завод за браком.

Я ехал в купе один. Глядел в окно. Был ветреный весенний день. Мне было тревожно. В купе кто-то вошел, сел напротив, щелкнул замочком. Затем солнечный зайчик от зеркала скользнул мне по лицу. Я взглянул. Передо мной сидела чудесной красоты девушка из породы тех, кого я видел в первый день приезда. Детское озабоченное личико, поднятые наверх набрежные светлые волосы, и синие, широко расставленные глаза.

Я не остерегся. Я стал глядеть в эти глаза, синие, как ветреное небо.

Какая уж там прежняя самоуверенность,— у меня даже мысли не было и заговорить с девушкой... Глядел ей в глаза, как чахлая птица из подвала на весенний день... Уверяю вас,— в такой день такие глаза у женщины кажутся родиной.

Глядишь и чувствуешь, что ты — бродяга, бродил бездомно,— пора на родину. Я был взволнован, растревожен, несчастен.

На остановке девушка вышла. Я вздрогнул,— так сердито она оглянулась на меня... Через минуту она вернулась с жандармом, указала на меня кружевным зонтиком и сказала:

«Этот господин намеревался лишить меня чести. Я готова дать показания».

Меня отвели в комендатуру. Составили протокол на основании показаний синеглазой красавицы. По законам Америки этого было достаточно. Меня отвели в тюрьму. Через двадцать четыре часа был суд. Я чистосердечно все рассказал. Красавица была ужасно удивлена,— она была неплохая девушка, к тому же, видимо, ей польстили мои слова об ее глазах. Она отказалась от преследования. Я заплатил пени и вернулся в Нью-Йорк без лампочек.

. . . .

Воробей меня выгнал: в субботу я получил свой обычный чек на двадцать семь долларов и записочку: «Благодарю вас». Я снова очутился на тротуаре. Но теперь мне не было охоты наживать сто миллионов долларов. Не для того меня родила мать, чтобы я из последних сил помогал Воробью выколачивать разницу. Мираж... Мираж... Я не сумасшедший. Назад, домой, на родину. . . . .

. . . .

У границы поезд медленно проходил сквозь деревянные ворота в Россию. На кочковатом поле, у полотна, стоял рослый красноармеец в шишаке, с винтовкой за спиной и равнодушно глядел на окна вагонов. Ветер отдувал полы его шинели, видавшей виды.

За спиной его — холмы, леса, поля на многие тысячи верст. Грядами не спеша плывут серые облака.

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ

Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам.

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала трагедии — от этого куска полотнища (три аршина на полтора), приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного города к телеграфному столбу.

Преступление было совершено не сумасшедшим — это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в состоянии крайнего умоисступления. Приколачивая на столб полотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло ему жизнь,— толпа растерзала бы его. На допросе предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже следователь губсуда застал его успокоившимся и отдающим себе отчет в совершённом.

Всё же из его ответов нельзя было составить ясной картины преступления,— она распадалась на куски. И только рассказ Семенова слепил все куски в одно целое. Перед следователем развернулась страстная повесть мучительной нетерпеливой и горячечной фантазии.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вдали — тусклая, как трехсотлетняя тоска земли российской, щель просвета над краем степи да телеграфные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 1919 года.

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в этой ветреной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал было мимо, но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.

У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным лицом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы подняться, но сидел как свинцовый. На рукаве у него была нашита красная звезда.

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от гнева.

— Не хочу, не хочу,— едва слышно, поспешно бормотал этот человек,— отойдите, не застилайте... Мешаете смотреть... Ну вас к черту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте... Вот опять... С того холма через реку... Глядите же вы, собаки белогвардейские, обернитесь... Видите — мост над полгородом, арка, пролета — три километра... Из воздуха? Нет, нет,— это алюминий. И фонари по дуге на тончайших столбах, как иглы...

Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, принимал своих за врагов. От него так и не добились, что это был за отряд, десять человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас кверху колесами.

Его положилн на воз с овсом. Вечером на стаицин Безеичук сделали перевязку н с ближайшим саиитарным эшелоиом отправилн в Москву. Докумеиты его былн иа нмя Васнлия Алексеевича Бужеиинова, урожеица Смолеиской губернии, двадцати одного года.

Человек этот остался жить. К весие ои встал на ноги, а летом его сиова бросили иа фроит. С сотиями других, таких же как он, Буженинов входнл и уходил из разореиных городов Украины; хороиился по орешиикам и внишеиникам, отстреливаясь от белых н зелеиых; сиживал в звездиые ночн у костра над Доном; месил грязь в степях под осеиним ветром, воющим уиыло между ушами коня да по телеграфным проводам; бнлся в лихорадке в палящих песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу.

Все это впоследствии вспомииалось ему как сиовндеиие: стычки, песии голодиого брюха, перетяиутого красиоармейским кушаком, полуразбитые теплушки, мчавшиеся по равииам, пылающне на горизоите крыши деревень, товарнщи — то горластые и беззаботиые, то бешено злые в бою, то прнсмиревшие с усталости и голода. Товарищи, как бегущие мнмо вагона столбы и деревья, уходили из памятн, нз зреиня, уходнлн «домой», в землю. Разного человека в те годы не было,— были братишки. Вот он, братишка, обмотавшнй кусками ковра ноги — вместо сапог, таскает ложкой из котла кашу так, что желваки катаются иа скулах, а к вечеру, гляди, лежит, уткиувшись, запустив окочеиевшие пальцы в землю.

Вот отчего те годы вспомииались как сон.

Сведеиия о жизни Васнлня Алексеевнча расплываются в тумаие этнх лет. Болеи и ранеи не был, в отпуску не бывал. Однажды Семенов встретнл его в пограиичном городке, в корчме, н за самогоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семеиов рассказывал так об этой встрече:

— С Васнлнем Буженниовым мы окончнли одио училище, он был классом старше. Затем он поступил иа архитектуриые курсы в шестиадцатом году, а я в семиадцатом — в нннженерное.

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Бужениов вскочил, перекрнвился. «Чего старье пе-

реворачивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре части для экономии,— из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот так сэкономили! Две с половиной тысячи паровозов валяются под откосами. Я спрашиваю: война кончена, значит опять теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, старое под откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей земле наши братишки догнивают,— построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для себя теперь строим... А для себя — великолепно, по-грандиозному...»

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это время Буженинов работал с каким-то даже исступлением. Питался впроголодь. Одно время, говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда.

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Буженинов получил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо и часто перечитывал его, будто оно было написано на малопонятном ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он говорил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке.

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда по случаю весенних дней была вечеринка, на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удивительную историю.

Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был воспринят товарищами, плотно набившимися в комнату Семенова, когда за открытым окном над московскими крышами, над полосатыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, над прозрачными ветвями бульварных лип разлил-

ся синеватый свет вечера и преиебрежениый поэтами всего Союза весенний месяц узкнм ледяным серпом стоял в вечерней пустыие.

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет... Подождите скалнться, товарнщи, я говорю серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что счнталось весьма краснвым,— волосы отлива слоновой кости; угловатое свежее лицо; снльиое тело, увереииое в движеннях; легкая одежда, без швов, из шерстн и шелка; упругая обувь нз кожн искусствениых органнзмов — так называемой «сапожной культуры», разводимой в пнтомннках Центральной Африки.

Все утро я работал в мастерской, затем приннмал друзей, н сейчас, в сумеркн, вышел на террасу уступчатого дома, облокотился и глядел иа Москву.

Полстолетня тому назад, когда я уже умнрал глубокнм стариком, правнтельство включнло меия в «спнсок молодостн». Попасть туда можно было только за чрезвычайиые услуги, оказанные иароду. Мие было сделано «полное омоложение» по новейшей системе: меня заморозилн в камере, наполненной азотом, и подверглн действию снльных магннтиых токов, нзменяющих самое молекулярное строеиие тела. Затем вся виутреиняя секрецня была освежеиа пересадкой обезьяньих желез.

Действительио, заслуги мои были зиачительиы. С террасы, где я стоял, открывалась в сииеватой мгле вечера часть города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вннз, к пышным садам Москвы-реки, стоялн в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома нз голубоватого цемеита н стекла. Их окружалн пересеченные дорожками цветникн — роскошные ковры из цветов. Над этой живопнсью труднлнсь знаменнтые художннки. С апреля до октября ковры цветников меиялн окраску и рнсунок.

Растеннямн н цветамн были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни

проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. Под землею с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы — огромные здания под стеклянными куполами.

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их очертания становились все более синими, все более легкими. Кое-где с неба падал узкий луч, и на крышу садился аэроплан. Сумерки были насыщены музыкой радио,— это в Тихом океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год нового летосчисления. Демобилизованные химические заводы изменили суровые и дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные болота,— на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на севере, уран и торий, были, наконец, подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны четырнадцатого года. Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба — эта унылая толчея истории—изучались школьниками второй ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять этих новых ощущений свободы, силы и молодости.

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала желанным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный мною город. В воздухе возник тонкий звук, как бы от лопнувшей струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: убегающие к Москве-реке ряды круглых фонарей, фонари на террасах, и — потоки света с плоских крыш в лиловое небо. Мерцающим светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо террасы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул...»

. . . .

Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом...

— А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадцатом году умирать, товарищи? — проговорил он глуховатым голосом.— Помню, этим городом я в сыпняке бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь... Мертвяки валяются... А за дождиком, из мокрых бурьянов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома уступами... Сейчас — закрою глаза и вижу... Эх! А мы время теряем, пиво пьем...

Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженинову говорили:

— Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь... Новую жизнь строить — не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утопсоциализмом, покуда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Держи курс на мировую революцию, а дни пока — все понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой город построить...

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, отвечал сквозь зубы:

— Знаю... Знаю...

Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями.

Письмо, взволновавшее Буженннова, было от воспитанницы его матери, Надюши — Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне, он еще раз перечел его.

«Дорогой Вася, мы недавно узналн, что ты жив и даже учишься в Архитектурной академнн. Мы очень обрадовались, главное тому, что ты жив. А ведь три года от тебя не было ннкаких вестей. Мне уже двадцать два года, я служу в Древтресте. Домнк нам вернули в прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у нас — корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно — все сердится, все не так. На днях простудилась и теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увиднщь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на сцену, но, пока мама жива, это невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном разгаре. Любящая тебя Надя».

Странное было пнсьмо. Вроде сырой айвы: н как будто бы вкусное н скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опускающимися н поднимающимися проволокамн, лежалн плоскне озера вешней воды. Утро было мглистое, солнце висело оранжевым шаром над разливамн. Прнминая прошлогоднюю траву, теклн ручьи из озера в озеро. Вдалн из вод росли деревья, стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы...

Буженннов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станцин, где в голых еще, высокнх тополях крнчали грачн, кружась над гнездами. Грачн кричали так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять зажмурнлся, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два года. А была подросток — милое лицо, голубые глазкн, каштановые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда разговарнвает — подхо-

дит близко, доверчиво, опустив худые руки,— глядит прямо в глаза.

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам от варягов и плавал скоро уже две тысячи лет, развозя жителей в разлив по деревенькам.

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги — и мир представлялся ему прекрасным.

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в окружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была почти галлюцинация наяву.

УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощеных уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызения подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подоконниках цветут герани в знак того, что, «мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано...».

Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной лавкой; поп в глубоких калошах, пробирающийся, подобрав рясу, в проулок; милиционер, или, как выражаются на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, поглядывает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства,— теперь городской сад,— с гнездами на липах и тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых девиц; ну, да еще пожарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью — издалека долетающий свист поезда.

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту — быть может, черт его знает, каким-то завитком — подумал: «Вот житье глухое!» — но продолжал быть всё в том же восторженном настроении.

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, врос за эти годы в землю, покривился, облупился. Но за пузырчатыми стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку. Дворик был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры, и глядел на солнце голенастый петух, видимо очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и капустой, открыл знакомую дверь,— рогожа на ней висела клочьями,— отворил ее и в освещенном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в низенькую столовую, где мещанским голосом щелкала ручная птица,— увидел Надю.

На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая косынка.

— Что вам нужно, гражданин? — спросила она, нахмуривая бровки.

Он назвал ее по имени,— от волнения ничего больше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее хорошенькому личику.

— Вася, неужели ты? — спросила она тихо.

Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил к стене папки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели,— пальцы его дрожали.

— А мама здорова?

— Мама сейчас спит.

— Ты собиралась куда-то уходить?

— На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене.

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за углом.

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где шуршала семенем птица и снова, снова принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же

песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой за углом. Птичий язык темен, всякий может толковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать курьерского поезда... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фотография: он — семи лет, Надя — девочка, и мать — в шляпке, с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме, сморщенная бабушка — та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом «метаморфоза»,— шагов пять. Смешно. А казалось — гораздо просторнее было дома. Под окном — бутылки, в которые стекает с подоконника вода по шерстяной нитке. Да, механика устарелая. Много придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой город.

За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, поклонилась, сказала смирно: «С приездом, батюшка-красавец». Накрыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещанский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За облаками самоварного пара она пела Буженинову о несказанном будущем.

ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции. Воевал три года. Потом — академия, чертежные столы, склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского опыта не было ни на грош.

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здр-

равствуйте, Василий Алексеевич, что думаете прредпрриять?»

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом — погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти — вернуться, скрипнув калиткой... вытереть ноги о рогожку на крыльце... и у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать!» Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.

— Как ты себя чувствуешь? Лучше?

Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит:

— Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.

После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в кинематограф, приглашенная «так, одним, ты его не знаешь». Василий Алексеевич садился в сумерках на диван под заплеванные мухами фотографии и грыз ногти, другим чем-нибудь трудно было заняться: Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак вреден) и за полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты, Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримаски удивления и разочарования при первой встрече.

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке,— раздумывал он в сумерках,— но разве это имеет важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глупости, мелочи... К маю отъемся, зубы вылечу — вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинематографа городов строить не будут — лобики узки».

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было сомнения — Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется — у нее личико сделается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла... скоро приду...» И — нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.

Однажды выручил дождь — хлынул потоком. Надя поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с мягкими ресницами — темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась голова.

— Вот ты архитектор, Вася, скажи,— заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку,— неужели, правда, за границей в каждом доме ванна? Вчера в кинематографе видела — чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванну, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься.— Она покачала головой, усмехнулась.— Со мной был один,— ты его не знаешь, бывший военнопленный,— так он рассказывал, будто в частных квартирах за границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кинематографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.

— Надя,— спросил Буженинов из темноты, с дивана,— скажи мне открыто,— это очень важно... понимаешь... ты любишь кого-нибудь?..

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.

— Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там — любовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить твое положение — выбираешь его... Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побы-

вать — все-таки столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице... Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.

— Нет, Надя, нет, ты — комик, чудачка. Я тебя лучше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное... Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна... Нужно строить, бороться, любить...

Бужениннов проговорил до позднего часа, покуда хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, камнем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: сидит ворона, нахохлилась; все тот же забор; серое небо; на дороге ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров остались досада и недоумение.

БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.

В городе заинтересовались бужениниxным сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:

— Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно.

Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбался ему.

Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом:

— Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят — безнадежно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас-таки заждалась.

Пикус иамекиул иа то, о чем говорили по городу. В провииции ие любят иепоиятного, причииялющего беспокойство, фаитазии. Действительио, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясиое дело — приехал жениться. Но тут оказывались разиые «ямки-каиавки»: Бужеиииов разлетелся не иа совсем свободиое место,— так по крайией мере посмеивались.

В магазиие у Пикуса с ним позиакомился Сашок — румяиый молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебиого оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщииах с Кузиецкого и завел Василия Алексеевича в пивиую «Реиессанс», во втором этаже, иа площади.

Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза,— плотиый, смелый, со сросшимися бровями:

— Между прочим, Надежда Ивановна девушка что иадо. Заиосится только зря. В иаше время чересчур о себе миого думать ие приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Коиечио, с ее виешиостью — в Москву, иа сцеиу или машинисткой в крупиый трест,— карьеру сделать можно. Но здесь...

Шевельиув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся.

— Да, здесь иитересной девушке делать нечего — гроб... Самое благоприятиое — выйдет замуж: у мужа червонцев восемь жалованья, у самой червонца три с половииой... Бесцветио... Или уж тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж...

Сквозь густые ресиицы ои хитровато блесиул зрачками иа Бужеиииова:

— Это я пойму. А то ии два ии полтора. Я вот в Аиглию собираюсь, между прочим, по папкииым делам. Предложил в виде шутки Надежде Ивановие попутчицей, вроде секретаря. Робеет: что скажут. Это у нас-то испугаться общественииого миеиия! Смехотища!

Василий Алексеевич дико глядел иа собеседиика: что такое ои иесет? За такие слова в сущиости бить сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил иа другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:

— Одио скажу, как иителлигеитиому человеку: остерегайтесь Утевкииа. Этот подлец иа все способен. После того как Надежда Иваиовиа сделала ему по-

ворот, он в экоиомотдел бегал, в ГПУ. Ну что ж, знаете, глупо. Не пронзвел полового впечатлення, н он бежнт на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. Знаете, что ои про вас сказал, только что вы прнехалн? «Буженннова, говорнт, к нам выслали в адмнннстратнвном порядке, за некраснвые дела; ио вопрос — долго ли он будет у нас на шее сндеть паразитом...» Фельетон, а не человек, этот Утевкни... Кроме шуток, без полнтнкн,— долго думаете погостнть?

— Не знаю. Должен лечнться. Нужен отдых.

— Венернческое заболеваиие какое-ннбудь, конечно?

— Нервное переутомленне,— сердито ответнл Бужеиииов н застучал ногтямн о жестяной подноснк.

— Так вот оно что, хн-хн,— сказал Сашок н бойко пошел в уборную.

Буженннов хотел тоже уйти, но пнво отяжелнло его, и он остался сидеть, угрюмо повеснв голову. Дверь пнвной помннутио теперь отворялась. День был базарный. Входнлн крестьяне, перекупщики, лавочннки, мещане, заключавшие мелкую сделку. За столнкамн журчали деловые разговоры, негромкне н бедные, как это серенькое небо над площадью, над рогожиымн палатками, над выпряженнымн возамн, над грачиимн гнездамн на лнпах. Дым крепкой махоркн колебался слоямн по длиниому помещеиию «Ренессаиса». На дощатый пол натащилн сапогамн навозу с площадн. Василию Алексеевнчу представнлось, что снднт он на дне глубочайшего колодца, н только пестрые плакаты Добролета, Доброхима, красный силуэт рабочего между красных труб на штукатуренной стене над головами чаепийц н курнтелей махоркн напомннают о далекой-далекой Москве, где гремнт жнзнь.

Вернулся Сашок нз уборной н сказал, кивнув на стойку:

— Из-за этой вон дамочки тоже у нас ногн кое-кому перешнблн, дел двадцать в народном суде нз-за нее разбиралось. Зиамеинтость.

Действнтельно, за стойкой лениво стояла полногрудая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, шнроколицая, напудреиная, с маленькнм носнком, с гребенкамн в туго завнтых волосах.

С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низкорослый человек в черных брюках н в штатском френче. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхал нз горшка с селедкамн.

— Пожалуй, съем,— сказал этот человек н поволоко поглядел на дамочку за стойкой.— Положнте мне печеночкн н положнте мне половнну селедочкн. Какую половнну? А какую сами захотнте — хоть с хвоста, хоть с головы.

Он сел за столик, положнл ногу за ногу, закуснл зубом папироску, прищурил глаз от дыма.

Дамочка небрежно поставила перед ннм тарелки с печенкой н селедкой, отвернулась равнодушно. Но он прнгласнл:

— Саднтесь, Ранса Павловна, за стол. Вы мне не помешаете, а даже наоборот.

Вместо ответа она выпятнла ннжнюю губу, стала поправлять гребенкн.

— А я вчера в кинематографе три сеанса высидел на «Молчн, грусть, молчн»,— вы не нзволнлн явнться; вопрос — почему?

Роковая дамочка дернула плечнком, ушла за стойку. Он оборотнл к ией длинный свой волнистый нос н, вытаскнвая нз зубов селедочную косточку, сказал насмешлнво:

— Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера-таки смутнл немножко.

— Чем это вы меня смутнлн? Оставьте вашн подходы.

— Свонмн песнямн, гражданочка.— И, очень довольный, он нзо всей силы принялся резать печенку.

Сашок сказал Буженннову:

— Это Утевкнн. Ухажер, первый фокстротист. У него расчет, что вы сестре про его фигли-мнглн расскажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие врагн: одного летчнка в прошлом году не поделнлн.

К Сашке подошлн двое неизвестных в романовских полушубках, забрызганных дорожной грязью, и оин втроем отселн за соседннй столнк, совещаясь по хлебному делу. Бужеиииов вышел нз пивной.

Ветер на площадн покачнвал баранки н связкн вяленой рыбы в рогожных палатках, задирал ухо собачонке, сндевшей иа возу с сеном. Внзжал поросенок,

которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

— Почем веники?

— Два миллиарда,— сердито ответила баба.

Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал:

— Это — гусь, его раскорми — кругом сало.

И тащил гусенка за шею к себе.

— Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем мне больной гусь? — говорил еврей и опять тащил гусенка.

— У тебя нос отломан! — кричал мужик нутряным голосом.— Ты гляди, как он жрет.— И он совал корку, и гусенок жадно давился хлебом.

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поссорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы замолчали, уставились на красноголового, как крысы.

— В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение.

Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из бумажного теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая внимания на суету и шум, читал книжицу. Перед его лотком стоял пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, видимо принесенные на продажу, и повторял зловеще:

— Предметы роскоши — не дозволяется. Это мы сообщим кому следует.

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неугомонно кричали грачи над гнездами да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв к реке.

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полоски лесов вдали. Оттуда в вечереющем небе лете-

ли птицы. Мгла поднималась на широкой равииие над озерами, над полузатоплениымн деревиями.

Засуиув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал:

«Вековая тоска, бедиость, жнтье-бытье... Пивная с дамочкой, Утевкнн, Сашка... Дряиные разговоры... Пристроились, приспособилнсь... Утевкии фокстрот пляшет... Живут, живут... Зачем?.. Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасиое, новое племя...»

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексеевичем. Сиял очкн, протер их, высморкался.

— А мы с вамн были знакомы, товарищ Буженинов,— сказал он дружескн.

ПОКАЗАНИЯ ТОВ. ХОТЯИНЦЕВА

Во время производства следствня товарнщ Хотяинцев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумерках иа обрыве. (Хотяиицев иаходился в городе проездом по служебиому делу.)

Показаиия его были таковы:

Следователь. Когда вы зиали Буженинова?

Хотяинцев. В двадцать первом году. Я был политруком в дивнзии.

Следователь. Вы замечали за иим какие-иибудь страиности, вспышки гнева — словом, что-либо выходящее из нормы?

Хотяиицев. Нет. Он был на хорошем счету. Одио время работал в клубе в полку. О ием тепло отзывались товарищи.

Следователь. Тогда, при встрече иа обрыве, вы также не заметнли ннчего особенного?

Хотяиицев. Мие показалось, что ои был мрачен н возбужден. Мы поспорили.

Следователь. Его иастроеиие иосило личный характер или причииа его возбуждеиия была более общая — иапрнмер, социальиая неудовлетвореиность?

Хотяиицев. Я думаю — и то и другое. Ои был удручен свонм иездоровьем, иевозможиостью в ближайшее время продолжать учеиье, работу. Кроме то-

го, причины общего характера. Я был изумлен, когда услышал от него резкое и непримиримое отношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так приблизительно:

«Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое время».

Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь. Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось, вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище — вот мне так представляется,— сказал он с большой горечью.— За один день сегодня такой гадости нахлебался — жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает...»

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще бо́льшим напором: «Взрыв нужен сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.

Я вижу — действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает,— этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи во весь голос — романтика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг — трудно: полета нет — будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова. Революция — это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов

эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь — ни железной, ни огненной. Оно въедчиво. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов,— если хотите, соглашусь,— наше время трагическое...»

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы — постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы правы, это — трагедия, войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».

ЗА РЕКОЙ

Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные дни; по влажно-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В городе уже пылило из переулков, от заборов поваинивало. Зато за рекой стало очень хорошо — зелено.

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то что раньше, когда кончики нервов раскалялись и трепетали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного — и прежнее здоровье вернется.

Тяжело было только бездеенежье. Хотя Надя и не намекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дармоед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена соседской стряпухе через забор.

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а вот — не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе достать было нельзя — все учреждения набиты, все говорили о сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять времени и готовить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым страхом начал работать. Надя похвалила:

— Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все смеются.

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился за стол — за чертежи, почесывая босой ногой ногу, которую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками,— кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах.

Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала головой:

— Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень както малопрактично. Я люблю маленькие домики, с палисадником. Качели, на лужке — шар. Резеда, душистый горошек... Вот моя мечта...

Василий Алексеевич не спорил,— улыбался. Он решил «открыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой город. Глупо было о нем рассказывать. Нужно показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре недели.

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал глаза, и в воображении развертывалась перспектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные купола, мосты — точно радуги над городом счастливого человечества.

Когда слишком уж горела голова от работы и дрожали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок — на спину, скрещенные руки под голову.

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело — и вот он спал...

. . . .

...Сверху вииз, как иочная птица, скользнул аэроплан, и женский голос оттуда крнкиул: «Жду, прнходи...» Прозвенел: «Жду!..» Накоиец-то... И он ндет по шнроким блестящим лестиицам уступчатого дома — вверх, вннз, мимо зеркальных окои. За иими — иочь, прорезаиная сииеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом изиутри круглые крыши... Огии, огии... Снова — лестница вииз. Он бежит — захватывает дыхание. И вот необъятная зала, посреди — бассейн. Тысячи юношей и девушек плавают, ыряют... Сверкают зубы, глаза, розовые плечи... Ои скользит по мраморному краю, ищет, всматривается: где оиа, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо... И он чувствует — синие глаза вот, где-то сзадн, где-то сбоку...

Василий Алексеевич приподиимался, садился иа пригорке, дико оглядывая луга, разлив, осииы, играющие с ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, должно быть, в этн миuyты пробуждеиия овеяио было светом фаитастических огней.

МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имеии Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшиым голосом:

— Мы тебя разиавозим!

И затопали ноги, убегая по пустырю.

Когда ои пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в свериутый шариком платочек, вытирала глаза. Оиа сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он пришнпился иа диваие. Оиа заговорила:

— Как ие поиять, что ты меия компрометнруешь... Бог знает что говорят по городу. Сегодня утром эта дрянь Раиса заявляет,— иагло глядит на меия: «Вы, душечка, пополиели». Утевкии — тот просто хамски стал держаться, едва здоровается. Хоть не живи... Очеиь тебе благодариа...

У иее припухли губы, висели волосы перед глазамн. Василнй Алексеевич, потрясеиный, сказал тихо:

— Надя, я ие поиимаю.

Оиа обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что ои сейчас же опустил голову.

— Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не понимаю...» А чего ты понимаешь?.. Ходишь по городу, как лунатик... На базаре уж все знают: «Вон жених пошел...» Со смеху прямо катаются... Жених!

— Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти...

— Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало бы тебе серьезно полечиться...

Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове началась такая толкучка, что пришлось посидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, сжалься, хочу тебя... Гибну...» В темноте подходила собака Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку и вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и щелкала старыми зубами блох в задней ляжке. За низенькими крышами, за скворечнями разливался еще мертвенный оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял в эту ночь.

Назавтра он ждал продолжения разговоров. Но день прошел обычно — жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом; что-то укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия Алексеевича укололо сомнение — здóрово, как иголкой, запустило под мозговые извилины: а куда, собственно говоря, Надя уходит каждый вечер? Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену; она колола лучинки.

— Куда Надя ушла?

— Милый, не знаю. Чай, к Масловым, всё к ним.

— Кто такие?

— Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они недалеко.

Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а где — колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около этих акаций

Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс, глядел в пыль.

...Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены уже стоял около этих акаций. Промежуточного ничего не было. «Войду и, если она там, скажу, что...» В это время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную краснощекую девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу женщина, на руке держала платье,— видимо, портниха. Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно, глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь по подушке:

— Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж не вышли?

— Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: «Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не переношу».

— Ох, не могу... Ну, а он что же?

— Да что ж тут поделаешь, я — непреклонно. Ну, он с горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Настасья — рада-радешенька,— приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот — свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и всё платье ей облювал подвенечное. «Я, говорит, первую любовь не могу забыть...»

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над садом облако пыли. Краснощекая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:

— Что же он не идет в самом деле, дурак несчастный.— И опять легла, обняла Надю за талию.— Цыпочка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй — пусть языки чешут, кому не лень. Живи, заинька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй вовсю, покуда валяется.— Она засмеялась и куснула Надю за шею.— Старая будешь — так не заваляется, кукушечка.

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:

— Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом старуху корми да этого блаженного. Надеялась, вы-

писала — поможет, облегчит... Ужасное разочарование, Зоечка. И при этом влюбился в меня, можешь себе представить.

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно:

— Я решила: если отдамся человеку, то по законному браку, пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театральную школу.

— Вот и верно говорят,— с горячностью крикнула Зоя,— у тебя в голове зонтиком помешали! Найди сейчас богатого дурака — законным браком... Сто раз тебе повторяла: Санька не может жениться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в переулке...

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подходил Сашок в палевой вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кепку — московской моды «комсомолка»,— опустился перед девушками и поздоровался за руку:

— Томитесь, гражданочки?

— Во всяком случае, по вас меньше всего томимся,— бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.

Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронеслось пыльное горячее облако.

— Жарковато, гражданочки. И до чего эта температура может довести молодого мальчишку — с ума сойти...

— А до чего довести, примерно? — спросила Зоя.

Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел вполголоса, хрипловато:

Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...

Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай.

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры. Внутри у него всё дрожало; он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве.

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегодня — ничего нового. Хотя нет: эти выпяченные зубки, головка набок, голое плечико, будто нечаянно вылезающее из ситчика... Это — новое... И про «блаженного» — новое... Хотяинцев говорил: «Больше мужества баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку...» Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечатлительным — смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор! С завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели — в Москву...

Всё же, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными отросшими волосами несчастный человек... Впавшие щеки, заострившийся длинный нос, лицо такое отчаянное, что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой человек — и, полон противоречий, махнет с обрыва в речку...

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе, Василий Алексеевич пошел домой. В переулке имени Марата со свистом мимо его носа пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пустырю.

ЖАРКИЕ ДНИ

«Всего хотеть — хотелок не хватит»,—говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка — всё это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно страстную любовь с молодым женатым доктором».

Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывают меня в омут июньские дни»,— и отчего-то — не страшно.

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят — горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо.

Бужениннов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он мерил, чертил, рисовал, красил. Поддерживало его неимоверное напряжение. Полотно с планом голубого города он приколотил на стену и работал над ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совершеннее и прекраснее.

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери оказались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу. («Возьми, Вася; берегла себе на похороны, да уж люди как-нибудь похоронят... Не говори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если бы не толчок со стороны. Напряжение неожиданно вырвалось по другому направлению.

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее фантастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся...»

Назвать это мудростью жизни — страшно. Законом — скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе,— так по крайней мере объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотяинцев.

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине девятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столовую, где лежал животом на столе Бужениннов, равнодушно скользнула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезненный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула дверь и упала среди книг на диванчик, схватившись за голову.

— Негодяй, негодяй! — закричала она, топая ногами, и заплакала на голос.

На дворе шумела Матрена, ругалась:

— Ах, паршивцы, ах, разбойники!

— Уезжай, слышишь — уезжай сию минуту от нас! — повторяла Надя сквозь брызгающие слезы.

Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегтем, и написано дегтем же аршинными буквами, матерное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался постучаться к Наде.

— Убирайся, ты один виноват в моем позоре! — еще злее крикнула Надя.— Уезжай в Москву, дармоед блаженный!..

Руки дрожали всё сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в комнате, мухи ползали по его лицу. Затем — как-то так вышло — он очнулся на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. И вот в окне из-за стены выдвинулся длинный волнистый нос. За Бужениновым наблюдали.

Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир. Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством глядела пышная, напудренная Раиса, и ротик ее, как ниточка, усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и спросил (на следствии Раиса показывала: «Заревел на меня, вращая глазами»):

— Был здесь Утевкин?

Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей много».

— Врете! Это он, я знаю...

— Вы, гражданин, полегче кричите.

Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым раскаленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только сонные куры. Раиса

видела, как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову, зашагал к речке.

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и остался на ночь.

ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ

Следователь. Почему Буженинов был убежден, что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата?

Надя. Не знаю.

Следователь. А вы уверены, что это сделал Утевкин?

Надя. Кому же еще? Конечно, он.

Следователь. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что ли?

Надя. И это отчасти. Да, ревновал.

Следователь. Какие же у него были основания ревновать вас к Буженинову?

Надя. Над ним шутили... Александр Иванович (Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом... Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что всё это только шутки...

Следователь. Жигалев, говоря Утевкину «с носом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?

Надя. Да.

Следователь. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы живете с Бужениновым?

Надя. Я ни с кем не жила.

. . . .

Следователь. Прошлое ваше показание было несколько иное.

Надя. Я ничего не знаю... Не помню... У меня всё смешалось...

Следователь. Буженинов имел обыкновение носить при себе спички?

Надя. Нет, он не курил.

Следователь. Вы не можете указать, каким образом у Буженинова третьего июля оказались спички?

Надя. Когда он побежал — он схватил их с буфета.

Следователь. Вы это видели и помните, как он схватил спички? Это очень важный пункт в показаниях.

Надя. Да, да, вспоминаю... Дело в том, что когда у нас испачкали ворота, на другой день,— мне было очень тяжело,— я пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну весь — ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?» — «Тебе какое дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу...» И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспомнила угрозу...

Следователь. Куда он пошел после этого?

Надя. Домой, Матрена подала ему щей. Рассказывала: он съел две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас же вскочил и ушел.

Следователь. Это было в вечер убийства?

Надя. Да.

Следователь. Затем вы его видели, когда он вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же схватил спички?

Надя. Нет, не сейчас же... Я забыла...

УБИЙСТВО УТЕВКИНА

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Москву,— оказались чистым обманом.

Всё его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов просыпался на заре с оглушающей затаенной радостью. Весь день за работой радость пенилась в нем и была так велика, так опьяняюща, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит — полюбит... Надя — еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя на воротах. Ночью в лугах, на скошенном кургане, охватив голову, опущенную в колени, он глядел закры-

тыми глазами иа верeиицы диeй своей жизни. В ием подиималась обида, злая горечь, мщеиие.

Утром, возвращаясь из лугов, ои увидел Надю у сада Масловых. Оиа показалась ему малеиькой, произительио жалкой,— припухшие сииие глазки! Ои сильио взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Оиа ие поияла, испугалась.

Дома, перед тарелкой со щами, ои думал о мщеиии. Мысли обрывались — было слишком миого передумаио за иочь. Ои пошел к матери, ио оиа скучно похрапывала в духоте с завешеииым окошком. Тогда, как вор, ои прокрался в Надиину комиату, схватил ее фотографию с комода, и в иём все сотряслось. Ои даже прилег иа мииуту, ио сейчас же вскочил и вышел из дома. Воеииым движеиием подтяиул пояс. Теперь ои был спокоеи. Оперативиое задаиие даио, мысли работали по рельсам: точио, ясио.

В переулке Марата ои перелез через забор и пошел по пустырю, заросшему между ямами и кучами щебия высокой лебедой. Ои пересек едва заметиую в бурьяие тропиику, сказал: «Ага»,— и свериул по ией к развалииам кирпичного сарая.

Было уже темио. Луииая иочь еще ие иачииалась. Бужеииов обогиул развалииы и шагах в пятидесяти увидел два освещеииых окошка деревяииого домика, выходившего задом иа пустырь. Свет падал иа кучу щебия, ржавого мусора, битой посуды. Бужеииов обогиул ее и в окие увидел Утевкииа, иабивавшего папиросы,— видимо, ои куда-то спешил. Ои был в фуражке с чииовиичьим околышем, без кокарды и с парусиивым верхом. Губы его, помогавшие иабиваиию папирос, улыбались под волиистым большим иосом, с угла иа угол ходила самодовольиая усмешка.

Утевкии ловко заворачивал коичики иабитых папирос, укладывая их в портсигар, последиюю закурил от лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола, взмахиул ею и дуиул в пузырь лампы.

Бужеииов отскочил от погасших окои, кииулся за угол дома — забор был выше роста... Кииулся иаправо — забор... За иим бойко простучали шаги Утевкииа.

Впоследствии, иа допросе, Бужеииов с чрезвычайиым стараиием припомииал все подробиости этой иочи.

Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса следователя: какие реальные данные были у него, Буженинова, чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверенность — только.

— Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усмехался... Ну, конечно, он... Нет, вы меня не собьете, товарищ следователь... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет... Какие там реальные данные... Он во все время гражданской войны у себя на пустыре отсиживался и теперь мажет ворота, папиросы набивает... Не только я уверился, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. Утевкина не видно. Я был в «Ренессансе», на бульваре, в городском саду — нигде его нет... Товарищ следователь, преступление мое заранее обдумано... Там, где начали мостить площадь, я выбрал из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина...

. . . .

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обывателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным видом, что они в ужасе отшатывались и долго ворчали, глядя на сутулую, с прилипавшей рубашкой спину убегавшего «академика».

Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взошла половинка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых — фуражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он подавился...

— Ну и чепуха,— в величайшем удивлении проговорил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову, подходившему (в лунной тени от акации) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину рукой,— ну и стерва эта Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Сашка, оказывается, очень просто голяшки заворачивает...

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утевкина камнем в висок...

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого солица, обгоревший и веселый. Карманы у иего были иабиты стручками — горохом, уворованным по дороге.

В саду под яблоней иа подушках лежала одна Надя. От огорчеиий этого дия, истомленная духотой, вся влажиая, растревожениая, оиа заснула, подсуиув ладонь под щеку. Такою ее нашел Сашок,— очень мила, конфеточка... Он подкрался, отвел у Нади локон от лица и поцеловал ее в губы.

Надя ничего сначала ие разобрала, раскрыла глаза и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть — такая истома. От Сашки пахло дорожиой полынью, колосьями, свежим горохом. Ои прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи.

Надя покачивала головой — только и было ее сопротивления. Да и к чему — всё равио уж опозореиа иа весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга, модных платьев... Про шелковые чулки бормотал в ухо, проклятый. Ои уж и руку положил Наде иа бочок.

В это как раз время голос Утевкина из-под акаций проговорил:

— Ах, трах-тарарах!

Надя взвизгиула, побежала. Сашок догнал ее, стал божиться, что женится. Оиа дрожала как мышь. И оии не слышали ни короткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.

Надя повторяла:

— Пустите, да пустите же, мне нужно домой.

Сашок сказал многозначительио:

— Домой? Ну хорошо,— и отпустил ее вспотевшие руки, Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ией издали.

Дома Васнлия Алексеевича не было. Матрена спала на погребице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на кровати, кулачкамн подперев подбородок. Странный свет от половиики луны падал через окно. Надя смотрела иа крючок, и легкая дрожь

не переставая пробегала по спнне. Не напрасно смеялись по городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».

Через небольшое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:

— Не пущу.

В ее дверь поскреблн ногтем.

— Нельзя же,— прошептала Надя.

Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. Надя только пошевелила губами. Вошел Сашок: лунный свет упал ему на белые большие зубы. Он молча живо присел рядом на кровать, и Надя ртом почувствовала костяной холодок этих зубов.

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его быстро разжались, он откачнулся в сторону; Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга: в дверях стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился за косяки, руки — в темных пятнах, в пятнах рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженнова, сбил его с ног и выскочнл на двор — бухнул калиткой. Всё это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в комочек. Что-то кричали, топали,— она под одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.

. . . .

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: когда и прн каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась в кармане коробка спичек,— оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так и этак,— из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо помнил половинку луны — нпзко в окошке — в Надиной комнате, Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и сообразил, кто на постелн.) Помнил, как крнкнул: «Я убил Утевкина». (Нн Надя, ни Сашок этого не слыхалн.) Он не мог оторвать рук от косяков дверн и затем опрокинулся навзннчь, сбитый Сашкиной головой в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло его к дальнейшим неистовствам.

Виднмо, он не сразу выбрался нз темного, заставленного скарбом корндорчика. Он что-то ломал и швы-

рял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты и ощупью схватил небольшой утюжок. Когда почувствовал в руке тяжесть — выругался матерно и выбежал на улицу. Когда бежал,— помнит отчетливо,— в кармане были спички: постукивали в коробке.

. . . .

Следователь. Вы утверждаете, что до того момента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о пожаре?

Буженинов. Может быть, я и говорил раньше: «Хорошо бы этот городишко сжечь»,— наверно, говорил...

Следователь. Значит, и раньше ваши мысли вертелись около пожара?

Буженинов. Я очень страдал от внутреннего разлада, то есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки были только одни — война. Я мыслил, как боец: негодное — смести. Но после разговора с товарищем Хотяинцевым я успокоился. Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно обществу, революции, будущему»,— я бы не дрогнул... Но меня поймали на удочку.

Следователь. Яснее.

Буженинов. Можно подавить в себе страх смерти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие... Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я доказал это моею жизнью, товарищ следователь. Но сколько бы я ни хотел — сердце мое будет биться так, как само хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жилами — все летит к черту... Вы спрашиваете: на какой я попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, какие там железы, какие токсины отравили мой мозг... Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил; я даже не сознавал, как хотел ее. Начался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про любовь,— того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне...

Я горел и мучился два года в институте — видел во сне голубые города... Может быть, это была тоже любовь... не знаю... Но когда камень вонзился Утевкину в висок — мне на минуту стало легко... Если это — любовь, это — от любви, тогда будь она проклята. Простите, товарищ следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кармане очутились спички... Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у Надежды Ивановны,— не знаю, как вам рассказать: в глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем, и услышал, как дребезжат спички, этот красный свет превратился в мысль — сжечь все сию минуту... Ах да, вы все про спички... Черт их знает, откуда они завелись... Должно быть, на дороге поднял... Когда Утевкин упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо, долго смотрел, пока не обгорели пальцы...

Следователь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички на дороге с целью осветить лицо убитого вами Утевкина,— показание весьма существенное,— и что заранее обдуманного намерения поджечь город у вас не было? Так?

Буженинов. Видите ли, товарищ следователь, все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе — катастрофы было не избежать. Не Утевкин — так другой... Не пожар — так что-нибудь другое... Судите по существу, судите меня, а не какие-то там случайные поступки.

Следователь. Это вы будете говорить на суде. Теперь я прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот утюжок...

НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного желания. Страсть в нем набегает волнами, покры-

вающими одна другую, все плотины прорваны,— теперь все возможно. Это начинается от мысли о спичках.

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в пыли на дороге и, насколько можно было разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.

Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова утюжок, решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвав и швырнув в сторону утюжок, и так плотно въехал Василию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот зашатался.

— Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь все равно тебе не жить,— сказал Сашка и вторым ударом сбил Буженинова с ног. После чего пошел по переулку не оглядываясь.

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чугунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцевитыми заборами, по длинным теням от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, бросал Буженинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по направлению к площади.

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. (Следователю он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны — и тогда бы пополз за Сашкой».)

Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок... Сашка скрылся по направлению к площади.

Назавтра предстоял большой базарный день. Множество палаток с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали ветвями, грачиными гнезда-

ми, гнулнсь вековые лнпы. Ближе к реке стояли воза с сеном. Пыль, сено и лнстья крутились над площадью.

Буженннов опять увидел Сашку на тротуаре под освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два милнционера, о чем-то с ннм возбужденно разговаривали. «Это он Утевкина убил,— долетел Сашкнн голос,— я его сейчас видел, у него вся рубашка в крови». Люди зашумелн. Из окошек трактира высовывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась волной ненстового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Буженинов, нагнувшнсь, побежал через площадь к возам с сеном. В спнну ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывкн голосов. «Вот он... Лови!.. Лови!..» Пронеслось над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну н буря, гнезда летят»,— мелькнуло в сознании. Он нырнул между возамн, продираясь, рвал руками сено, лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Справа, слева верещалн свистки. Голосов было все больше... «Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребята... забегай...» Должно быть, весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарнл между возами.

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось несколько невинных стебельков и сухой лнсточек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся несколько дальше и справа и слева от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной стороны, где кончались воза, н там сунул в сено последний пучок спичек.

Между возами повалил белый дым. Буженннов отбежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завылн голоса преследующих. В трех местах сразу поднялись огненные шапки. Ветер прнмял их, разнес, и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь бросался в тьму бешено летящего ветра и развевался. Искры, пучкн горящего сена полетелн над городом. Забил набат. Осветнлнсь размахивающне вершинами деревья н туча грачей над ними.

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные крыши, заборы, одинокие деревья, скворечни выступали все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые, шевелились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными угольями стропила. Густой дым валил от пожарной каланчи.

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала женщина, плача упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый человек в подштанниках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это происходило перед глазами Василия Алексеевича будто не настоящее, будто его фантазия, будто цветные картинки на полотне кинематографа. Несомненно, ум его в эти минуты помутился.

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел — здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на скамье и глядел.

. . . .
. . . .

Во всех показаниях Буженинова в этом месте — провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам проволоками, на площади среди догорающих балаганов.

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог пробраться через пылающие кварталы к своему дому. Здесь он помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план голубого города. Крыша дома уже пылала.

Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это было уже под утро. Вместо базарной площади — широко кругом дымилось черное пожарище, торчали обгоревшие трубы, валялись листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими проволоками.

— Товарищ следователь, уверяю вас, в эту миииуту меия охватило чувство восторга и острой печали: я был одии среди пустыии. Страшное ощущение себя, личиого своего Я — этой буквы, стоящей лапками иа горячих угольках и круглым завитком — в тучах, в утреиией заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда казалось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидаиии... Я же — вы видите, в чем... Или я чего-то ие понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время — иеизведаниое, незнакомое, дикое?.. Или прав товарищ Хотяиицев?.. Не знаю... Но я честно вам все рассказал... А план голубого города я должен был утвердить на пожарище — поставить точку...

Держа полотнище в зубах, Бужеиииов полез иа столб, ио сорвался и потерял сознание. Дальнейшее известио. Следствие по этому беспримерному делу закоичено.

Бужеиииов Василий Алексеевич предстает перед народным судом.

ГАДЮКА

1

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная — на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная,— муж ее проживал в сибирских тундрах,— буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка,— премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте,— уходила из

кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна,— иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Попизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло статься. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом,— хорошо, что он увернулся,— и «покрыла матом», какого он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты — горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

— Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Меднабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение — побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа,— говорила ей Роза Абрамовна,— сделают конфету... Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тайна...

. . . .

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кух-

ии. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться — набрызгала лужу на полу... «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла»,— хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем — увидим...». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

— Черт знает что такое,— проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

— У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте,— сказал он, спуская на пол собачку.— Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это,— он говорит,— ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице — возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало...» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это черт знает что!» — и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел

кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

. . . .

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность,— в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

— Идите на Псковский переулок... Там я натворила... и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер — велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него.— Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.

— Ольга Вячеславовна Зотова...

2

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху — бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпи-

таль, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку:

— Доктор, какие звери! — и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

— Двоих не знаю — какие-то были в шинелях... Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

— Шш, шш,— испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житье трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

— Из венерического? — спросил он равнодушно.

Олечка ие поияла, потом вся залилась возмущеиием:

— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь.— Она отодвинулась, задышала, раздувая иоздри.

— Ах ты батюшки, вот так приключение! Должио быть, было за что. Или так — бандиты? А?

Олечка уставилась на него: как он мог так спрашивать, точио о самом обыкновенном, ради скуки...

— Да вы не слыхали, что ли, про иас? Зотовы, на Проломиой?

— А, вот оно что! Помню... Ну, вы бой-девка, знаете,— не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот иарод надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гиусного элемеита вылезло — больше, чем мы думали,— руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, конечио, революцию только так воспринимаете, через это иасилие... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку диваиа.) Вот во что надо верить — в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его иасмешливо-ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, ие дойдя до языка.

Он сказал:

— То-то... А — горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщинкой... А то прожила бы как все,— жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

— А это — веселее, что сейчас?

— А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же иа счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего ие сказалось,— передернула плечами: уж очень ои был уверен... Только проворчала:

— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

— Эка штука — Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океаиа остановимся... Хочешь ие хочешь — гуляй с иами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память встала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова — и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только горячо стало сердцу, тревожно,— чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой...

. . . .

Разговор был короткий — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел,— вместо него ковыляли какие-то на костылях,— вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку,— слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, глаза — наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, оде-

тые чехи. Кого-то волокли,— срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подиевольиый, я не большевнк... Пустнте, куда вы меия?..» Двое паралитиков подползлн к окошку, выходящему во двор, сообщнли шепотом: «В сарай повели вешать сердешного...»

Ольга Вячеславовна оделась,— на ней было казеииое серенькое платье,— бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничиый звои колоколов. Заималась заря. Слышалась — то громче, то замирая — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остаиовил патруль — два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вериулась. «Я ие пленнница, я русская»,— сверкая глазами, крикиула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялнсь протяиули руки — ущнпнуть за щеку, за подбородок... Но ие лезть же ей было грудью иа два лезвня опущениых штыков. Оиа вернулась, раздувая ноздри, села иа койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получнли чаю, иачался ропот. В обедеиный час чехн взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтяиутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потяиулн на себя одеяла. Он оглядел койки, прнщуренные глаза его остаиовнлнсь иа Ольге Вячеславовие. «Зотова? — спроснл ои.— Следуйте за мной...» Ои точно летел иа крыльях галифе, звонкие шпоры его наполиялн чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходнть через двор. В это время из подъезда, куда ее велн, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мнмолетом, иадевая картуз, взглянул иа нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Оиа вошла в приемную и села у стола, глядя иа военного с длииным, искрнвлениым, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и ои на нее разноглазымн глазами.

— И вам ие стыдио, дочери уважаемого в городе человека, иителлигеитиой девушке, связаться со сволочью? — услышала оиа его укоризиеииый голос, презрительио иалегающий иа гласиые.

Оиа сделала усилие поиять — что ои говорит. Какая-то иастойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохиув, оиа сжала руки иа колеиях и прииялась рассказывать все, что с ией случилось. Офицер медлеиио курил, иавалившись иа локоть. Оиа коичила. Ои перевериул лист бумаги,— под ией лежала караидашиая записочка.

— Наши сведеиия ие совсем совпадают,— сказал ои, задумчиво морща лоб.— Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местиой организацией большевиков. Что? — Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.

Ольга Вячеславовиа со страхом иаблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица.

— Да вы... Я ие поиимаю... Вы с ума сошли...

— К сожалеиию, у иас имеются иеопровержимые даииые, как это ии страиио. (Ои держал папиросу иа отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма — иельзя было придумать иичего более салоииого, чем этот человек.) Ваша искреииость подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искреиии до коица, дорогая... Кстати, ваши друзья, красиоармейцы, умерли героями. (Одии пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видиы ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что ж...

Взявшись за ручки кресла, ои обериулся к чехам:

— Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподияли Ольгу Вячеславовиу со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетвореиио поводя усами,— щупали, искали под юбкой карманы. Ои глядел, приподиявшись, расширив разиые глаза. Ольга Вячеславовиа задохиулась. Румяиец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикиула...

— В тюрьму! — приказал офицер.

. . . .

Два месяца Ольга Вячеславовиа просидела в тюрьме, сиачала в общей камере, потом в одииочке. В первые дии оиа едва ие сошла с ума от иавязчивой

мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках,— про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика — нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... «Заговоришь, заговоришь»,— казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... «Ага! Заговоришь!..» И уже не мычанье — больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался — ударилась о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла

тьмой всю ее робкую надежду на справедлнвость. Но страстная душа Ольгн Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхажнвая по днагонали камеры, нашла спасение: ненавнсть, мщение. Ненависть, мщенне! О, только бы выйти отсюда!

. . . .

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позваннвалн тнхо, высохшне паукн колебалнсь в паутине. Громовыми раскатамн вздыхали где-то пушкн. (Это на Казань двигалась Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покоснлся на окошечко: «Калачнка вам принес, барышня... Если что нужно — только стукните... Мы завсегда с полнтнческнмн...»

Весь день звенелн стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сндела на койке, охватив коленн. К еде н не притронулась. Бнло в коленн сердце, бнли громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и — шепотом: «Мы подневольные, а мы всегда — за народ...»

Около полуночи в тюремных корндорах началось движенне, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офнцеров и штатскнх, грозя оружнем, гналн вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволоклн из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, нзвивалась, снлилась укуснть за руки. На мнnуту она увндела ветреное небо в четырехугольннке двора, холод осенней ночи наполннл грудь. Затем — ннзкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьмн; конусы света карманных фонариков заметались по кнрпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань. Грохнулн револьверные выстрелы, казалось — повалилнсь подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика выступнло лнцо Вальки... Горячо ударнло ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

. . . .

Пятая армия взяла Казань, чехн ушли вннз на пароходах, русскне дружины рассеялнсь — кто куда, половнна жителей в ужасе перед красиым террором бежала на край света. Несколько недель по обонм берегам Волги, вздувшейся от осеииих дождей, брели однчавшне беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лнщення. Ушел из Казанн и Валька.

Ольга Вячеславовна, иаперекор здравому смыслу, осталась жнва. Когда из тюремиого подвала были выиесеиы трупы расстреляниых и рядом положены иа дворе под хмуро моросящим иебом, над ией прнсел н тнхонько поворачнвал ее голову кавалернст в нагольном тулупчнке.

— А девчонка-то дышит,— сказал ои.— Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребниыми глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартнру к одному профессору, сгоряча арестовал его, иапугав до смерти, доставил иа мотоцнклетке в лазарет и сказал, указав иа бесчувствеииую, без кровиикн в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»

Оиа осталась жива. После перевязки и камфары приоткрыла сииеватые векн, и, должно быть, узнала иаклоиившиеся к ией ястребииые глаза. «Поблнже,— чуть слышио проговорила она, н, когда ои совсем прндвннулся и долго ждал, оиа сказала иепонятно к чему: — Поцелуйте меня...» Около койки иаходились люди, время было военное; человек с ястребнными глазами шмыгиул, оглянулся: «Черт, вот ведь»,— одиако ие решился, только подправил ей подушку.

. . . .

Кавалернста звали Емельянов, товарнщ Емельянов. Она спросила нмя и отчество,— по имеин-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевнч».

Полк его формнровался в Казани, и Емельянов каждый деиь иавещал девушку. «Должеи вам сказать,— повторял он ей для бодрости,— жнвучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — за-

пишу вас в эскадрон, лнчно моим вестовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не иадоедало нн ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у иее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькне, у меня прнпасеиы с убитого гимназнста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прнкручивать, чтобы не свалнлись...»

. . . .

Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпелнвой жадиостью. Прошлая жизнь осталась на дальием берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улнцах, девнчьи увлечення заезжнми артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка — тучного красавца Воронова; гнмназический «кружок Герцена» н восторженные увлечення товарнщамн по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным,— каких в жизнн нет,— героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздннкам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожкн из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзшнх на тридцатиградусном морозе... Грустиая тишина, перезвои великого поста, слабеющие снега, корнчневые на торговых улицах... Тревога весиы, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разлнвы, и кучевые облака на горнзоите... Все это теперь вспомнналось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больннчной подушки...

В эти сны,— так ей представлялось,— разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гнрей иа ремешке. Этого Вальку Брыкнна выгнали за хулиганство нз гимназнн, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казаии, щеголяя уланской формой и солдатскнм георгнем. Рассказывали, что его отец, полнцейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменнтый приказ, чтобы «городо-

вым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым. Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и — только революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хрустнул он — и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали — не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви — это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в пере-

улок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть — не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

— Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло,— умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он — веселый, страшноглазый,— входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

— Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К Новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

— Империалистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской,— рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки.— Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь — это стихия... Конный бой — революционный порыв... Вот у меня — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю,— у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты — как пьяный... Сшиблись... Пошла работа... Минута, ну — две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж — руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце — закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса — быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но — нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию... «Не пулей — куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где

преподал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно,— и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

3

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны,— говорил Емельянов,— соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок...» И как черт она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку»,— время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились

эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек — все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!..» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-сью марш!..» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся»,— упоительной песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

. . . .

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотели бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь,— мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых — на местах,

Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати, и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

. . . .

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка,— совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах — голод, по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники — двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Тикать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась,— и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась — один из всадников забирал правее,

наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня — навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно,— и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь держаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

. . . .

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.

— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!..

— Постой, ты расскажи: зиачит, он иа тебя иалетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»
— А велики ли усы-то у иего были?
— Глаза вылупил, удивился.
— И рука ие подиялась?
— Ну, известиое дело.
— И ты его тут — тюк по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер — разлетелся.
— Ну, а потом ты что?
— Ну что «потом»? — отвечала Ольга Вячеславовиа.— Обыкиовеиио: клииок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

. . . .

Одио существеииое иеудобство было в походиой жизии: Ольга Вячеславовиа ие могла преодолеть стыдливость. В особеииости досадио ей бывало, когда в жаркий деиь эскадрои дорывался до реки или пруда; бойцы иагишом, в радугах водяиой пыли, с хохотом и гикаиьем въезжали в воду на расседлаииых коиях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельио, где-нибудь за кустом, за тростииками. Ей кричали:
— Дура девка, ты обвяжись портяикой, айда с иами.

Емельяиов строго следил за чистоплотиостью и опрятиостью. «Если у коииика прыщ на ягодице — вои из строя; это ие боец,— говаривал ои.— Коииик, пуще всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца — четверть часа физических упражиеиий».

Обливаиие у колодца тоже бывало затрудиительио для иее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеиой росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пуицовой щелью. Одиажды оиа вытащила жалобио заскрипевшим журавлем ведро ледяиой пахучей воды, поставила его иа край колодца, разделась, пожимаясь от сырости,— и что-то будто косиулось иеслышио ее спииы.

Обериулась: иа крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристальио и страиио глядел иа иее. Тогда она медлеиио зашла за колодец и присела так, что видиы были только ее иемигающие глаза. Будь это любой из товарищей, оиа бы прикрикиула просто: «Что ты, черт,

уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным — самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность — о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

— Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул

протяжно: «Шашкн вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони тесиились, храпели, колеии задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вннз поляиа разостлалась перед глазамн, по ней уже мчались тени всаднняков. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзнла шпоры, коиь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкнми тучами; степь гудела под копытами пятн сотен коией. На скаку, срываясь, запелн трубы гориистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоиы и кокарды. Емельяиов собрал в круг бойцов.

— В целях маскировкн мы теперь — сводиый полк северо-кавказской армии геиерал-лейтеиаита барона Врангеля. Запомиили, курьн дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется,—в зубы, молчать; я вам теперь не «товарищ комаидир», а «его высокоблагородие господнн капнтан». (Он чиркиул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одиим просветом.) Вы теперь не «товарнщн», а «инжиие чииы». Тяиуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Пояяли? (Весь эскадрои грохотал; вытягивались, козырялн, к «ваше высокоблагородие» прнстегнвали разиые простые словечки.) Прншивайте погоиы, звезду в карман, кокарду на фуражку.

Три дия мчался замаскироваииый полк по враигелевскому тылу. Столбы чериого дыма подиималнсь по его следам — горелн железиодорожные стаиции, поезда, воениые склады, взлетали иа воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки коии приустали, начали спотыкаться, н в глухой деревеиьке был сделаи диевиой привал. Ольга Вячеславовиа убрала кояя н тут же, не перешагиув через ворох сена, повалилась, засиула. Разбудил ее громкий жеиский смех: свежая бабеика в подоткиутой иад голыми нкрами черной юбке сказал кому-то, указывая иа Зотову: «Какой хорошеиький...» Бабеика вешала иа дворе вымытые портяики.

Когда Ольга Вячеславовиа вошла в нзбу, у стола сндел Емельяиов, заспаиный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портяики были стнраиы.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:

— Точно ждали мы вас, уж и борщ....— Голос у нее был тонкий, нараспев,— бойка, нагла...— Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут...— И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно покрякивал, хлебая,— весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце,— помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:

— Ты что смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — подавнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах ты дурочка...

У нее едва не брызнули слезы.

. . . .

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Прнвелн двух мужиков,— иашлн нх в соломе, лохматых, как лешне. Оглядываясь на конников, онн повторяли только:

— Братцы, голубчнки, ие губнте...

— За белых ваше село илн за советскую власть? — нагнувшнсь с седла, закрнчал Емельянов.

— Братцы, голубчнки, сами не знаем... Все у иас взяли, пограбнлн, все разорили...

Все же удалось от иих допытаться, что село пока не занято ннкем, что ждут действнтельно казаков Врангеля н что за рекой, за железнодорожиым мостом, в окопах находятся большевикн. Полк сиял погоиы, нацепнл звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выясиилось, что по всему фроиту белые наступают как бешеиые и этот мост велеио защищать — хоть сдохии; а воевать нечем: пулеметиые ленты к пулеметам не подходят, в окопах — вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степенн, как ночь — разбегаются; агнтатор был, да помер от поиоса.

Командир полка соедииnлся по прямому проводу с главковерхом: действнтельно — было велено защищать мост до последней каплн кровн, покуда армня ие выйдет нз окружения.

. . . .

— Жнвымн отсюда ие уйдем,— сказал Емельянов.

Ои зачерпнул из рекн два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, прнсев около нее, вглядывался в неясное очертанне дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла иад рекой. Весь день враигелевскне батареи частым огнем разрушалн окопы большевиков. А вечером прншел прнказ: форснровать мост, отбросить белых от рекн и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый иеподвнжный след звезды на реке,— в нем была тоска.

— Ну, пойдем, Оля,— сказал Дмнтрнй Васнльевнч,— иадо поспать часик.— В первый раз ои иазвал ее по нменн.

Из кустов на крутой берег выползалн с котелками воды крадущнеся фигуркн бойцов: весь день к реке ие было подступа, инкто ие пнл ии капли. Все уже зналн о страшном приказе. Для многнх эта ночь казалась последней.

— Поцелуй меня,— с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставнл котелок, привлек ее за плечи,— у нее упала фуражка, закрылись глаза,— и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

— Жеиой бы тебя сделал, Оля, да иельзя сейчас, поннмаешь ты...

. . . .

Ночные атаки былн отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и билн вдоль него из пулеметов. Серое утро заиялось иад дымящейся рекой, иад серымн лугамн. Земля иа обоих берегах взлетала помннутно, будто вырастали чериые кусты. Воздух выл н внзжал, плотиыми облачками рвалась шрапнель. От грохота дурелн людн. Миожество уткнувшнхся, раскннутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Людн ие моглн больше идти иа пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной иасыпью восемь коммунаров съехалнсь под полковое зиамя; разорваиное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели иа коией. Полковой комаидир сказал: «Нужно умереть, товарищн»,— и шагом отъехал под зиамя. Восьмым был Дмитрнй Васильевич. Оин обнажили шашки, вонзнли шпоры, выехали из-за насыпн н тяжелым карьером поскакали по гулкнм доскам моста.

Ольга Вячеславовна вндела: вот коиь одного повалнлся на пернла, и конь и всадник полетели с десятнсаженной высоты в реку. Семеро достнглн середнны моста. Еще однн, как сонный, свалнлся с седла. Передине, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый зиаменосец закачался, знамя поникло, его выхватнл Емельянов, и — сейчас же коиь его забился.

Горячо пелн пули. Ольга Вячеславовиа мчалась по щелястым доскам иад головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железиые переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрнй Васнльевнч стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лнцо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватнла у иего знамя. Ои шатиулся к пери-

лам, сел. Мимо пронеслись эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец,— размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...»

4

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете,— пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехал в Сибирь — воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений — клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы — и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни, сказал, это надежда на спасение...»

Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или

так, писчебумажиой барышней, переезжающей вместе с письменным столом нз этажа в этаж.

На месте долго ие засннживалась, все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, иад тем берегом, где, зачерпиув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый и место примятое, где сндели...

Прошлое ие забывалось. Жила одинноко, сурово. Но военная жесткость понемиогу сходила с иее,— Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

5

В двадцать два года нужно было иачииать третью жизнь. То, что теперь происходнло, она представляла как усилие запрячь в рабочнй хомут боевых коней. Потрясениая страна еще вся щетинилась, глаза, еще иалитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгоражнвая от вчерашнего дия, забелелн лнсточки декретов, призывающнх чииить, отстраивать, строить.

Оиа читала н слышала об этом, н ей казалось, что это трудиее войны. Города, где оиа проживала, были разрушены с иенстовой яростью, все покривилось и повалилось, крапнвой заросли пожарища,— человек жил под одной рогожкой. Человек ел н спал, и во сие все еще грезнлись ему видення войны. Творчество выражалось в прензводстве баиных веников и глнняной посуды — такой же, как в пращуровскне времеиа.

Листочки декретов звали восстанавливать н творить. Чьими руками? Своими же, вот этими — все еще скрюченными, как лапа хнщиой птнцы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу,— вглядывалась в недоверчивые, мрачиые лнца людей с иеразглажеиными морщниамн гиева, ужаса н иеиавнсти,— оиа хорошо зиала эту судорогу рта, этн обломки, дыры иа месте зубов, съедеиных иа войие. Все побывалн там — от мальчнков до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кнсло пахнущей одежде нз мешков, нз буржуйских заиавесок, в разбитых лаптях, взъерошеиные, готовые ежемиутио заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют — творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката,— ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки — она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья...

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

. . . .

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила,

переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль — всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

— Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная женщина и — провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт знает что такое — огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «...лошади испугаются...» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье — звали ее Сонечка Варенцова.

. . . .

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «Шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так... Поняла...» Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

— А это — как чесать?

— Безусловно стричь, мое золотко,— пела Роза Абрамовна,— сзади — коротко, спереди — с пробором на уши...

Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:

— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

. . . .

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.

— Елки-палки,— сказал он,— это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы... руки отмыла от чернил,— одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазом...

— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

. . . .

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.

Педотти сказал:

— Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

— Ну? — спросила она.— О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику всякую там давно пора выбросить за борт...

Ну — вот... Предварительио я все объясиил... Вам все поиятно...

Ои обхватил Ольгу Вячеславовиу под мышкн и потащил со стула к себе на грудь, в которой ненстово, будто иа краю иеизъясинмой бездиы, колотнлось его неучеиое сердце. Но иемедлеиио ои испытал сопротивлеине: Зотову ие так-то легко оказалось стащнть со стула,— она была тоика и упруга. Не смутнвшнсь, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястнй н так свериула их, что ои громко охиул, рваиулся и, так как оиа продолжала мучнтельство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед ие лезь, ие спросившись, дурак,— сказала она.

Отпустнла Педоттн, взяла со стола из коробкн папиросу «Ява», закурила и ушла...

. . . .

Ольга Вячеславовиа всю иочь ворочалась на постели... Саднлась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушкн... Прнпомннлась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожнло, затосковало... Вот была чертова ночка... Зачем, зачем? Неужелн нельзя прожить прохладной, как ключевая воднца, без любовной лнхорадкн? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жнзнь била ее н толкла в ступе, а дурн не выбила, и «это», конечно, теперь иачнется... Не обойтнсь, не уйтн...

Утром, ндя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Вареицовой:

— ...Поразнтельио, до чего она ломается... Противио даже смотреть... Тронуть, внднте ли, ее нельзя, такая разборчивая... Прн заполиеиии аикеты прописала вот такнмн буквами: «девнца»... (Смех, шипенне примусов.) А все говорят: просто ее вознлн прн эскадроне... Поннмаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портннхн:

— Безусловный люнс... По морде вндно.

Голос Розы Абрамовны:

— А выглядывает — что тебе бароиесса Ротшильд.

Басок Петра Семеиовнча Морша:

— Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскуснл... Она карьеру сделает — глазом ие моргнете...

Возмущенный голос Соиечки Варенцовой:

— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семеновнч... Успокойтесь,— не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолклн. Взор ее остановился на Соиечке Варенцовой, и проступившие морщннки у рта изобразили такую высшую меру брезглнвости, что женщины заклокотали. Но крика нникакого не вышло на этот раз.

. . . .

После случая с Педотти, возненавндевшнм ее со всей силой высеченного мужского самолюбня, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщии, иасмешливое отношение мужчнн. Ссорнться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающне недобрые взгляды. За ней укреплялнсь клнчкн: «гадюка», «клейменая» и «эскадронная щкура»,— она расслышнвала их в шепотке, чнтала на промокашке. И — всего страннее, что весь этот вздор она восприннмала болезненно... Будто бы можно было закрнчать им всем: «Я же не такая...»

Недаром когда-то Дмитрнй Васнльевнч назвал ее цыганочкой... С темной тоской она начннала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой снлой, просыпаются желання... Ее девственность негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слншком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

. . . .

Ольга Вячеславовна всего мннуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: *он*... Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновенне с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла.

Человек в парусннновой толстовке, рослый н, виднмо, начинающнй полнеть, стоял на лестннчной площадке н чнтал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, внна н вверх по лестнице, бегалн служащне. Пахло пылью н табаком. Все было обычно. Человек с леннвой улыбкой рассматрнвал в центре стенгазеты карнкату-

ру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это — мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности...

— Больно укусить побоялись, а тявкнули — по-лакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те — любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись — несущие голову в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И вот — с портфелем, с усталой улыбкой — и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

— Так все мельчить неумело,— опять сказал он,— можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и — на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А как известно, жалость...

. . . .

Прн первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста н вошла в кабннет хозяйственного днректора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее вннмання, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подпнсал. Она продолжала стоять. Он сказал:

— Все, товарищ... Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось что пишбарышня хихнкнула. Теперь оставалось только сходнть с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убнтого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспомннать. Наутро жильцы разглядывалн ее комнату в замочную скважнну, и тогда-то нменно Петр Семеновнч Морш предложил дунуть нз трубочки граммов десять йодоформу. «Бесится наша гадюка-то»,— сказалн на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубенькнх глазках ее дремало спокойствне непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчнвость труднее, чем страх смертн; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо — стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико нз платья,— было не по ней. Решила: прямо пойтн и все сказать ему: пусть что хочет, то н делает с ней... А так — жнзнн нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестннце, чтобы здесь же, на улице, схватнть его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой средн других служащих... В эти как раз днн она запустнла в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартнра насыщалась грозовым электрнчеством. Сонечка Варенцова нервнндала и уходнла нз кухнн, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владнмнр Львович Понизовскнй

проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула,— во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки,— строгий...

— Дело в том...

— Дело в том,— сейчас же перебил он с брезгливостью,— мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно,— пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет — выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

. . . .

Итак героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это — черт знает что» дважды — на кухне и возвращаясь к себе в комнату,— после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович — небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась СонечкаВаренцова с запухшими глазками.

— Я больше не могу,— сказала она еще в дверях,— это должно кончиться, наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Поиизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке,— не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону — сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:

— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

— Да,— ответила Лялечка,— третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

— Поживем — увидим,— блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.

— Так этой гадине ползучей,— Марья Афанасьевна потрясла утюгом,— этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.

— Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия...

— Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:

— Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства.

Лялечку уговорили.

. . . .

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего

дия ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы,— кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы — с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы — сволочь!.. Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо...

МОРОЗНАЯ НОЧЬ

Помните самое начало, первые недели гражданской войны? Еще до корниловского ледяного похода... Занятное было времечко!.. Первые формировки красных отрядов... Суета, беспорядок, саботаж, никто ничего не знает, кругом измена... Тогда офицерство, юнкера, студенты, полицейские начали слетаться в Новочеркасск, под крыло к атаману Каледину, и обозначился первый колеблющийся, зыбкий фронт. Войск у них было тысяч до десяти, главная сила — офицерская бригада. Действовали они по-разбойничьи — налетами. Особенно отличался отряд есаула Чернецова. Громил шахты, рабочие поселки, узловые станции. Наводили страшную панику. Под самое рождество Чернецов налетел на крупный железнодорожный узел Дебальцево: обшарили весь поселок, выволакивали на снег коммунистов, тут же рубили их шашками. Уничтожили и взяли заложниками двадцать семь человек. Напугали население до смерти. Погрузили сахар и спирт. У вагона Чернецова выстроили всех железнодорожников и станционных лакеев и велели им кланяться, покуда поезд не скроется. Словом, набезобразничали — больше некуда.

Так... Главком Антонов приказывает мне из Харькова: идти с отрядом в Дебальцево и там держать фронт... А у меня отряд свеженький, необстрелянный, я его только что сформировал в Костроме. Были такие желторотые богатыри, у кого рукава шинели болтались по колена, и главная забота — добраться до белого ситника на Дону. Услышали, что идем на Дебальцево,— заволновались в теплушках. Я отдаю приказ: по пути следования выделить дежурную роту, под-

сумков не снимать и не спать,— еще хуже волнение, обида... Политработники — тоже мальчишки, неумелые — день и ночь моих бойцов успокаивают, подбадривают, целыми страницами чешут по Энгельсу... Батюшки, думаю, университет, а не эшелон...

Прибыли в Дебальцево. К нашим вагонам так и рванулась толпа женщин — плач, вопли: глядите, мол, что с нами сделали... Действительно, картина отвратительная... В поселке в домах разбиты окна, на снегу — лужищи крови, мозги... В пожарном сарае лежат двадцать изуродованных трупов... Мы их в этот же день и похоронили с отданием воинских почестей. Тут же на могиле многие поклялись отомстить, и до ста человек — родственники убитых, свидетели расправы — записалось в отряд добровольцами... Вот на этих я уже мог рассчитывать.

Выгрузив отряд, одну роту я оставил при эшелоне, три — в резерве на станции, остальными занял фронт по всей территории железнодорожных путей и предмостные укрепления. Станция забита народом — едут беженцы, демобилизованные, разные шпионы, провокаторы.,. Сколько я этих ни вылавливал, ни сажал — просачивались, нашептывали. Двух-трех дней не прошло —, отряд как сглазили. Настроение подавленное. Командиры трусят. Политические работники растерялись, жмутся.. Начнешь говорить с бойцами — угрюмое молчание... Ну, думаю, ох... И слухи — один тревожнее другого: и там-то восстали казаки, и оттудато собирается туча белых войск с самим Алексеевым во главе... А у меня всего два пулемета и хоть бы пушчонка какая завалящая была! Патронов по полсотне штук на бойца... Я телеграфирую Антонову в Харьков, прошу прислать артиллерию и пулеметы. По прямому проводу отвечает начальник штаба Муравьев, тот самый, впоследствии знаменитый командарм, кого через семь месяцев в Симбирске в Троицкой гостинице застрелили латыши за предательство... Муравьев отвечает: «Хорошо, немедленно вышлем». Жду... На следующий день — это было тридцатого декабря — получаю протокол за № 1: «Общее собрание делегатов от каждой роты.. Начальнику отряда. Постановление. До прибытия артиллерии и пулеметов никаких постов не занимать. Второе: просить вас немедленно отпра-

внть отряд в тыл, проснть также иемедленно удовлетворить наше требоваиие. Делегаты: Суворов, Зыряянов, Беляков, Аркцопов, Ловкой, Крутиков» — и больше нет... Ах сволочи! Я — резолюцию: «Срочно. Делегатов взять в оборот. Виушить — отступления быть не может»...

Всю ночь не спал. Сндел на телеграфе. Мороз жестокнй. Подышу на стекло, погляжу — луна в радужиом круге, кругом мертвая пустыия, н на путях под луной блестит стекло. Жалко стало, что вчера погорячился: в проходящем поезде нашлн ящнки с коиьяком, н я приказал все бутылки побить о колеса... Людн плакалн, глядя на это разорение... А сейчас в самую бы пору было хватнть глоток... Вдруг, смотрю,— под дверью записка, каракулями: «Уводн в тыл, а то убьем». Подписи иет. Хорошо... Продолжаю ходить по телеграфному помещению, курю. Аппараты стучат. У телеграфиста глаза — как говядниа, красиые. Оборачивается ко мие и без голоса говорнт:

— Прииято со стаицнн Зверево (то есть с белого фронта): «Мы тебе, подлец, христопродавец, красная сволочь, устроим встречу Нового года. Жди. Есаул Чернецов».

Ладно, думаю, буду ждать. И — вторую телеграмму в Харьков Муравьеву: «Спешнте артнллерией, пулеметамн...» Только рассвело — я выслал трубачей и объявил осадиое положеиие: за иеподчииеиие прнказам — расстрел без суда, равно солдат н иаселеиия. Это отчасти подействовало. Посты, окопы заияли без разговоров... А морозище пуще прежнего, солице малеиькое, туманиое, воздух так весь скрипит, звеиит, как стекло, шаги за версту слышно. Над поселком, по всем путям — белые дымы. И у меия из головы иейдет: какую онн мне удерут встречу?

В третьем часу пополуднн Зверево сообщает по телеграфу: «На Дебальцево вышел ростовский № 3»... Ну, вышел, вышел,— обыщем, пропустим... Через четверть часа — из Зверева: «Ростовскнй № 3 бис вышел»... Эге, думаю, это, кажется, ие пассажиры едут... Через пятнадцать мииут опять: «Ростовский № 3 два бис вышел»... И опять: «№ 3 трн бис вышел»... И так подряд семь поездов...

Тут и дураку ясио: семь эшелоиов белых войск дуют на Дебальцево... Вот она — встреча! Кндаюсь к аппарату, телеграфнрую в Харьков. Оттуда успокаивают: поезд с артиллерией в пути. Запрашиваю станции в сторону Харькова: где иаша артиллерия? Запрашиваю в сторону Зверева: где эшелоны? Развернул карту, слежу за движением поездов... Проклятые эшелоны летят иа крыльях в Дебальцево, а поезд с моей артиллерией тащнтся иа немазаных колесах... Высчитываю — ие поспеет... Белые — ну самое меньшее часа иа три — явятся раньше...

А в голове от бессонных ночей стонт трескотня, как иа ткацкой фабрнке,— ничего не могу сообразить. Смотрю — у телеграфиста нос повис и губы висят. Разбуднл, показал ему нагаи: «Что это? Саботаж?» Вытаращнл он на меия говяжьн глаза н мятым шепотом: «Подбадрнвающего, а то опять засну...» Я побежал иа путн, иаковырял шашкой куски нз лужн замерзшего коньяку, прннес в шапке телеграфисту... Ои сразу одушевился... Принимает депешу: эшелоны в двух перегонах от Чериухина, а Чернухнно — последияя остановка. Меня так н ошпарнло... Выскакнваю. Солнце уже зашло за дымы. Мороз еще крепче. Хоть бы две пнрокснлнновых шашкн — взорвать мост! Нничего нет у иас, кроме патронов. Вызываю командира батальона: «Немедленно взять взвод пехоты, взять железиодорожиых рабочих с ниструмеитами, идти к стаиции Чериухнно и развинтнть все стрелки!..»

Совсем уже стемнело, луиы ие видно — затяиута мглой. Стою на перроне, рву зубами варежку. Накоиец — пошлн огоиьки фоиариков в сторону Чериухина... Но как ползут! Ногн им, что ли, перешибло... И в морозной тншине всё чуднтся мие гул колес. Я даже прилег на рельсы: чудится — гудит земля... Приказал погасить огни иа станцнн н на путях, затоптать костры. И такая настала жуть — собака не тявкает в тншние. Только сапогн мон визжат, плачут...

Не помню, сколько времени прошло,— скачет верховой. Осветил его электрнческим фонариком: «Стой! Куда?» На свет лезет в облаке пара заиидевелая лошаднная морда, соскакивает комаидир батальоиа: «Беда!» — «Что случилось?» — «Не можем стрелкн развинтнть».— «Как ие можете? — Я выхватил револь-

вер.— Сволочь!» Наган у меня в руке пляшет, кричу как-то уж даже не по-человечески. Лошаденка рвет морду. «Подожди орать,— спокойно говорит командир батальона,— я тебе объясню: рабочие все ключи поломали на этом морозе, не пальцами же отвинчивать, черт!»

Я так и осел. «Что ж теперь нам делать?» Он молчит. И мы слышим: жаааалобно, далеееeко, днииинко закричал паровоз. В мертвой степи под лунным бельмом завыли паровозы наших врагов...

В это время голос: «Товарищ командир, разрешите — я живо пути разберу...— Оборачиваюсь — стоит в легонькой курточке, в фуражечке машинист Шляпкин, и от него коньячный дух...— Разрешите мне двадцать вагонов порожняку...»

Вот где началась горячка! Собрали мы с полсотни пустых вагонов, прицепили их к мощному сормовскому паровозу. Батальонный, человек пять охотников-красногвардейцев вскочили на паровоз, и Шляпкин погнал состав под гору на Чернухино... Ночь загудела... А когда затих вдали стук колес — явственнее стали слышны протяжные свисты семи эшелонов противника... Успеет Шляпкин? Жизнь трех тысяч человек сейчас в том, успеет ли он разбить пустой поезд на стрелках! Все, кто был на станции, выскочили, слушают... Только сердце бьет в полушубок, отбивает невероятные секунды...

Наконец... Треск, лязг, скрежет... Высоко вскинулось пламя за холмами... Го-го-го — прокатился грохот... Я вскочил на лошадь батальонного, поскакал на линию войск. Часовые все на местах. Из окопов поднимаются деды-морозы. Я громко поздравляю: «С Новым годом, товарищи! Желаю встретить этот час, как подобает вооруженному пролетарию — победителем... Предупреждаю — враг может подойти каждую минуту. За линию секретов никого не пускать, стрелять в лоб... К двенадцати часам прибывает поезд с артиллерией и пулеметами. Победа обеспечена!..» Всюду в ответ — ура... И я, конечно, показываю вид, что вполне уверен в их боевом пыле. Но пушек, пулеметов все-таки еще нет... Завалив чернухинские стрелки, мы только получили отсрочку... Это все поняли...

Возвращаюсь на станцию. Там меня уже давно вызывает Чернухино к аппарату. Телеграфист — веселый, косорылится. Хватаю ленту, читаю: «Говорит Чернухино. У аппарата начальник головного отряда полковник Кузьминский. Командир корпуса приказал доложить: на каком основании вы портите народное достояние, уничтожаете вагоны?»

Отвечаю я: «Дебальцево. У аппарата начальник войск Дебальцевского района Иванов [1]. Передайте корпусному, что в своих действиях буду отчитываться перед рабочим правительством, а вашему корпусному до этого дела нет».

Чернухино: «А, так ты — говорить мне дерзости?.. Я сейчас наступаю: посмотрим, где вы будете с вашим рабочим правительством».

Дебальцево: «Разрешите узнать, по какой дороге намерены наступать, потому что темно, я хочу осветить вам путь огнем артиллерии».

Ответа на это нет. Телеграфист молча трясется от смеха. Через пять минут меня вызывает Колпаково — станция между Чернухиным и Зверевым: «У аппарата командующий экспедиционным корпусом генерал от кавалерии».

Я отвечаю: «Дебальцево. У аппарата командир Красной гвардии солдат Иванов. Разрешите узнать вашу фамилию».

Колпаково: «Фамилия не играет роли, товарищ московский комиссар. Когда вы попадете в мои руки, то сразу ответите за все безобразия, за издевательство над народом, за порчу путей и вагонов, за свое вероломство и трусость. Несмотря на ваши баррикады, мы к вам придем — вы, красный генерал без чина,— и сдерем с вас кожу, тогда вы станете настоящим красным генералом. А теперь отвечайте мне, прохвост, мерзавец: разве так воюют честные воины? Ты, жидовская образина, прячешься за груды сломанных вагонов. Спрашиваю тебя еще раз: когда ты перестанешь препятствовать свободному передвижению поездов? Когда кончатся все ваши безобразия?»

Дебальцево: «Православный генерал, украшенный многими орденами! Вольно вам ругаться и храбрить-

[1] Фамилия вымышленная.

ся, будучи за сотню верст. А что будет, если не я вам, а вы мне попадетесь в руки? Тогда действительно фамилия не сыграет роли: всех попавшихся генералов и полковников лично перестреляю. А ваше безобразие кончится, когда в Республике Советов не будет больше генералов и прочей офицерской сволочи. Я кончил. Относительно очистки пути мое решение непреклонно. На Дебальцево не пущу. Пусть разговаривают пушки».

Колпаково: «Ты был чистильщиком сапог в Ростове на Садовой и опять будешь им, если только уйдешь от моих рук. А мы, генералы, всегда были на Руси и будем. Хочешь войны — будешь иметь ее, тудыть твою, сукиного сына, в не мать и не так...»

И тут генерал начал загибать такие простые слова, что у меня затылок вспотел от ярости. Все-таки ввязываться не стал, закурил, ушел из аппаратной, а его стал ругать телеграфист. Время уже подходило к двенадцати. Каждую минуту ждали: мигнет ослепительная зарница в стороне Чернухина, начнется артиллерийский обстрел. Неужели не подоспеют харьковские поезда?

На станции огни были тщательно потушены и скрыты, окна телеграфа завешены попонами. Но мутное бельмо в небе все яснело, расходилось: присмотреться — заметны уже очертания крыш и деревьев... И я гляжу на проклятую луну: погаси, сука, закройся облаками, пропади, не устраивай мне контрреволюции!..

И вдруг, совсем просто, будто где-нибудь на подмосковной дачной станции, не торопясь идет старичок в тулупище до пят, подходит к колоколу и — дын-дын-дын-дын... Я кидаюсь: «Обалдел? Что ты звонишь?» Он мне из морозной бороды спокойным баском: «Харьковский вышел со станции Хацепетовки...» А Хацепетовка в семи верстах... Я схватил его за воротник, притянул к себе: «С Новым годом, дед!» Побежал к телефонам, вызвал музыкантскую команду и дежурную роту. Захлопали, заскрипели двери, завизжал снег, замелькали ручные фонарики. Выстроились. И тут уже ясно слышим: идет — поют морозные рельсы...

С гулом, грохотом, обдавая жаром, ворвался на станцию курьерский паровоз, замелькали ярко освещенные классные вагоны. Завыли трубы «Интернационал» — кто в лес, кто по дрова от радости... На ходу соскочил начальник отряда, вручил мне пакет, рапортовал: «Двадцать пулеметов, сто тысяч патронов. При пулеметах команда — москвичи...»

Вылезли эти москвичи-пулеметчики,— я, прямо как во сне, смотрю на них,— расторопные, с шуточками, ловко одетые: «Указывайте позицию, мы до этих генералов давно добираемся!..» И бегом потащили пулеметы на линию войск... А минут через десять подошел и второй поезд с артиллерией... Перед рассветом наши цепи двинулись в наступление на Чернухино...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Толстой А. Н.

Т 52 Детство Никиты. Повести и рассказы.— М.: Правда, 1987.— 480 с.

В книгу выдающегося русского советского писателя Алексея Николаевича Толстого (1882/83—1945) включены повесть «Детство Никиты», а также повести и рассказы, охватывающие период 1900-х — конца 1920-х годов.

Т $\frac{4702010200\text{-}1458}{080(02)\text{-}87}$ 1458-87 84 Р 7

Алексей Николаевич Толстой

ДЕТСТВО НИКИТЫ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
Ю. О. Бем

Художествеииый редактор
Р. А. Клочков

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1458

Сдано в набор 02.10.86. Подписвно к печати 20.01.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать аысокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 24,39.
Тираж 250 000 экз.
Звкаа № 0063. Цена 2 руб.

Набрано и сматрицироваво в ордена Ленина
и ордева Октябрьской Реаолюцин типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. Москна, А-137, улица «Праиды», 24.

Отпечатано в типографии издательстаа
Удмуртского обкома КПСС,
426000, г. Устинов, Воткинское шоссе, 10-й км.

2 руб.